

Северный Союз русских писателей

РУССКИЕ СТРАНИЦЫ

Литературный альманах

№ 16
декабрь 2019

Санкт-Петербург
декабрь 2019

Главный редактор – В. И. Чернышев

©

©

Редактирование, составление, 2019

ОГЛАВЛЕНИЕ РС №16

I. ПОЭЗИЯ как МЕТАФИЗИКА ЖИЗНИ

В. И. Чернышев. СТИХИ конца ГОДА	4
Владимир Беспалько. Стихи-размышления	7
Александр Гиневский. Стихи	17
Валентин Лукьянов. Сугробное солнце	25

II. СИМФОНИЯ ПОЭЗИИ, ПРОЗЫ, ИСТОРИИ и МЕМОРИЙ

Анатолий Михайлов. Ветвь зимы	30
Сюзанна Массии «Константин Кузьминский»	136
Константин Кузьминский. Стихи и статьи	139
Борис Кудряков. Два рассказа	146
Сергей Ловчановский. Петля, удавка и хомут	154
Александр Гиневский. Сила естества	168
О Константине Кузьминском	192

III. МЕМОРИИ, КУЛЬТУРА, ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ

В. Лапенков. Андеграунд Аси Львовны	214
Форматирование Андеграунда	244

IV. МЕТАФИЗИКА ЖИЗНИ

Александр Гиневский. ТРИ ПРИТЧИ	254
--	-----

V. НАЕДИНЕ С СОБОЙ

Светлана Лисицина. Она нас любила	268
Афанасовский. История серебряного полтинника	272

VI. ЖИЗНЬ КАК СВЕТ И ТЬМА

В. И. Чернышев. Критика как искусство	285
Гуннка (отрывок из книги «Исповедь пасынка века», т.2)	304
В. Овсянников. Едет царевич задумчиво прочь	309
Дом Грудинина	311
А. В. Медведев. О влюбленной голове	313
Переписка критика и художника	315
С. С. Сонин. Башмачник (рассказ)	319
Сергей Китов. Стихи	333

I. ПОЭЗИЯ как МЕТАФИЗИКА ЖИЗНИ

В. И. Чернышев

**СТИХИ
конца года**



СТИХИ КОНЦА ГОДА

—
Осенняя зима тоскливее, чем осень,
Как вечность, как болезнь, ночной в тюрьму этап.
Где желтый лист, шафран, янтарь и медь? Где прósинь,
Где дух созревших куч и тусклый свет от ламп?

Продолжая Исповедь Пасынка века,
Начинаю новую жизнь
Сегодня, с утра!
Не буду больше ныть,
Возьму длинную нить
И буду искать «Вчера».
Как поучительно путешествие в прошлое...

Жажду милосердия глаз
И подаяния снов,
Взламываю твердь основ,
Ищущий сущий Азь.

Читанное благоговейно из
Смешиваю с тем, что вне,
Пройдя чрез положение риз,
Когда и верное не...

И пока время есть...
Хотя его мало, но
Хватит, чтоб перечесть
Читанное давно.

Нежность пожатья рук!
Радость разминок, встреч
Прикосновение плеч
Сердца привычный стук.

7 ноября, 12-00. Отчет о революционной демонстрации в деревне.

Прошел по центральной улице деревни (другой не было) с флагом и портретом отца. За мной увязалась соседская собака и бесхозная девушка, еще трезвая.

– А куда мы идем? – спросила девушка. – Ведь магазин в другой стороне?!

13-30. Меня посчитали за одиночный пикет, и местный полицейский отправил меня в баню.

Следующее донесение пошло, когда восстановится связь. Погода налаживается. Жена приказывает прекратить митинг и копать огород.

Ваш редактор.

Стихотворение в прозе

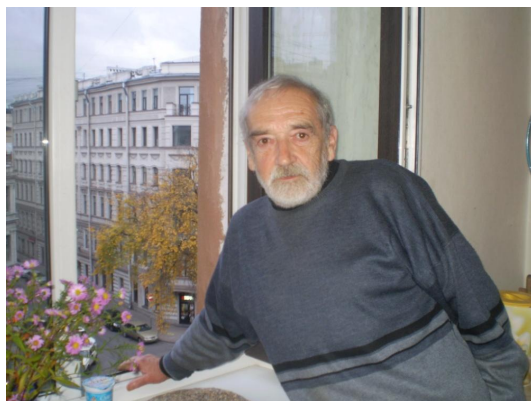
Меня упрекают в многословии, в стремлении всех поучать, в чрезмерности моих особенностей Водолея, иногда кажется, что еще немного, и мне скажут раздраженно: *Да закрой ты, наконец, хайло!* (*хайло* – дыра в стене в "бане по-черному", эту дыру закрывают после того, как прогорят угли в печке).

Но недавно я получил знак свыше, что я правильно поступаю, не всегда закрывая хайло. А случилось вот что. Истопив баню, после того как вышел дым, я еще на каменку бросил ковш воды, пар окатил помещение парилки, вылетел, и мне показалось, что хотя угли горят, но уже голубых угарных огоньков нет, а я устал от ожидания, и подумал, что если буду сидеть на полке при открытом хайле, то возможные струи угарного газа из печки будут вылетать наружу. Но они, увы, вилсь, как оказывается, повсюду, хотя я их не замечал, и поэтому сильно угорел. А что было бы, если бы я *хайло закрыл*, как мне, может быть, хотят сказать!??

Так что, господа, мне дан знак свыше: *ВИ, не закрывай "хайло", рано его закрывать, борись с вражескими силами, а то и сам угоришь, и близкие погибнут*. И вы, друзья мои, не закрывайте хайло тоже, одного мало для того, чтобы проветрить протухший российский дом.

Владимир Беспалько

СТИХИ - РАЗМЫШЛЕНИЯ



* * *

Литературные подмостки.
Мне в невезении – везло.
В черновики выросли берёзки.
Над ними солнышко взошло.
А говорили мне: «Чудак,
Не вылезешь из серых буден».
Я не спешил, я просто так
Хотел узнать, а что же будет.

* * *

Строит дерево себя к сроку.
Сердцевинной тянется к солнцу,
Я сейчас бы написал хокку,
Но тогда что делать японцу?
Сила воли у меня слабовата,
Но учусь у дерева себя строить.
Осень нынче опять рябовата,
Но любить и такую стоит.
Я стою на холме нетленном,
Перелёт журавлей приемлю.
Я взлетел бы сейчас в небо,
Да корнями врастаю в землю.

* * *

Рад бы родину открыть
Словно родинку на теле
У любимой. В самом деле
Рыбы всяко из икры
Проявляются так зримо,
Расправляя плавники.
Русь подобьем супер Рима
Проявилась близь Оки.
Нам что строить, что ломать –
Всюду родина и мать.

* * *

Гроздь рябины под коркою снега
Так краснеет в сквозной белизне,
Что от свежести, словно с разбега,
Сердце бьётся сильнее во мне.
Уголок белоствольного края,
Тишины серебристый настой,
Грозди ягод горят – не сгорая,
И сигналият не громко: «Постой».
Я услышу вокруг прорицанья:
Снега, веток, стволов и хвои,
И, объятые дрожью мерцанья,
Удивлённые очи твои.
Две синицы сквозь занавесь снега
Издают голубой перезвон.
Словно нет реактивного века
И над нами другой небосклон.

* * *

Репа, брюква, свёкла, тёрка.
Хаос в кухне. В окнах ветер.
Школьник в майке. Шкварок горка.
Запах слобы. Вечер светел.
Сохнут мирно на верёвке
Простыня и пять пелёнок.
Кречет в небе, а в кладовке
Ловит поздний луч котёнок.
Крепкий чай уже заварен.
В телевизоре премьера:
В шарабане мчится барин –
Долго ехать в нашу эру.

* * *

Цензоры стихов и прозы:
Тютчев, Майков, Гончаров
Проникали в чары слов.
Отцвели в усадьбах розы.
Измельчал цензурный клан:
Есть издательство, есть план
Самых преданных восславить.
Наглецы прорвутся сами.
Неудобным – кляпы в рот.
Научить читать народ
Между строк. А дальше точки –
Общей жизни заморочки.

* * *

И пенсию считая гонораром,
Пишу почти, но всё же не задаром.
За родину бескрайнюю молюсь –
Того гляди, преобразится Русь,
И новичкам и прозы и поэзии
Жить станет легче, может, и полезнее.
Соцреализм расчётливо, не сдуру
Платил за вклад в надёжную культуру.

* * *

Весна озёр и рек – весна воды.
Весна листвы – к деревьям благосклонна,
Весна травы – земли покроеет лоно,
Весна цветенья забредёт в сады.
Весну людей повсюду я искал:
В любви, в улыбках, в радости пелёнок.
Учёный муж – воистину ребёнок –
Земную жизнь игрушкой посчитал.
Крутил и так, и сяк её в руке
И, разобрав, с трудом постигнул атом,
И потянуло космосом и адом...
Весна небес колышется в реке.

* * *

Чтоб провода не задевали,
Стригут деревья горожане,
А льдины мечутся в реке.
Деревья сумрачно дрожали
И чем-то мне напоминали
Солдат с культияпкой в рукаве.

* * *

Батон, как щука, бился в сетке,
В ботинке хлопала вода.
С машин кромсали лихо ветки,
Спасая от деревьев провода.
Их государственно и мудро
Кромсали вбок и вкось, и вкривь,
И ветки падали бесшумно,
Набухших почек не раскрыв.

* * *

Обрывки фраз над тротуарами
Кружат и тают на лету.
Троллейбус освещает фарами
Коней, прирученных к мосту.
Но стоит только мне прислушаться,
Забьётся время у виска.
С моей душой начнёт аукаться
Чужая радость и тоска.
Как в сердце целый мир вмещается?
А, кажется, само собой
Людские судьбы совмещаются,
Срастаются с моей судьбой.
И как всё это надо высказать,
Чтоб сохранить и свет, и соль,
И как всё это надо выстрадать,
Чтоб не унижить чью-то боль.

* * *

Патриотизм – надежда карьеристов
И ставка верная ханжей.
Их труд воистину неистов –
Дурачит взрослых и детей.
Патриотизм рубашек вышитых
И треугольных балалаек,
И этих, что во всю болтали,
Что из народа они вышли.

Произносили «из народа»
С такою гордостью великой,
Как будто они с боем вышли
Из окружения врагов.

* * *

Зимы белоснежное тело
Меж тёмных деревьев парит,
Что осень сказать не успела,
То снег на лету говорит.
Багровые гроздья рябины
Под снежным покровом горят,
Как если бы строчки Марины
Волненьем наполнили взгляд.

* * *

Медленный вальс снегопада.
Спокойный и ровный мороз.
По круглой эстраде поляны
Кружится пара берёз.
Кружится до упоенья,
До смеха, до горечи слёз...
В печи полыхают поленья
Белых, как снег, берёз.

* * *

Свободе выбора сочувствую с утра,
Но лень моя расчётливо хитра,
Окутывает тысячами пуг,
Чтоб дух завис, не воплощённый в труд.
Свобода выбора – суровая свобода.
Её вдохнула и в меня природа.
Мне далеко до лучшей её части,
Но ощущаю я порою счастье,
Когда, встряхнув за шиворот себя
И кандалами лени звеня,
В себе – себя другого нахожу
И слову верноподданно служу.

* * *

Терять и снова находить,
За рамою пурга.
Хотел навечно полюбить,
А вышло до утра.
Секунды вечностью текли,
Унёс их синий плотик:
Стояла в солнечной пыли
Из счастья, грешной плоти.
Смахнула крошку. Невзначай
С души тоску смахнула.
Ты не заметила, но знай –
Ты жизнь в меня вдохнула.
Исчезла – мелочность утрат,
Махнул рукой беспечно.
С усмешкой думал – до утра,
А вышло, что навечно.

* * *

Осенние крутые заморочки.
Свет преломив, твои сияют очи
Не только днём, лучатся даже ночью.
Поверишь тут – божественный источник
Сокрыт в любом. Скажу в суровом стиле –
Прекрасна ты и в обнажённом виде.
Твоих очей лучистое явленье
Приводит даже осень в изумленье.

* * *

Кино – важнейшее искусство.
Нам по пятнадцать. Наши чувства
Обнажены, а кинозал
Нас общей тайною связал.
Твоя ладонь в моей ладони,
Хоть неуступчиво, но тонет.
Мы в полутьме, мы рядом, вместе,
Киножурнал вращает вести:
Полярники и сталевары,
Доярки, рыбаки, фигляры,
Прослойка и рабочий класс
С экрана движутся на нас.
Твоя ладонь в моей ладони,
Хоть неуступчиво, но тонет.
Сквозь кинохронику тех лет
Сочится бодрый, гордый свет
Свершений, доблестных побед.
Но той страны сегодня нет.
Да. Нет её. И есть, хоть тресни:
И храмы ГЭС, каналы, песни.
Армады субмарин, ракет.
В борьбе за мир нам равных нет.
Твоя ладонь в моей ладони
Уже давным-давно не тонет.

* * *

Нетленная дева из прошлых веков
Сказала: «Немало вокруг чудаков.
Очнувшись с попойки, порою под койкой,
Поэты считают меня незнакомкой.
Художники пишут своих незнакомок,
Хоть знают меня от рожденья, с пелёнок.
Знакома со всеми, со мною любой»...
Столкнулся с нетленной, незримой судьбой.

* * *

В райский сад проникли обормоты.
Надкусили знаний горький плод.
Шаловлива эта часть природы,
Разум ей покоя не даёт.
Зачастили залезать в компьютер.
Отменили допотопный вальс.
Трижды плюну тьфу ты, тьфу ты, тьфу ты –
На себя я плюнул, не на вас.
Формулы, открытия, заботы...
Уголовный кодекс и статья.
Шаловлива эта часть природы,
Проникает в тайны бытия.
А когда откроем всё – исчезнем.
В книге судеб – хаос и буза.
Динозавры сочиняли песни
И на звёзды пялили глаза.

* * *

Всю ночь по морю пробегала зыбь
И молнии раскалывали небо,
И сад мерцал зелёный, словно невод,
Отяжелев от всполошённых рыб.
Всю ночь влетали запахи в окно,
Садилась на кровать и занавески,
И комната плыла в холодном блеске.
Поток воды был твёрже, чем стекло.
Всю ночь над морем пенилась гроза,
Поток воды гремел по жести кровель.
И молнии очерчивали профиль –
Того, кто в гневе приоткрыл глаза.

* * *

А что такое творчество –
Спросил с трудом у творчества,
А творчество ответило:
«Твори, узнаешь сам».
Не сотворить и атома,
Не сотворить растения,
Не сотворить и облака,
Тем паче – мотылька.
Вот если только с буквами
Связаться, буквы выстроить,
Воистину появится
Виденье мотылька.
На крыльшках сияющих,
Мерцающих и тающих
Скользит из слова сотканный
Весёлый мотылёк.
А если жизнь лишь творчество
Творца неизъяснимого,
То я – его творения
Не лучший экземпляр.



АЛЕКСАНДР ГИНЕВСКИЙ

СТИХИ

* * *

Века сменялись, поколения,
и часто мир тонул в крови,
но, Кампанелла, сны твои
всё оставались в отдаленьи.

Они чердачных чудаков
лишали жизни и покоя,
когда восторженные, стоя,
дышали ветхостью листов.

Тогда твой город осенял
и их знаменем свободы,
хоть где-то рядом – в малость йоты –
сиюминутная резня;

они величественны, в тогах,
достойно головы несли...
Их околпачить не смогли б
елей и окрик демагога.

БОМБА И СЛЕЗА

Бомба по своей форме
напоминает Слезу.
О той и о другой можно сказать,
что они похожи
друг на друга,
как две капли воды.
Но упала бы бомба,
если бы Слеза
обладала её силой –
силой разрывать
любые сердца?..

* * *

От полуправды к правде
не придти –
ложь в мелочах
все остается ложью.
Но есть судья,
который подытожит
и проведет знамение
черты.

Руки всевидящей
движенье незаметно,
но на полях судеб
горят ее пометы,
как запись точная
сухого геометра:

еще значок,
еще один –
и тут
намеренья благие
не спасут.

* * *

Был мир до нашего прихода,
но появляемся мы в нем –
души неведомой огнем
опять пополнилась природа.

О, тот огонь... не что иное
как отклонений правота,
пока недолгая звезда
дрожит над нашей головою.

Будь ведро или мгла сырая, –
какому случаю нас сбыв?!
Не выбираем мы судьбы –
она сама нас выбирает!

Но за превратности ее,
за синяки ее отметин
мы будем все-таки в ответе
и не отделаться враньем.

* * *

Как растлевают умные лгуны,
играющие тонко на святыхнях!..
Племен людских издревле и поныне
границы острою враждой накалены.

Они вещают громко со стены,
и, вроде, гласом вопиющего в пустыне...
Но дремлет в их словесной паутине
суровый Марс – кровавый бог войны.

В любой резне находится резон
пред тем, как пастор освятит
деянье,
пред тем, как в муке
захлебнётся стон,
пред тем, как выживший
пойдет за подаяньем,
пред тем...
неужто, шарик мой земной,
и ты, увы,
не вечен
под Луной?..

* * *

Пророки есть в своем отечестве.
Но что за участь дальнозорких?!
В лекарстве примитивной порки.
Открыт им путь очеловечиться;
избавиться от наваждений,
от сдвигов умственных по фазе,
чтобы не лез из грязи в князи
как будто бы
других вождей
нет.
Пророков нет,
но есть пороки –
извечна эта
круговерть.
...и снова
тянутся иметь,
хоть неказистого
пророка.

ПУСТЫРЬ

Вдали от трамвайного звона,
от грозно ревущих машин,
от прихотей власти казенной
Пустырь – сам себе господин –

разлегся. Здесь битые стекла,
здесь мусор, ржавеющий хлам,
бурьян низкорослый и блеклый
торчит из колдобин и ям.

И, странно, что вот посредине, –
что в центре всего Пустыря
сумелось подняться куртине,
бутонами буйно горя:

как остров среди запустенья
шиповник колючий стоит,
и кажется запах растения
случаен здесь и нарочит.

Роняет сей пасынок розы
плебейский губы лепесток,
чтоб ветер ту нежную осыпь
к разбитым ногам поволок

сюда, где на ящиках серых,
нехитрую снедь разложив,
с портвейна кайфует гетера
и с нею кайфуют бомжи.

Июнь пот со лба утирает.
Он шлет свой привет Пустырю
той тучкой с малиновым краем,
быть может, гулявшей в раю.

Возжег опустившийся Вечер
в кадилцах дурман анаши, –
цветов погребальные свечи
над прахом забитой души.

Владимиру Беспалько

Ты посмотри: на Малой Невке
спортсменов смуглые тела,
на старт весна их привела,
и флаг колышется на древке;

И мышцы рук напряжены,
сосредоточен каждый мускул,
и «Победить!..» – во взоре тусклом
читаем мы со стороны;

и резкость погруженья весел,
мельканье мокрых лепестков –
напор, не знающий оков,
их вдаль стремительно уносит;

и юноши с глазами неба
к коленям подбородки гнут.
...Какое счастье: вижу тут
не помнят... очередь за хлебом.

Константину Кузьминскому

Твоя фантазия причудлива. Она
как неженка – опасна ей простуда,
когда задует в форточку оттуда,
где в подворотнях жметя тишина;
где по трамваям тычутся в газеты,
смеются, плачут, платят за билет,
где не попасть обычно на балет,
где кто-то в гнев требует кареты;
где "пишут пулю", молят о любви,
очки втирают и втирают мази;
где кольцевыми пролетают МАЗы
вдали от нас, но ты... ты говори.
Витай, безумный, в облачных химерах,
та жизнь придет когда-нибудь сама
и изощренность тонкого ума,
к стыду ее, не сыщет в ней примера.

Мысль изреченная...

Тютчев

Что за странная прихоть брать слово

и рассматривать долго на свет.

До тех пор, пока первооснова
сокровенных не явит примет,

от которых в озноб тебя бросит,

отодвинутся сон и еда,

и небес животворная просинь

для тебя потускнеет тогда...

Что за вольность то слово в тисочках

надфелечком с насечкой стальной

до высоко намеченной точки

доводить осторожно рукой,

распалаясь в слесарной работе,

подгонять слово к слову впритык –

сопрягать, подбирая из сотен

благородных и прощелыг.

И на гребне волны упоенья

только ею – работой самой,

лишь подумать, что стихотворенье

в чью-то душу войдет на постой,

если выпадет фарт на такую.

Боль чужой – и близка и остра, –

с ней стеная, и с нею ликуя,

коль оставит, побыть до утра.

О, наивность и жалкость соблазна,

о, юродство желаний твоих:

упоения топь – непролазна

как и топь намерений благих.

Так зачем во хмелю той отваги,

каждый раз оставаясь ни с чем,

в жизни ли, или вот – на бумаге?..

Видит Бог, я не знаю зачем.

Дым святого восторга осядет.

В день базарный цена ему грош.

Снова стыд настигает, как сзади

под лопатку вползающий нож.

* * *

Земля прекрасна – вы правы, Уитмен.
Да, человек на ней – он весь от Бога, –
когда он может разумом высоко
поднять себя над вечностию ритма
рождения и смерит – ей в глаза
смотреть бесстрашно жизнью влекомый;
тому, кто рядом, плод труда весомый
рукою щедрой с дерева срезать.

Земли мы дети. Только ли нажим
пера открыл, что истина – простая?..
Над нами облака плывут не зная
в который раз и что с ней сотворим.

* * *

Гори, звезда, гори, моя звезда!
Мерцай и дни и ночи надо мною:
И в час, когда я может быть не стою,
Чтоб мне твоя сияла высота,

И в час, когда я радуюсь весне,
Улыбке чьей-то, чьей-нибудь удаче;
Когда навзрыд со мною рядом плачут
И вместе с ними плачется и мне.

Да... опустеть дано любому дому.
Придет мой час – не станет и меня,
Но ты, прошу, ты не гаси огня –
Ты посвети кому-нибудь другому.

ВАЛЕНТИН ЛУКЪЯНОВ

СУГРОБНОЕ СОЛНЦЕ



НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Вот снег над площадью кружит,
Всё крутит вихри ошалело.
В метель ничем не дорожит,
Разжившись – серебрит, жалеет.

Ему невольная судьба
Дана, где спят в душевной лени, –
Ложиться молча на себя
Безмолвным белым мавзолеем.

Ему лишь тени да боязнь
К лицу, да звёзд кровавый гребень...
И только ты, любовь моя,
Не подойдёшь и не согреешь.

СУТРОБНОЕ СОЛНЦЕ

Брось разменивать херовину,
Где природная казна.
Брось темнить про белокровие –
На миру и смерть красна.
На миру, в морозном чайньи,
Так снега позолоти,
Чтоб увидел всяк отчаянный:
Словно пути все пути.

КРЕМЛЬ

В полночном суеверье
Стоит, и звёзд в нём – тьма.
Весь сказочен, как терем,
Реален, как тюрьма.

Себя дробя на вышки,
Отводит взгляд в реку;
Он нем, но чутко слышит,
Чем дышат, что рекут.

Уже не озаряют
Ни думы, ни пожар.
Всё холодной взирает
На то, что сам пожал:

На дурдома, темницы –
На своды страшных снов;
На донорские лица
Красно глядит, красно.

Ему не скажешь слова
Напротив. Что слова!
Ведь даже безголовый –
Всему он голова.

И встречного не стерпит,
Загонит в гроб живьём.
И каменное сердце
Стучит, не глохнет в нём.

1974

І І. СИМФОНИЯ ИСТОРИИ, ПОЭЗИИ, ПРОЗЫ, ФИЛОСОФИИ И МЕМОРИЙ



Анатолий Михайлов

ВЕТВЬ ЗИМЫ

Асе Львовне Майзель



ПРОЩАЛЬНЫЙ ДОЛЖОК

(комментарий к записанной на аудиокассете
мелодии Е. Клячкина на слова К. Кузьминского)

*Ты меня поправшая,
ты, моя медовая...*
К. Кузьминский

Мой поэтический дебют состоялся в ноябре 64-го года. Всё удивлялся, какие у Клячкина слова, и, “попросту” их раскавычив, послал текст Клячкинской песни в подарок своей “медовой”.

Подари мне попросту, – написал я ей на материк, – руки твои, руки...

И заслужил в ответ восторженное удивление.

“Толюн, я просто не ожидала, какие ты мне посвятил замечательные стихи!”

Вернувшись с Колымы, я “свои” стихи заковычил обратно и через 28 лет после своего дебюта (точно сдав их в ателье проката) прочитал их тебе в Америке; и ты был приятно озадачен: оказывается, тебя в России не только помнят, но ещё и знают. И знают наизусть.

– Ну, хочешь, – спрашиваю, – ещё и спою?

Ты говоришь:

– Ну, давай.

И вот я пою, а ты в полосатом (арестантском) халате в своём добровольном изгнании (заточении) – сказочный “отщепенец” – слушаешь.

(В России тебя показывали по телевизору с перевязанным, как у разбойника, глазом.)

Ну, где ещё можно увидеть плачущего Кузьминского!

И тогда я тебе признался, что я твои стихи у тебя в свое время сфиздил и, присвоив их себе, потом ещё и поиспользовал в своих корыстных целях.

Но после такой информации ты, вместо того чтобы надуться, выпустил пар, что если я их тебе напою на кассету, то за мою работу (американец!) ты мне отстегнёшь полтинник.

Полтинник ты мне с лихвой давно отстегнул, но дело совсем не в полтиннике. Ведь если “песня спета”, то ей уже нет цены.

И вот через 37 с половиной лет после своего дебюта я посылаю тебе прощальный должок: записанные, как ты и пожелал, на кассету в авторском исполнении “свои” САМЫЕ ПЕРВЫЕ СТИХИ – мелодию Евгения Клячкина на слова Константина Кузьминского.

КЛЯЧКИН И МИСС ИНТЕГРАЛ

Один менестрель рассказывал: перед выступлением бардов устроили конкурс красоты и после подведения вокальных итогов серебряному призёру выдали два презерватива и ключ от номера в гостиницу, где победителя уже запрограммировала Мисс Интеграл.

А получивший золото Клячкин в знак протеста демонстративно покинул зал.

КАМЕРА ХРАНЕНИЯ

Полученную от тебя в подарок “Башню” водрузил у себя на столе, а две остальные раздал: одну – Володе Алексееву – пускай, как ты и повелел, несёт культуру в народ, ну, а последнюю – одному марамоу по фамилии Шубинский.

Эта фамилия мне примелькалась ещё по “Камере хранения”. (Такой альманах, я тебе на Брайтоне, помнится, показывал; теперь вроде бы скис, а тогда, в начале девяностых, был нарасхват. И даже печаталась сама Горбаневская, как ты её называешь, “надутая ма..да”. И тут ведь поневоле надуешься: зря, что ли, катила свою коляску на Красную площадь? Но почему же всё-таки манда?) Не знаю уж, чем там он их охмурил, но я, по крайней мере, клонул и решил тебя “сохранить”.

Этот Шубинский, как теперь выясняется, пустился на страницах “Литературной газеты” в полемику с самим Эдиком Шнейдерманом по поводу ленинградского самиздата, но почему-то под псевдонимом, наверно, для пущей важности. (И ещё по поводу выставки, о которой Алик тебе уже написал. Ко всему, что связано с тобой, Алик относится с каким-то трепетным благоговением: всё ходит с блокнотом и фиксирует каждый твой пук. И в особенности хороша фотография, где ты в такой смиренной позе к кому-то пришёл и как будто собираешься встать на колени и помолиться; и сразу же вспомнился мой папа, как мама все ещё приговаривала: “А папка-то наш артист...”). И в пику Эдику, всё пытался доказать, что “логовом подполья” была “могучая кучка” во главе с “самозванцем” Иосифом, а все остальные, в том числе и ты, к ним просто примазались. А сам он приехал в Ленинград откуда-то с Батькивщины и в годы “борьбы с засилием поэзии Бродского” ходил там у себя на Молдаванке в детский сад.

А познакомились мы с ним на Невском в Книжной лавке писателей. Иду, смотрю, толпа. Оказывается, Евтух. Спланировал в родимое болото на каникулы. И, как всегда, пускает свою восторженную парашу.

И если ему (Евтуху) верить, то свой первый стишок он наклепал ещё в трехлетнем возрасте. Или даже в двухлетнем. Нашла, вспоминает, медитация. И сразу о культе личности. Примерно в 35-м году. Сначала я думал, дуркует. Но потом пригляделся: да нет, на полном серьёзе. Размахивает своими перстнями. Харя такая породистая. Холёная. И даже несмотря на морщины. Глаза горят. Ну, прямо былинный витязь.

И вот к этому самому Шубинскому мы с Володей Алексеевым и

напудрились. Куда-то возле Стрелки, там в особняке у ихней кодлы тусовка. Сначала, конечно, выпили, это я про нас с Володей, и я ему (этому гнусу) твою “Вавилонскую башню” и вручил.

Через неделю звоню в полной уверенности, что он меня засыплет предложениями. Ну, думаю, нет, пускай сначала устраивают конкурс.

Такой молодежавый еврей, не без наглёцы и, как говаривала моя первая теща, с претензией. И вдруг скособочил рыло. Я это почувствовал даже по телефону.

– Что, – говорю, – не понравилось?

– Да нет, – говорит, – вообще-то что-то есть... (Бумагу, мол, марать научился.)

Вот, думаю, сучара!

– Ну, и что, – спрашиваю, – дальше?

– А дальше (и чувствую, с такой ехидцей улыбается), а дальше, – говорит, – ничего.

Оказывается, собирает антологию. Свою “червонную сотню”. Или как там он её обозвал. (А у Глеба в его “Окаянной головушке” – белая.) И Глеб туда одним стишком вроде бы вошёл. В эту его антологию. Да и то с натягом. А вот для Кузьминского места не нашлось. “Он, – говорит, – не в моем вкусе.” А твою “Голубую лагуну” в своё время даже проштудировал. “Занятная, – говорит, – вещичка.”

Ну, я тогда ему за нашу с тобой “Башню” и говорю.

– “Ложи”, – говорю, – падла, “в зад”.

И тут он как-то вдруг даже засуетился.

– Вы знаете, – извиняется, – сейчас её у меня нет. Но вы не беспокойтесь. Она куда-то денется...

Конечно, куда-то денется. И будет ещё стоять тыщу лет.

И снова через неделю звоню – и опять та же самая история. И ещё через неделю опять. А потом и вообще перестал подходить. Один автоответчик. А потом и тот замолчал.

А твою “Вавилонскую башню” так “по кирпичику”, наверно, и разобрали. На строительство общественного туалета. Или общественной бани.

Но так ничего и не разобрали. Стоит. У меня на столе.

РАЗРЕШИТЕ ПОКАЗАТЬ

Ещё при Хрущеве в нашей поликлинике случился один сумасшедший. Всё ходит, сложит перед собой руки и так таинственно их раскрывает. К кому-нибудь из очереди прицепится и улыбается:

– Разрешите показать!

А там у него в скрюченных ладошках бумажный кораблик. Наверно, сам смастерил. И все к нему уже привыкли и жалеют: какой он всё-таки молодец. Другой на его месте облил бы, например, из клизмы чернилами. Или открыл бы спичечный коробок, а там, например, насекомые. А этот такой безобидный и тихий. И – к следующему:

– Разрешите показать!

Вот так же и я. С твоей “Вавилонской башней”. Сначала даже всё пытался тебя декламировать.

– Вы только, – предлагаю, – послушайте... – и уже простираю ладони. – *Твои пальцы, как клавиши, клавиш – твоё тело...*

Но почему-то никто не реагирует. Потом всё-таки догадался: не тот инструмент. И стал тогда им предлагать одну твою надпись.

– Вы только, – и чуть ли уже не плачу, – вы только посмотрите, кто мне написал: сам Константин Кузьминский!

*Толику Михайлову
магаданско-нитерскому
барду-поэту-прозаику
и другу
от престарелого автора*

11 сент. 96

Б. бич

И опять матросская тишина.

И вот я теперь в таком раскоряченном положении: гордости полные штаны, а поделиться не с кем.

Поставлю твою “Башню” на место. Разверну с твоей надписью страницу. Сажу и часами люблюсь.

ЖЕНЩИНА НА КОРАБЛЕ

*Вы, певший Летучим голландцем
Над краем любого стиха.*

.....
*Я знаю, ваш путь неподделен,
Но как вас могло занести
Под своды таких богаделен
На искреннем нашем пути?*

Б.Пастернак

И тогда я решил сменить тактику и теперь, когда угощаю Кузьминским, напирая всё больше на “рюшечки” да на “воланчики” и, томно так потупившись, отрывисто писклявлю:

– Водка... селёдка... Солженицын...

Ну, а на сладкое – “Женщина на корабле”. И здесь уже неважно, что это совсем не Кузьминский. Корабль-то всё равно один. (Как на Покровском бульваре, когда играешь с товарищами в “пьяницу”. И если карта красная, то значит нальют стакан. А если чёрная – значит бежать за водкой.)

И вот уже начинаешь.

– Женщина... на корабле... же-же-же-же-же... женщина... на-на-на-на-

на...корабле...бле-бле-бле-бле-бле... – и, так внезапно затихнув и обведя всех таким отШнурованным взглядом, набрасываешься блеять по-новой...

И, оторвавшись от стола, все уже переметнулись на будильник: всех теперь занимает вопрос – дотяну или не дотяну?

Когда пицал про селёдку, то продержался целых двенадцать минут. Ну, а теперь замахнулся на пятнадцать.

Уже пересохло в горле, но я всё равно не сдаюсь. А Солнышко-Ленка, тоже косая, всё меня гладит по голове:

– Ну, успокойся, успокойся...

РУКИ ПРОЧЬ ОТ КОНСТАНТИНА КУЗЬМИНСКОГО

– Смотрите, – распаяюсь я перед своими друзьями, – какой Кузьминский благородный! Мы были счастливы и согне, а он их забодал аж за целых три! (Речь идет о тех семнадцати гравюрах, которые ты пристроил в коллекцию Нортон.) Но только не согни, а тонны. А нам аж целых две отвалил! Когда у самого аж восемь тысяч долгу. Ну, разве это не подвиг!

– Да просто, – улыбаются, – перебздел!

– Не понял, – говорю, – что значит перебздел? – и тоже им в ответ улыбаюсь.

– Да перебздел, – объясняют, – что ты об этом напишешь.

– Ну, как же, – чешу затылок, – я об этом напишу, когда я всё равно ничего бы не узнал.

Но моих друзей голыми руками не возьмёшь.

– Догадался бы, – уточняют, – по запаху.

КОЗА НА КАМЕНЬ

Ленка прочитала и говорит, что посылать тебе такое не совсем этично. И я здесь выгляжу по меньшей мере как провокатор.

Но я Ленке возразил: ну, разве я виноват, что у меня такие друзья.

Моя друзья не могут тебе простить, какую ты учинил Валиной подборке козу.

Но я их успокоил, что ты уже с Валиными стихами смирился.

– А куда ещё, – улыбаются, – деться...

Зато не смирились они.

ТРАЛИ ВАЛИ

Трали Вали Лукьянова – трели.

НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ

В мультфильме перед началом сеанса к царской дружине обращается генерал: «Нашему царю-батюшке показали дулю. Умрём же все, как один, за нашего царя батюшку!»

И никто, кроме Вали, даже не улыбнулся. А Валя так хохотал, что его чуть не вывели из зала.

Народная мудрость гласит: смеётся тот, кто смеётся последним.

А последним, добавил Валя Лукьянов, смеётся дурак.

ВАГРИК БАХЧАНИАН И ВАЛЯ ЛУКЪЯНОВ

«Лишний человек», – уточнил, вдохновляясь цитатой из Алексея Максимовича, Вагрик Бахчанян, – «это звучит гордо». Но, руководствуясь той же самой цитатой, Валя всё лишнее убрал.

«Человек, – заметил Валя Лукьянов, – это звучит горько».

БЕРЁЗОВАЯ КАША

В отсутствие пишущей машинки пришлось нарезать ножницами картонки и, воспользовавшись набором фломастеров, каждый намалёванный текст прилепить на картонку скотчем. Как объявление к водосточной трубе.

(Сходил на кухню и вытащил из помойного ведра веник. Уставился и изучаю.

И Ленка не совсем довольна.

– Ну, что ты, – ругается, – трясёшь? – И над самой кастрюлей.

Но ведь я же совсем и не трясу. Просто я работаю со словом.)

...А все разноцветные прутки – бросить потом в коробку из-под бананов, и, прежде чем эту коробку тебе преподнести, вывести на ней малиновым фломастером название. *Берёзовая каша.*

МОНОЛОГИ С КУЗЬМИНСКИМ

На фоне «Вавилонской башни» решил подлить масла в огонь у себя на столе. И теперь всё ломаю голову, как лучше свою работу назвать: БЕСЕДЫ или ДИАЛОГИ?

Но Ленка, она ведь у меня голова, поставила точку.

– Назови, – говорит, – *МОНОЛОГИ.*



ВЕТВЬ ЗИМЫ

Передо мной титульный лист затеянной Костей Кузьминским книги.

ВАЛЕНТИН ЛУКЪЯНОВ

ВЕТВЬ ЗИМЫ

Составитель А.МИХАЙЛОВ

Гравюры А.ЦЮПЫ

1997

ИЗДАТЕЛЬСТВО
КОНСТАНТИНА К. КУЗЬМИНСКОГО

Суперобложка И. ТЮЛЬПАНОВА

«ПОРТРЕТ В.ЛУКЪЯНОВА»

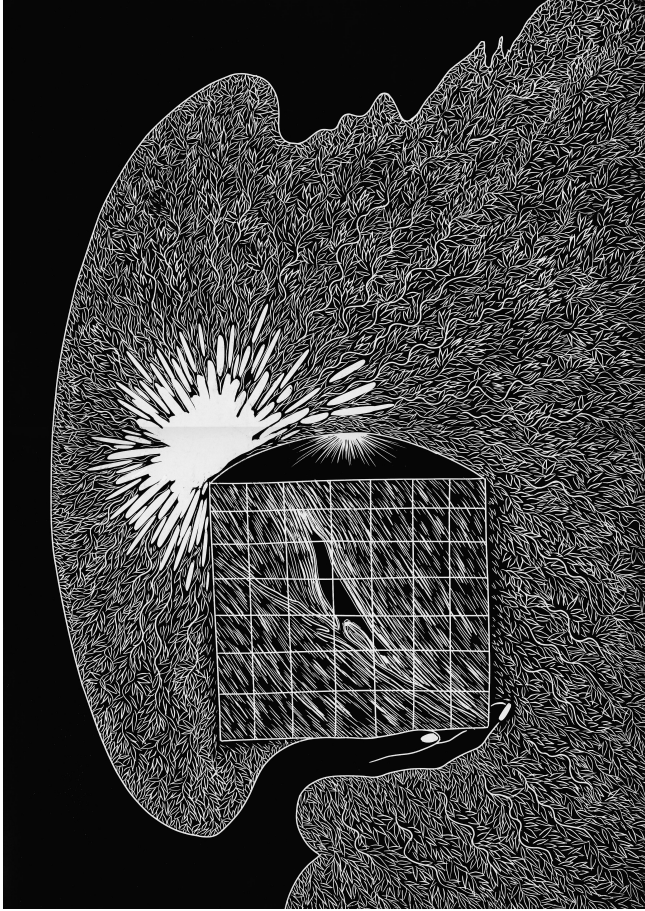
Макет ЭКП

Редактор ККК

копирайт друзей В. ЛУКЪЯНОВА

тираж 333 экземпляра

издание осуществлено за счёт гравюр А.ЦЮПЫ



СЛЕЗА И ЛУЧИНА

... Так в наших северных лесах, – напоминает на магнитофонной ленте голос Валентина Лукьянова, – *какая ни случись кручина, лучится каждая слеза, слезится каждая лучина...*

Костя поворачивает голову и, заволакиваясь «туманом», возвращается обратно «за шлагбаум».

Я нажимаю на клавишу, и плёнка в кассете останавливается.

– Давай ещё раз! – предлагает мне разомлевший Кузьминский и, зафиксировав слезящуюся лучину, излучает наверху слезу.

СУДЬБА ПОЭТА

*Словно в час тишайший
сердце на руке.*

В.Л.

У Толи Цюпы есть гравюра, которую он посвятил Вале Лукьянову: Валя держит на ладони клетку, а в клетке поёт соловей.

Когда Ленка кормит кенаря, то насыпает ему зерно на бумагу. Выдвигает из клетки поддон и заменяет исчерканную страницу на следующую.

Свои гравюры Толя перекладывал белыми листами, и на каждой такой перегородке – название. Гравюры висят на стене, и оставшаяся после них бумага сложена в кипу, и каждое утро Ленка выуживает чистый лист и как будто заправляет пишущую машинку.

И когда наш первый кенарь вдруг перестал утром петь, то под его сложенными крыльями выведенное Толиной рукой, точно выбитой эпитафией, было зафиксировано слово ПОЭТ.

18.02.97

Костя привет.

Решил так: сначала напишу тебе письмо, оно будет идти недели две-три, потом ты неделю-другую покумекаешь, а потом где-нибудь в апреле, я тебе позвоню.

Письма и стольник твоей сестрице я передал сразу после приезда. Так что всё в порядке. А вот с твоими презентами получился недобор: из пяти «Вавилонских башен» в Питер прилетело только две (помимо твоей дарственной); все книжки были рассованы по чемоданам и сумкам, но везли столько барахла, что в аэропорту тормознули и чуть не сорвали стольник – за перегруз; так что пару сумок пришлось оставить провожающему Тюльпанову – до следующей Америки.

Из двух последних одну вручил Володе Алексееву, а другую вручу Глебу, пока ещё не успел. Володя на днях улетел к Гозиясу до 15 мая, и если на Брайтоне пересечёмся, то, может, все вместе встретимся. Глеб, говорят, по осени лечился от запоя в психушке, но к Новому году выписался, и они с Володей даже успели поквасить. Володя говорит, что из Америки ему (Глебу) что-то прислали (твое), вроде бы прозу, и Глебу понравилось; и когда буду ему передавать твою книжку, то возьму у него (как с тобой и договаривались) штук 20 его («Сижу на нарах») и скажу, что Костя их определит.

Из твоего списка накнокал с «Красным колесом» Пильняка. На книжном рынке узнал: двухтомник Е.Харитонова можно заказать (и ещё под вопросом – сделают или не сделают?) и стоит это будет 25 баксов (а покамест спрошу у тебя по телефону, то и все 30)

Теперь о главном.

Книгу Вали Лукьянова, вернее, остов книги, уже составил. Привезу всё, и по ходу решим: ужимать или не ужимать.

С Тюльпановым переговорил, и он не только дал добро, но и пообещал дать первоисточник (слайд). Я ему объяснил, что его картина пойдёт на обложку и что внутри, помимо Валиных стихов, будут гравюры Толи Цюпы. И он дал добро и на это. И сказал, что собирается Валины стихи проиллюстрировать сам, но это покамест ещё только разговор.

В Москве посоветовался с другом и решили, что разговаривать с Валиной вдовой (насчёт трёх недостающих поэм) бесполезно. Единственный шанс – наколоть: взять почитать и перепечатать. Со мной такой номер не пройдёт – догадается. Друг обещал попробовать сам, но пока ещё не решился: мол, некрасиво и сам Валя это бы не одобрил. Она (вдова) считает, что Валина поэзия – её собственность и только она одна имеет право решать, достойны ли эти поэмы увидеть свет или недостойны; по её мнению они слишком грубы (с матерком) и лишь исказят Валин облик; друг считает: всему своё время и надо дожидаться, покамест она выпустит эти поэмы добровольно (а этого можно и не дожидаться). Я спорю – что лучше: красиво и так никто и не прочитает, или некрасиво, но зато прочитают все.

После разговора с тобой по телефону (в апреле) уточнятся наши планы: если гравюры пошли в дело и их покупают, то я приеду вместе с Леной (уже в начале мая) и Лена сможет поработать над книгой. А если не покупают, то мы просто не потянем. И тогда я (в любом случае) приеду один.

*Покамест всё. Привет Эмме.
Любящий тебя сынок (Толик Михайлов)*

27 февраля 97

сегодня получил – сегодня и отвечаю.

17 цюп, ВО МНОГОМ благодаря твоему рассказу-предисловию (заплатил полтинник переводчику, и он сделал дополнительный шедевр!), страшно понравилась нортону, и он взял – за 3 штуки, чтоб, часом, не растратить и 2 ваши части (треть, как мы договаривались, моя) – поклял на “подвал”, откуда, в момент надобности и сниму. хошь – хоть завтра, звякни и скажи – кому, в течение двух недель выложу наличными.

остальные (дубли) лежат, покупатель – может, и нарисуетя на десяток, но уже не по тем ценам. попробую.

нортон-то понимает (и знает нашу тамошнюю давешнюю жизнь), а другие музейщики – не вникают. им по фигу, кто сгорел, а кто гонит дешёвую и понтовую коммерсуху, они свои стандарты прилагают: как ОНИ видят русское искусство... как хотят – так и видят. их глазки, их деньги.

касательно печати. тюльпанчик привык гнать понты, с экстра-класс бумагой и прочим (знаю его – лет 25!), а лукьянов/цюпа – “баранчики”, люмпены, игорёк годится только на суперобложку, да и то – не “со слайда”, а с цветного фото, множимого цветным же ксерксом (доллар – штука), или компьютер-принтом (дешевле, но хуже). и с гарантией – начнёт залупаться. за качество.

печатня... мне к новому году был подарок: пришлось забраковать 2 мои книжки (оплатив только диапозитивы), потому – печатник старенький (делавший “башню”), молодые пиздодуи его – либо чернят фото, либо еле-еле виден текст...

другие печатни – втрое и вчетверо дороже. напоминаю: “башня”, 140 стр., 300 экз. – стоила 364 долл., не считая пересылки (или – ехать – на чем? – в массачусетс, три часа езды...)

попробую узнать принцип расклейки страниц, чтобы все гравюры были на одном листе (32 стр. расклея), а на обороте – чтоб белый лист... справа или слева они – и как? – окажутся, это мне ещё предстоит постигать.

в любом случае, больше 12 (16?) гравюр пускать нет смысла. если есть ещё какие – привози

(проблема ещё – горизонтальных и вертикальных... или и те, и те – уменьшать, чтоб смотрелись гармонично? словом, думать...)

о цветной, внутри – нет и речи (разве – на заднюю суперобложку, если на передней будет тюльпан).

макет – всё равно придется делать мне с мышью (у неё уже опыт), а набор... считай сам: на 2 ИМЕЮЩИХСЯ уже ваши куска – распределяй сам, что на печать, что на поездку, что на что.

я считаю, что самое разумное – как мы решили: приезжаешь с еленой прекрасной, я даю компутор с программой, она сидит-набирает, я распечатываю, мышь расклеивает, и – к гамильтону, печатнику...из расчета: 100-120 стр., 12-16 гравюр, 300-500 экз. – будет где-то 400-600 долл., плюс? – суперобложка... хотя бы на 100 экз., цветную – это уже лишние 150 долл....

3 марта

вот, начал, отписал – и понеслось: народ, дела, а 1 марта – сразу 3 выставки, на 2 поспел. кабакова -проигнорировал.

сейчас очухиваюсь, погода поганая, дела стоят, денег – жду уже на брайтоне “по нынешнему прейскуранту – никак невозможно” (И. Горбуновым, любимым – нашёл бы ты его книжицу, вроде не переиздавалась с 60-х, актёр-рассказчик конца прошлого века, гений...)

тицетно жду – миша левин торгуется – купить халупу за 18 тысяч на севере штата, у самой реки делавер, развалюху, починить – и жить, остатнее... торгуемся с хозяином уже с января, не сбавляет ни цента, а у меня и на это-то – большие половины в долг набирать...

хайдинька, гуля (“хайди-догони-ветер”, полное имя) – домика не дождалась, как я ни просил, теперь даже пепел никак не получить из собачьего крематория, неделю звоню...

и книжку, сдаденную печатнику в конце декабря – тож жду...
и домик жду... и денег...

а “время-не-ждёт”, джеком лондоном...

своё никак не успеваю делать: двум друзьям книги распечатал-смакетировал, уже “продаются” (хотя – кому тут?), третий друг, шимань, проехавший на лошадке через всю америку (и собирающийся – на верблюдах, вокруг австралии) – тоже книжкой разродился, опять распечатывать, да для журналов отбирать куски...

а свое – лежит, без движения: и роман, и 2 поэмици, и ещё что...

словом, закругляюсь: с цюпой 3/4 дела сделано, теперь – за вами...

обнимаю, и целую ручки елене,
глебушку – облобызать и пожелать,
гозиаса – я потерял лет 10 назад, где-то, не нарисовался,
остальным – поклоны, поклоны, поклоны...

ваши ккк

Пэ.Эс. Харитоновна – бери хоть две, за 60 (если есть наличка), здесь – сочтёмся!

И вообще – всех авторов, которые тебя активно “раздражают” (значит – мои!).

Всё – В.Сорокина (кроме “Романа” и “Нормы”), И.Яркевича (кроме “Как я занимался онанизмом”, О.Дарка, ПЕТРА АЛЕШКИНА!!! (все!), Валерия Козлова (“Дурная хворь” и др.), Андрея Коновко (“Бобылка” и др.), Алексея Акчурина (“Анчутка”) и т. п., Сергея Белошников (все), и т. п...

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ или Х... С ГОРЫ

На улице раздаётся гудок и, свесив с подматрасника ноги, я нащупываю пальцами шлёпанцы.

– Ну, чё, Толян, готов?.. карета... в натуре... подана... – загадочно улыбается Димон, и, расправив поперх тренировочных майку, я смотрю на часы.

Уже половина двенадцатого.

– Вообще-то, – говорю, – не мешало бы переодеться...

– Да ты, Толян... не бзди... У Кузьминского принимают без фрака...

Всего-то в двух шагах, но всё равно с доставкой на дом.

Распахнутая дверца лимузина. Дождь. Чёрточки капель. Огни. Шуршание мотающихся по стеклу “дворников”.

...Фонарь. Мозаика черепичной крыши. Ступеньки крыльца.

На чёрном развороте полотна отплясывающие “вширь и вкривь” белёсые рожицы букв. **АНАРХИЯ – МАТЬ ПОРЯДКА.**

Склонённые над плитой Эммины плечи. Мальчишеский без всяких выкрутасов затылок. Тесёмки передника.

– Костя, к тебе!

Откуда-то из глубины коридора выбитым возле кнопки звонка – клок клацающих кльков...

Шум спущенной воды. И, как на колёсах лафета, на яйцах выкатывается ГОРА.

НАД ЧЕРЕПОМ КОСТИ

под черепом кости

ГОРА И МЫШЬ

Мышь родила Гуру

ВЕЗУЧИЙ КУЗЬМИНСКИЙ

*александр галич
каторжный еврей
К.К.*

В своём исследовании “Везучий Галич” Станислав Рассадин вспоминает:

“Прихожу к Галичам – уже в пору гонений и безработицы; дверь открывает Нюша. Облобызались по московской привычке: “Заходи. Только прости, Саша сейчас появится. У него маникюрша.” И я, во всяком случае мысленно, со всем плебейством своим сползаю от смеха на пол.”

Похоже сползал и я. Правда, Кузьминский Александра Аркадьевича даже переплюнул: ведь не каждому дано иметь такую Педикюршу.



КУЗЬМИНСКИЙ И ЕГО ПОРТРЕТ

На Брайтоне одна покупательница всё возмущалась: какой же всё-таки Кузьминский безнравственный.

– А в чём, – спрашиваю, – дело?

И оказалось, стриптиз. Разделся, и какая-то проститутка сделала ему отсос. Прямо по телевизору.

Потом, правда, всё выяснилось: устроили выставку художников, и на этой выставке твой обнаженный портрет. И одна приятельница взяла и тебя в одно место поцеловала.

И видела вся Америка.

ПРИКИНУЛСЯ ШЛАНГОМ

Одна знакомая дама всё хвалилась: приходят они на пятидесятилетие Кузьминского, а у того на “келдыш” нацеплен пятиметровый шланг.

И над диваном плакат: ПОШЛИ ВЫ ВСЕ НА Х...

ЛИДУХА С ПИРОЖКОМ или ЕЩЁ ПОЭТИЧНЕЕ

И Глеб как-то всё тоже хвалился (рассказывал Алексеев и Лидка Гладкая потом подтвердила), что и у него было что-то похожее (на мой “подарок”, что я так “попросту” взял у тебя напрокат). Но только ещё поэтичнее. Я выдал твои стихи за свои, а один его собутыльник выдал себя за самого Глеба. Сначала Глеба напоил, а потом, когда Глеб уже вырубился, прямо на дому сфиздил у него целую пачку “Сижу на нарах” с иллюстрациями Некрасова. И в парке Победы всю эту пачку потом забодал. Со своими автографами.

А с Лидухой мы закорезились в Петропавловской крепости: засекала у меня на лотке Глеба и как сорвалась с цепи. Я думал сначала, сумасшедшая. Купил в Книжной лавке, а Лидуха решила, тоже сфиздил. И для профилактики устроила мне хай. Но я ей показал чек, на всякий случай сохранил: мало ли, вдруг бракованный экземпляр. И Лидка сразу же успокоилась. И, чтобы не варьякала, даже прочитал ей стишок. “Глебушка” ей посвятил. Как прощались на Московском вокзале.

“Кто бы видел, как мы с ней прощались:
на ее лице кипели слезы...”

А может и не ей. Но так во всяком случае считает сама Лидка. А на самом деле Глеб ей посвятил “Ты танцуешь – и юбка летает..” Потом, правда, вроде бы перепосвятил почему-то Евтушенко. Приревновал к тыловой крысе:

“Офицерик твой,мышь полевая:
спинку серую выгнул дугой...”

Но Лидка считает, что Глеб её просто с кем-то перепутал.

Уже было намылился ей спеть. Про “красносерую лампу”. Но атаковали покупатели.

С Лидухой мы теперь не разлей вода. И, если я не ошибаюсь, ты в своё время ей тоже посвятил стишок. Как говорили у нас на этаже: а что? Хорошая девушка. И чем-то напоминает мою Магаданскую Зою (какой-то упорной блядовитинкой). И Ленке она тоже понравилась (на Глебовом юбилее с рассыпанными по плечам волосьями; и ещё её показывали крупным планом по телевизору на вечере из Политехнического). И Ленка говорит, что Лидка, даже несмотря на возраст, всё до сих пор ещё похожа на “диву”.

А перед юбилеем Лидка мне позвонила и пожаловалась на Городницкого. Что евреи, чтобы насолить Глебу, устроили в этот же самый день и в те же самые часы Городницкому концерт и расклеили по всему городу афиши, и теперь часть поклонников Глеба переметнётся на территорию врага.

И когда я Лидке рассказал про тебя, какой ты “возлежишь” на диване, то она даже вся встрепенулась и как-то приосанилась, как будто засобиралась на блядоход, и, в подтверждение этому, Алексеев как-то мне рассказал, ему рассказывал сам Глеб: ещё на Сахалине Глеб её ночью ждёт, а Лидки всё нет и нет, куда-то ещё днем забурилась; и часа в четыре утра вдруг слышит за окном шебуршание: оказывается, Лидуха – карабкается по водосточной трубе.

Лидка говорит, что она тебя очень хорошо помнит и что тебя почему-то прозвали Пирожок. А про мою торговлю она потом всё Глебу рассказала, и Глеб меня даже похвалил. И на своего побратима-двойника он совсем и не в обиде. А меня, когда с кем-нибудь знакомит, то не забывает подчеркнуть, что я продавец его книг.

КУЗЬМИНСКИЙ И ЕГО КОМАНДА

А этого властелина дум я засветил ещё в начале девяностых. Когда столкнулся с ним наяву. Ну, а заочно уже имел о нём представление ещё в конце семидесятых. Когда его корефан, если мне не изменяет память, Синявин, кропанул ему из Америки письмо и Нестеровский (речь идет о нём) доставил его в качестве документа в редакцию газеты “Смена” или (точно уже не помню) “Ленинградского рабочего”. И даже организовали дополнительный тираж – ещё бы – такой вдруг свалился подарок, я думаю, не обошлось без Литейного: какие всё-таки американцы марамои, что даже на ничейном пляжу торгуют своим сраным песком и, если не заплатил за вход, то могут вполне и утопить. Ну, прямо вылитый Лимонов, когда попёрся в ООН с жалобой на академика Сахарова; ещё спасибо, не в ЦРУ, и вся жёлтая пресса саркастически скалила зубы: какие у нас диссиденты! А потом этого самого Синявина даже показывали в “последних известиях”. И в знак протеста я Нестеровского сразу же закрестил “стукачом” и принципиально для себя законопатил, полагая, что имею на это право: ну, разве может быть “стукач” по совместительству ещё и поэт, но как-то недавно его открыл и даже открыл рот, и этот вопрос для меня так и остался открытым ещё с начала шестидесятых; казалось бы, на что уж паскуда Панкратов, а до сих пор всё продолжает воровать.

“За окном идут бараны
медленно
блеющие.

Я лежу в своем бараке
медный
не бреющийся”

И его удивительным “Банщиком” я проверял на вшивость не одну, как сказал бы Кузьминский, высоколобую “кумпанию”. Но, как писал в те годы Глеб: “спокойны стройные кретины, упитаны их города.” И так и проверяю до сих пор.

А познакомил меня с Нестеровским фотограф Толя Шишков, ещё времен Володи Матиевского, с которым мы пересеклись в середине семидесятых в типографии на Херсонской; он был приёмщик, а я был по профессии вязчик;

моим орудием труда была в ту пору верёвка, и объединяла нас ползущая по транспортёру “Правда”. Поэт он был от Бога (и ты с этим, помнится мне, согласился) и помер, как и положено, ровно в тридцать три. Цироз. Мы с Ленкой Володю очень любили, и он отвечал нам той же монетой. В особенности Ленке. И некоторые Володины фразы до сих пор у нас в обиходе («каштаны были голоштанной», «оскудел удел дорог»). А когда Нестеровский припухал, то Володя подарил ему пальто, и я ещё всё удивлялся: ну, что может быть у него с этим гондоном общего!

Подводит ко мне на Петропавловку (это я про Толю Шишкова) и говорит. Это, кивает, приятель Володи Матиевского и ему надо помочь. И Нестеровский пообещал мне несколько тонн бумаги. Для моей первой книжки. Бумага тогда была дефицит. Стукач-стукачом, но от помощи всё-таки не отказался (это я про себя). Звоню, а он еле ворочает языком.

– Да ты, – шипит, – сообщай, – сообщай, с кем ты разговариваешь?! Я, – сообщает, – поэт! А ты кто такой?..

Я прямо обалдел: ведь мы же с ним договорились. Но мне потом объяснили: такое с ним иногда бывает. Просто был не в настроении. Или недопил.

Но все почему-то Нестеровским довольны. В том числе и Глеб. Конечно, – морщится, – жид. Но тут уж ничего не попишешь. И отгадка очень простая – у Нестеровского есть такие строчки:

“Здесь Петербург, и здесь Горбовский -
наследник праведных могил.”

Да за такие строчки полюбишь и жида.

И вот недавно вижу его у нас на Кузнечном в музее Достоевского. Вечер вела Тамара Буковская, и Нестеровский громче всех кричал и всех перебивал. И там же выступал с косичкой на затылке твой любимый Эрлюшка. И чуть ли не шёпотом так томно и в то же время деловито вещает. И совсем не стихи. А какие-то свои удивительные исследования. С рисунками и диаграммами. И я всё ждал, когда же, наконец, вспомнят Кузьминского. И единственный, кто вспомнил Кузьминского, оказался Нестеровский. Всё рвался к микрофону со своими самодельными книжицами. Приташил их штук десять или пятнадцать. И в каждой – штук по пять или по восемь стихотворений. Отпечатаны на машинке. А на обложках при помощи разноцветных карандашей изображены незабудки или анютины глазки. Теперь библиографическая редкость.

И все закричали: давай “оду сортиру”! И он стал рассказывать, как его никто сначала не признавал. Но потом Кузьминский дал команду, что Нестеровский талантливый. А команда Кузьминского была по тем временам всё равно что директива ЦК.

УЛИЦА БРОДСКОГО

“Когда я появился в Ленинграде, меня озадачило название одной улицы. Неужели в честь Иосифа? Но оказалось, что в честь Исаака. Того самого, который когда-то Иосифа рисовал. Но только совсем не того.”

Так у меня начинается рассказ “Небесный гость”.

Но вот ошибка исправлена: Ленинград переименован в Санкт-Петербург. А улица Бродского – в Михайловскую.

МИХАЙЛОВ НА ПУШКИНСКОЙ

Кинул Ленке идею: нарисовать мой портрет и назвать его МИХАЙЛОВ НА ПУШКИНСКОЙ.

ТРИ ЗАМЕЧАНИЯ ПРОЗАИКУ ШИРАЛИ

1. В рассказе “Поэты”, расшифровывая свой “выводок” шестидесятих, Витя отметил поименно всех. Начиная с Глеба и кончая Леной Шварц. И позабыл только тебя и Нестеровского.

Того, по крайней мере, изувековечил стихом. “На смерть Нестеровского”. Но и на том спасибо.

2. А вспомнил про тебя только в рассказе “Старуха”. Да и то, так это, вскользь. И почему-то без мягкого знака. Что ты называл Гнедич не старухой, а теткой. Негусто.

3. Ну, вот ещё и в рассказе “Вдова”. Но и здесь у меня тоже замечание. Ну, как можно согласиться с Мышью, “возлежащей” вместе с тобой на тахте. Такая Мышь не бывает.

Во всяком случае, в Нью-Йорке не наблюдалось.

ЦИТИРУЕМ ШИРУШКУ

Однажды Витю пригласили в городской Дом пионеров и, прежде чем выпустить на сцену, стали его уговаривать.

– Вы уж, – просят, – Виктор Гейдарович, прочитайте нам что-нибудь попримечнее. Всё-таки дети.

И Витя сначала возмутился, за кого они его принимают. Но потом как-то вошёл в положение и решил их пожалеть. Смотрит в окошко, а на крышах уже белые попоны.

Витя тогда и начинает:

Ни х... себе зима,
сколько снегу навалило!

И теперь мы с Ленкой, когда идёт снежок, то сразу же эти Ширушкины строчки цитируем.

ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ

(значок, подаренный мной К.Кузьминскому 16 апреля 94-го года)

В стихотворении “У шлагбаума” “глаза, как два лохматых рта” явно твои. Но, как ты объяснил, оказывается, перепосвящение.

Тот, у кого “два лохматых рта”, двинул из России, если не ошибаюсь, в 75-м. А того, кому перепосвящение, выдвинули в 74-м.

Хотел у Глеба уточнить, но потом передумал: ведь ты же не будешь врать.

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

От Летучего голландца Летучей осталась Мышь.

БИТОВ И ЮЗ

(с комментариями Глеба Горбовского)

Недавно по каналу “Культура” показывали Битова. Какой-то кривоносый и во взгляде, как заметил ещё Фёдор Михайлович, “вселенская тоска”. И то же самое на фотографии в “Новой газете”, Битов там ведёт рубрику “За одного Битова”.

(Как проворчал бы Глеб, связался с жидовней. Наверно, откладывает отпечаток и на внешность. Ведь недаром же мой герой Мишка Жидомасон мне всё ещё доказывал. Как русских революционеров обкручивали все эти Розы Люксембург. Что не успеешь ещё кинуть палку, глядишь – и уже обрезанный.

Глеб вообще-то особенно не церемонится. Я сам, правда, не видел, но рассказывала Ленкина сестра. В годовщину смерти Бродского была передача, и пригласили Глеба. Вот, просят, расскажите нам, Глеб Яковлевич, о вашей последней встрече. И Глеб немного подумал и уже начинает. “Сидят, значит, эти две еврейские пташки...” А две еврейские пташки – это, значит, Кушнер и Бродский. Так что с Глебом не забалуешь.)

Сначала крупным планом Битов, а потом, значит, Юз.

Юз, какой-то щуплый и в клетчатой рубашке, и говорит: я никакой не диссидент и никогда диссидентом не был. Но вот сейчас на старости лет ему хочется подраться.

Битов тогда и говорит: а вообще-то Пен-клуб первоначально планировался как организация в помощь спивающимся писателям.

Юз тогда обрадовался и говорит: вот это как раз для меня. И предложил за это тост.

И тогда ему Битов налил виртуальных полстакана водки.

БЕЗ СТРАХА И УПРЁКА

Чтобы подняться на вершину, было необходимо сделать обрезание. Или сменить половую ориентацию. И, не способный на такие превращения, Веничка замечает:

“Я остаюсь внизу, и снизу плюю на всю вашу общественную лестницу. Да. На каждую ступеньку лестницы – по плевку. Чтобы по ней подыматься, надо быть жидовской мордой без страха и упрека, пидором, выкованным из чистой стали с головы до пят. А я – не такой.” (“Москва – Петушки”)

Но, вместо половой ориентации, меняет направление удара и берёт бедный гонимый народ под своё крыло.

“Бей Россию, – призывает он, осознав свою ошибку, – спасай жидов!” (“Бесполезное ископаемое”)

ЖИДЫ ПРИЛЕТЕЛИ

Картину с таким названием я бы повесил в зале ожидания аэропорта имени Кеннеди в Нью-Йорке.

ПОСЛЕДНИЙ КОМЕНДАНТ

Подходит породистая Саломея и листает “Сижу на нарах”. Похоже, что наша ровесница.

– Это, – заманиваю, – у Глеба самое-самое. Всё, что написано в стол. Ещё в шестидесятых. И даже в пятидесятых.

– В шестидесятых, – улыбается, – я его близко знала.

А зовут её Лора, и она из другого государства.

– Вы, – говорю, – случайно не из Нью-Йорка?.. – и задаю свой дежурный вопрос.

Нет, с Кузьминским она не знакома. Она про него только слышала. А Глеба она знала где-то году в 62-м. Он тогда жил с её лучшей подругой. Тамарой. Такая была девушка с весом. Наверно, метра два. Но жили, правда, всего несколько недель.

– А сейчас, – интересуюсь, – эта Тамара здесь?

– А где же, – улыбается, – ещё! Она, – говорит, – уже давно на пенсии.

А сама Лора лет примерно двадцать как в Израиле. Она ещё ко мне подойдет. И, чтобы не забыла подойти, пришлось ей “Сижу на нарах” подарить.

Я надеялся, что опять заговорит о Глебе. Или хотя бы о Тамаре. А она всё о своём знаменитом дедушке. И почему-то Верёвкин. Последний комендант Петропавловской крепости.

Сходила на его могилку, прямо возле Собора.

– Приехала, – говорит, – навестить.

*Т. Михайлову:
Алику Гиневскому показать...*

11?, вроде, ноября – 1997, точно

толик, с тобой хорошо, но хлопотно. ты наезжаешь, а я при этом, все ещё в переезде... бардак – не приведи Господи...

сегодня, уменьшая гравюры цюпы – на двух “которые вернуть” – кончилась краска. Ни денег на неё, ни способов доставки: контора где-то в бруклине, а копировальная машина зарегистрирована в нью-джерси (вдобавок, на фирму миши левина, который в каких-то обидях, не изволит звонить и появляться с переезда...)

23 штуки уменьшил, получается клёво, но отсканировать и замaketить – сканнер ещё с переезда не подключен, а принтер на ладан дышит... второй и третий принтеры, купленные – не подходят к программе...

с тюльпановым ещё большая морока: цвет! здесь негде, возвращаю, да и не нужно, я думаю, к скромным стихам лукьянова – парадные портреты... толи цюпы за глаза хватит.

ситуация у меня ах и швах: поругался с нортоном из-за художников полтора месяца назад, с тех пор не звонит и, главное, “снял с довольствия”, горю, как швед под полтавой...

нарисовался, правда, майкл меццатеста, директор богатейшего музея при дюк юниверсити в северной каролине. с ним мы обговариваем выставку в.я. ситникова, но попробую и цюпу засунуть – в обмен на скромный каталог (и – книжечку лукьянова?...) но деньги у него казенные, и он не торопится. молодой, опять же.

это я тороплюсь, потому что – старый. За 3 месяца тут намахал под 100 стр. текстов (стихов и статей, не считая писем), составил 2 книги относительно старых (1989/90 и около) стихов своих (по 150 стр. каждая), а главные 2 поэмы и роман – все ещё в черновиках...

перспектив же на издание пока никаких. Особенно – главных вещей. Ведь “башина” – это залежалый товар четвертьвековой давности, а “пиранья” – просто дневничок пары месяцев начала этого года...

сизжу при 8000 долга, поступлений вроде не приходится никаких, на выживаловку пока хватает, и ладно, а на технику и дела печатные – минус ноль...

компьютеры барахлят по-чёрному, сил уже больше нет.

... а сегодня выпал первый снежок, и должны привезти дровишки: дуб шестилетней выдержки и сырую лиственницу (пополам на пополам), за 125 наличными. один грузовичок. должно хватить на пару-тройку месяцев.

ремонт идет спазматически: то нет рабочих рук, то денег (и, соответственно, материалов), но, вроде, утепляемся помаленьку...

народ валит, как в коктебель: минимум дюжина в неделю, да кантуется бездомный шнуров (у него в доме в трёх милях – ни воды, ни тока, ни отопления), помогает мне. прилетала (уже брюхатая) пропавшая, с сынишкой – приехали в 11 вечера, учесали в 7 вечера же на другой день (прихватив шнурова), но привезла мал-мал денюжки на текущие...

а за 5 часов до её приезда – явилась на 2 часа поэтка ева бруднэ-уцили (поцли) из милана, москвичка, еще по тэхасу подруга, замужем за утконосом питером, нефтяником из австралии... привезла свои италийские стихи – ничего, грамотно. приехали в нью-йорк на 2 дня – и не поленились смотаться в лордвиль.

скучно мне здесь вряд ли будет, но хлопотно по-прежнему.

почему и упреждаю с лукановым/цюпой – у нас пока маловато возможностей, а у них – “уже не горит”...

спотыкаюсь обо всё: от копировки до проблемы набора (может, сам за зиму наберу?) и заедает идея альбома цюпы ... параллельно. хотелось бы...

луканова разумней делать в формат 5,5” на 7,5” (дюймов, разумеется) – возьми этот лист, сложи вдвое и обрежь 2,5 см по высоте (о, это же размер “пираньи”!) – потому размер “башины” не даст дышать микро-гравюрам тол. им нужны поля.

развороты сделать (в той же печатне, где я тискал) категорически нельзя: сдвигают, гады, умудряются даже текст с готового (и идеального) макета сдвинуть...

остаётся – подлаживаться под их несовершенство. или – платить трое... чего нельзя.

... найти в этом доме что-либо невозможно: обшарил всё в поисках подноса для второго ксеркса – как корова языком...

а инструменты, при сменных работничках – так и вовсе исчезают с концами и навсегда (два обнаружил сгоревшими в костре!). так и живём.

но ничего: домик милый, а одна комнатка так и вовсе даже тёплая – правда, топим 24 часа в день. ручей журчит, вода поднимается на метр-полтора, но пока не заливает. надо бы ещё канаву вокруг дома – но просят 45 в час за копальную машину. чех привез мне шмат домашнего бекона от амиши (анабаптистов),

секта старомодно-староверческая. вкусно! обещают (сбитую машинами) оленину. но разделявать – сам знаешь, таёжник...

охотиться могу только на индюков: на олешек рука не поднимается – такой красотищи зверики! стоят прямо у дороги, не боятся, дурачки...

а рыбку тут тщетно пытался ловить работничек витя, 2 блесны потерял и грузило – и хоть бы уклею! поэтому покупаем копченых угрей у бывшего хиппи (сахару только много кладет).

мышь заквасила кастрюлю капусты, без конца варит варенье яблочное (с клюквой и микро-вишней), кастрюля стоит в гараже.

жить здесь хорошо, тихо, сказочная луна по ночам, зверики всякие бегают. по зиме и волки с койотами забредают. медведя в деревне видели, этой весной. под полом кто-то живет (бурундуки или белки? а может и скунсы с опоссумами!), моника всё вынюхивает и прислушивается.

у мыши поясница, у меня – правый локоть болит, не работнички уже. завищу только от приезжающих. некрасов с месяц обещал залатать крышу – и исчез. но, вроде, перестала течь сама. трубу ещё надо нарастить. жду шурува. он при руках. много может.

а сегодня-таки 12-ое, среда, через полчаса дрова привезут.

... стоит пулемётник “максим”, над ним висит седло ковбойское – но до ослика или лошадки надо ещё дожить...

не вылезая из компьютера, черновики – не одна тысяча страниц, сортировать их хлопотно и неудобно, а программу сменить – новые турботы...

на камине перманентно стоит чайк, все ж таки удобство, на нём же и готовили пару-тройку дней, когда газ в баллоне кончился. и гораздо вкусней. печку б русскую выложить... да где ж тут спеца найдешь, не говоря – кирпич по полтиннику штука! это ж сколько кирпича надо...

не говорю – баньку...

дом со всех сторон только обили, и кое-где горбылем, горбыля полно, но нужны 4 руки – за день бы сделали.

у меня тут по 5 долл. в час работал бывший банкир и бывший же офицер КГБ по идеологии (выросший на грине и прочей романтике), прекрасный парень, надо вот помочь его другу, прозаику – а копировалка?...

сегодня придётся звонить в нью-йорк леваку – может, краску пришлёт...

вот, толик, некоторый отчёт тебе – об жизни (и проблемах ея). как там елена прекрасная, когда вас обратно ждать?...

да, подсуетись там о книжницах:

вышла – давно, вроде – антология майи борисовой, где все полуофициальные шестидесятники – очень нужна! хоть на майю надеть: она ко мне, вроде, со всей симпатией. и глеб должен знать.

журнальчиков бы какой разноразной ещё – “аврору” там, и прочие питерские...

нашёл, у топорова:

“То время – эти голоса”, сост. Майя Борисова, до 1992

и свяжись, обязательно, с моим старейшим другом аликом гиневским (идеалист, вроде тебя):

Россия

195252 С.-Петербургъ

Северный пр., д.89 корп.2 кв. 114

Гиневскому А.М.

я ему частенько пишу, и здесь, по приезде огромную писулю не окончил... передашь.

заодно и – фильмик сестрице жеке занести и копию письма племяшке славке, ладно? у тебя руки надёжные.

... обнаружился 1(один) носок кристины-сирены: “это рибок, 35 долларов!”, размахивая таковым, и забыла... мышь обнаружила.

мужички (с жуткими зубами, здесь это проблема – финансовая) разгрузили грузовичок поленьев: с полкуба сырой яблони и с кубик роскошного дуба, колотые. Выдал им 125 плюс 6 долл. (на пару пива), довольны, теперь надо это хозяйство складывать. беспокоились, заплачу ли. 90 % местного населения(в хэнкоке) – на гос. обеспечении: работы нет никакой. поэтому нет и кредита. газ поставить – тоже сразу дерут: а вдруг не заплатишь? а надо новую линию (витя где-то старую повредил, оббивая). это 75, да за баллон под стольничек... покамест будем жить на плитке.

но, полагаю, не змерзнем, дровишки есть, 3 печурки тоже (одна наверху), но дует почему-то в нижней зале – как из морга... и пол утеплили снизу, дыма ромендик и витья ползали по-шахтёрски, и стены я зашил утеплителем – а дует... откуда?

... и ничего в доме не найти. полки не построить, потому что не сделаны стены, а где сделаны – то не покрашены...

флегон, шиповников, алан марлис

– эта троица волнует меня больше, чем стены...

то, что я пишу (и как) – сравнимо только с этой графоманствующей шизой: “вокруг солженицына”, “стихада о фиолетовой мечте” и “одиссеус, зе рашен йу” (книга из библиотеки лауреата, выброшенная при переезде). но

не с графоманью (конформистской) рейна (кстати, “мне скучно без довлатова” – мне тоже нужна!), не с потоком мутным метафизическим и.а., иначе, не с приговизиной-кибировизиной (сороко-пелевинщиной), но с упомянутыми тремя...

КОТОРЫХ НИКТО КРОМЕ МЕНЯ НЕ ЧИТАЛ...

и вряд ли прочтёт.

но только у них – я нахожу родственную мне заикленность, где повод не существенен, а сплошные темы и вариации (сходные с джазовыми импровизациями) “вокруг да около”. Это вот ещё одна моя литературная триада, помимо придумавшейся мне тут в начале лордвилльском:

*свифт, стерн, де сад
пушкин, гоголь, лесков
белый, веселый, пыльный
веничка, саша соколов, милославский
гашек, джойс, генри миллер*

– это мои авторитеты, против твоих “бродского-шаламова-довлатова” (с присовокуплением а.и. солженицына), для меня твоя троица проста, как азбука и таблица умножения, мне – интегралы подавай!

... почему я не люблю всяческую попсу... написал тут эссеичик “русская литература от А до Б” на поминаемую тему.

что и как я пишу – я сам стараюсь тщетно разобраться, но как я НЕ хочу писать – уж это-то я знаю точно.

не хочу писать как 99% печатающихся ныне.

поэтому мне милы и брэнер и могутин, поскольку входят в остающийся 1% и саша корбуков. и поздний (и уже покойный) хорват. ... и ...

как гениально сказал о всех почти пишущих халиф: что “пишут не стилем, а почерком аж одинаковым!”, почему а.ахматову и можно перепутать с в.журавлевым (было такое! – см. ант., том 1), а нину хабиас – ни с кем...

но для масс, для большинства – именно это и надо. доступность. поэтому не анри – а бродский стал поэтом либерально-еврейского совкового итээра.

анри, который и еврей, и каббалист. и друг-соавтор его – алеша хвостенко... (самый серьезный хвост – никогда не клался на музыку, а клавишися – работает на оглуплении и омужичивании совковой и тутошной публики, выросшей на кукине-клячкине)

зачем я тебе это пишу – сам не знаю. никого из перечисленных авторов (1-го %) ты и не читал, а достоинства твоей “троицы” настолько банальны и очевидны, что и к искусству никакого отношения не имеют, так общепринятое.

... и сколько тут у меня перебывало поклонников долатова (ничего другого в жизни своей не читавших!), поклонников бродского и прочей общепринятости...

говорить с ними о хабиас или хорвате, алане марли или шиповникове – бессмысленно, как бессмысленно, впрочем, (было дело, по юности), говорить о есенине и беранже (по флорберу) в российской пивной...

и хуй ли крутить фигуры высшего пилотажа в стратосфере аж – когда люди привыкли уютно летать на “кукурузнике”...

поэтому, толик, я и молчу и не печатаю, практически, ничего (во всяком случае, никуда не посылаю). всё равно, по напечатанию даже – следует гробовое молчание, будто и не было ничего. мои “пулемётные лепты / сефардская невеста” тиснуты якимчуком с года три уже – и, вычетом письма миши нилина (из ахметьевской московской тусовки) – ни звука. (кстати, не можешь ли выяснить в питере у кого – сколько экз. тиснул якимчук и куда это делось?) тиснутая горноном кошерная перепечатка из “тямпы” – тоже подверглась молчанию. Сейчас вот чук и гек комаров предлагает тиснуть чего – посмотрим, попробуем.

пишу я чем дальше, тем больше “не так” (как положено), хотелось бы подняться до джойса (напополам с гашеком) – но куда мне, боюсь...

а то, что может печататься в журналах “аврора”, “звезда” – пусть и печатается, от толи аквилева до коли якимчука... мне это всё как-то ни к чему.

цюпа мне мил, к лужьянову я позитивен, но всё это такой ликбез, по большому счёту... однако, имеют полное право на существование. к коем я готов поспособствовать.

... вот опять пошел снежок, крупными хлопьями (поутру был крупной), завалит дрова – потом мокрые таскай...

полвторого дня, мышь встала и собирается гулять с моникой, по свежесму снежку, а мне ещё с ксероксом копошиться... и надо бы заделать дыры в гараже, да привести в порядок хоть одну комнату... чего никак невозможно: нет краски, нет шпаклевки, нет реек, нет...

и денег тоже нет. не говоря за рабочие руки.

есть какая-то денюжка в банке, но её не окешить в этой глухомани... а карточку мышь потеряла, заказываю новую, что хлопотно и долго.

... в комнате теплень, камин, подаренный некрасовым (западно-германский, тонкого литья), потрескивает огоньком, лежу аж полуголый, а снег уже кончился – 5 минут шёл, но в пятницу, говорят, завалит. в пятницу

или вторник мышшь должна на брайтон, хотя жратвы полон дом. но курево кончается. и деньжат перехватить. которые тут как в прорву.

купить: войлоку для щелей дверных – 20, реек тонких – 20, шпаклевки – 20, на краску уже никак... надо сохранить на сигареты – мало ли чего... из привезённых натальей – половина уже ушла...

... давно я так не лимитничал: последние 190, которые не знаешь, куда и как... на поездку в нью-йорк нужно, минимум, отложить полтинник, да дурища-пэtti в прошлую поездку тикет схлопотала, на сороковник, и ждёт, что я заплачу... хуюшки. на машине она ездит круглые сумки (бензин и масло её), но боюсь, заездит – и тогда нам хана.

... вот, от джойса-хорвата до 190 налички, от гравюр цюпы до краски для ксерокса... а тихо-то как тут... ни машин, ничегошеньки.

только камин потрескивает. дубка, нешто, подкинуть?

... щенка приносил дэйвид – чёрненький, сладкий, с белым подбородком и носочками, но...

у него теперь три, а у нас одна моника...

... ну, вот, звонил юлик-вася агафонов, машина сломалась, шнурова и пархоменко привезти пока не может. один мне нужен как слесарь-плотник, другой как электрик. машины, чего-то, у всех ломаются. а автобус, как ты знаешь, кусается.

2 часа. солнышко. красиво. пойду на ручей.

... всё облетело, голо, мышшь набрала роскошных яблок в саду, вроде, уже с морозцем, но сочные. ручей журчит, весь в листьях, прохладно.

и не забыть бы напомнить тебе закинуть обещанные(?) ватные штаны моей кузинке, от неё кто-нибудь подберёт, из ближайших гонцов...

... ещё бы запасную пару валенок (белых лучше б) с калошами сгношить, но это уже как получится... о меховых лётчицких унтах остаётся только мечтать...

жду звонка ранушки кубаевой, “звезды востока”, чтоб заменить обещанный парчовый бухарский халат на просто ватный...

да просто войлока бы раздобыть тут (не водящегося), сам бы и пошил китайси-ки-е тапочки (годы назад тцетно искомые в чайна-тауне)...

... холодом тянет из всех боковых комнат по-чёрному, а на дворе ещё выше нуля... и воду не выключаем, течёт тоненькой – чтоб не лопнула, перемёрзнув, новая помпа (400 долл.)

надо срочно убирать дрова под навес, завтра обещают пургу крутую, да пора попилить горбыль на растопку, а цепной пилой я не привычен, попробую. в доме ещё утеплять и утеплять...

а я, заместо, всё пишу статьи об ахматовой и бродском, двух зловещих фигурах эрзац-поэзии второй половины века...

звонила юлька беломлинская, опекающая хвоста – другу тоже стукнет 57 чуть ли не завтра, а он, зараза, хлещет по 6 литров пива в день – при наличии отсутствия печени... смерть бродского оставила меня почти что равнодушным, а вздрагиваю я за хвостика и анри (которому все 60)...

анри, который нигде, практически, не печатается, а паче – ни о каких “конференциях”, даже посмертных, и речи не может быть...

довлатова пользуют по-чёрному “эни-уэйцики” и их студенческая еврейская газета “печатный орган”, с согласия и благословения ленки (которая набирает сейчас... супер-говнистый “королевский журнал” – уже, впрочем, без шемякина, но при соловьёве-клепиковой и прочей нечисти...)

мир тесен и – во многом – отвратителен. почему я и сбежал от него в деревню. здесь хоть не так пахнет. правда, запахи долетают и сюда...

за 10 последних лет – вспоминается – читал я (относительно серьёзно) не более пяти раз. и то не на ту публику. а “той” публики – и в заводе у нас не водилось: ей бы чего-нибудь кошерного, привычного, приличного...

а впрочем, ну ее на хуй, жили как-то без неё все эти годы (включая юношеские в россии), и далее без неё не помрём. тем более, что за чтения и публикации – всё одно ни копейки не платят. напротив, за публикации приходится платить.

... письмо это, толк, я пишу не только тебе (точнее: только не тебе!), покажешь – кому там интересно моё бытие... трезвому глебушке, например... или володе алексееву. как бы узнать, что случилось с рукописями валеры холоденко, вообще, всей этой питерской братии...

единственная антология (куда они не вошли), “лепрозорий-23” (1975), так и не вышла, а там, среди 23-х прозаиков – были представлены и все нынешние лауреаты премии белого и даля: и федя чирстков, и б. кудряков, и эллик богданов, и гальперин, и коля коняев и даже б. останин – пустыми страницами...

издание запорото арizonским издателем ещё в 80-м, пропала и роскошная обложка работы мыши – не восстановить... а она покруче процеженного цензурой “круга” была... лежит, в машинописи...

вторая, “лепрозорий зарубежья” – так и вообще в списке лишь. тексты есть, тоже 23 автора, но я уже о ней и забыл.

лежит журнал “крыса” (в макете), журнал “архив” (в проекте) – всё это заготовки в районе 80-х.

лежит (и уже %% на 10 погиб и пропал) альбом фот порушенных церквей севера, и даже с текстом по-аглички (писал с журналистом)...

кладбище надежд. свободе, что на острове – надо бы дать в руки лозунг: “оставь надежду всяк сюда входящий!”, что было бы симптоматично.

... пойду лучше складывать дрова.

полчаса поворочал доски, подергал гвозди – дышалка отказала, рука заболела...

и не знаю, куда разбитую машину шнуровскую девать... барахолщик, всё, вплоть до колес, снять пытается – неделю уже потратил. и вторую ему машину, брошенную друзьями (с полетевшей трансмиссией, но корпус целый) подарил – мало ему. а эта его – стоит на дороге, между двух гор горбыля – и мусорщика не вызвать: что-то ещё ему там надобно... российская система, по барахлу.

беломлинские, вроде, завтра собирались в деревню – в пургу? – не повесить ли шнурова на них?

а мыши самой завтра ехать (если не пурга), на пару-тройку дней. она и откопирует цопу-тюльпанова.

17 ноября, вечер

... завтра мышь будет в новом йорике, и закинет.

19 ноября, утро

Твоё письмо, датированное 17-тым ноября, мне передал Коля Меклер (готовясь к отъезду в Питер, мы с Ленкой рванули на барахолку), а Вася Агафонов меня всё-таки отловил и, пригласив на встречу с Колей Якимчуком, прилетевшим из Питера в Нью-Йорк на презентацию “Петрополя”, вместе со своей “Книгой свиньи” вручил и твой довесок, и этот “результат работы”, точно выплеснутый на ход ноги «напёрсток», не только меня озадачил, но даже и опечалил.

И “результат работы” сопровождается разбором «учинённых» мной первоначальным текстам «правок», а завершается пассажем, который мне так до сих пор и не постижим.

Ну, не согласен с моими «правками», разве это что-нибудь меняет?

... всё. на 112-й странице наглухо перестал понимать, кто и зачем лужьянова правил?

ну, было не гладко, но – правильно (оправдано), стало – и не гладко, и не правильно.

12 вышеупомянутых “правок” – не приемлю категорически.

по первоначальному я как-то на них не обратил внимания, пытаюсь врубиться в “общий текст”, понять, что хотел сказать поэт, а вот по прочтении...

надо всё выправить в зад.

после 112-й я уже и смотреть не стал, полагаю, то же.

... вот, толик, какие дела... уже не мои...

решиай сам, как разредактировать лужьянова в первобытное состояние.

к порядку стихов у меня претензий нет, но и моё имя там ни к чему...

это поэт, но сузубо “не мой” поэт.

так что могу помочь чисто технически: нанять наборщика, оплатить корректора – если даст Бог, удастся пристроить цюпу...

найти печатника и проследить.

рукопись – не знаю, посылаю с мышью на твоё усмотрение...

19 ноября, вечер

Ответить уже не успеваю и, если получится, попробую дозвониться тебе в Хэнхок.

... позвонивший толик михайлов сказал, что лужьянова он сделает САМ. “правки” (из черновых ли вариантов покойного автора, или самочинно внесённые другом-публикатором?) он категорически оставляет: ведь он же столько работал над текстами усопшего!

лужьянова не разбудить. вдовы и поклонники будут продолжать курочить его поэтическое наследство.

... но я в этом уже не участвую.

finita la comedia

/20 ноября 1997/

В самолёте всё перечитывал и перечитывал твой «результат»; а в Праге (там была пересадка) за столиком пищоточки ужрался. И Ленка меня гладила по голове и всё приговаривала «Ну, успокойся... успокойся...»

Точь-в-точь, как и у нас на Пушкинской, когда, изображая тебя с рюшечками и с воланчиками, я так старательно квакал. И ещё когда Глеб в моей «Русской крепости», обозвав меня «вонючей жидовнёй», в результате признался, что он «на нас насрал».

Объявляю тебе ультиматум, а «монологи», покамест не напечатаю Валю, буду теперь складывать себе в стол.

КНИГА СВИНЬИ

Настоящий писатель так и норовит подложить своему собрату свинью. А вот Василий Агафонов осмелился эту традицию нарушить: его КНИГА СВИНЬИ меня просто заворожала.

МОЖЕТ ЛИ ТАКОЕ СОСЕДСТВОВАТЬ?

Порадовала и Марина Тёмкина. Тебе о чем-нибудь это имя говорит?

Я где-то читал (или слышал), что эта Тёмкина была очень дружна с Иосифом Бродским, и, вот, мол, её обошли вниманием, и теперь её об Иосифе не мешало бы потрясти.

На презентации альманаха “Петрополь”, на которую меня пригласил Агафонов, я ей надписал свою книжку. А мне свою она так и не надписала, и даже не помог и Кузьминский; при таких обстоятельствах ты для меня служишь приманкой. Деликатесом, вроде жареной лягушки. И вот когда зашёл о тебе разговор, то она мне вдруг сообщила, что “Котьку Кузьминского она просто обожает!”

Тогда это меня развеселило. А сейчас после информации о дружбе с Иосифом озадачило.

Может ли такое соседствовать: была дружна с Бродским и обожает Кузьминского?

ВЫСОЦКИЙ И БРОДСКИЙ

На Брайтоне удивила одна баба. Уставилась в моего “Небесного гостя” и читает:

“Бродский признался:

– Мне нравится Высоцкий. Больше никто.

Интересно: ВЫСОЦКИЙ И БРОДСКИЙ. Земля и небо”

Ну, всё. И уже намыливаюсь для автографа за фломастером. И тут она мне вдруг и выдаёт.

– Чай, – говорит, – Высоцкого. Сахар – Бродского.

Так назывались в Одессе фирмы двоюродного брата её прабабушки.

КУЗЬМИНСКИЙ И ГОРБОВСКИЙ

Ах, репейник меж рельсами,

ах, бурьян между ног...

Г.Г.

И мех её был мокр и влажен,

и меж его росли опята

К.К.

Если у Глеба между ног любимой произрастает бурьян, то у Кости – вообще тёмный лес, где среди поганок иногда попадаются опята.

АГАФОНОВ И АЛЕКСЕЕВ

А всё-таки Агафонов оказался пророком: “Алексеев работал вахтёром. Работа хорошая, работа тёплая: сидишь на стуле выпимши.”

АЛЕКСЕЕВ И ГОРБОВСКИЙ

– А чем ты можешь объяснить, – подначивает Глеба Алексеев, – что тебя принимают за своего одни евреи?

– А вот х... на ны! – огрызается Глеб и, приставив к животу локоть, начинает водить кулаком сверху вниз и обратно.

К.К. и Г.Г.

а мне хоцца срать
К.К.

ходил по-большому в цветы
Г.Г.

Твоё игривое “х...юшки” (цитата из твоего “письма”) в сравнении с Глебушкиным “х... на ны” выглядит сладкопёрым взбздёхом на фоне наваленной кучи говна.

ПОДСОЛНУХ

Алексеев как-то по пьянке пожаловался, что когда он опускается на траву, то его “часовой” сразу же поворачивается на солнце.

ЭТО Я – КУЗЬМИНСКИЙ

Сначала всё шутил, что даришь эту книгу (“Это я – Елена”) всем своим блядам. И в результате подарил моей жене.

ДВА САПОГА

1

Когда на экране телевизора (“Это я – Эдичка”) появляется новоиспечённый Нобель, то будущий лефортовец сжимает кулаки и, заготовливаясь на “сеанс”, расстёгивает ширинку.

2

– А как ты думаешь, – поинтересовался я у Кости, – почему Солженицын так не любит блатных?

– Да потому, – смеётся, – что они его поставили раком.

Сначала я решил, что это он в переносном смысле.

Но оказалось, в прямом.

САША СУКОНИК

Подходит Саша Суконик и вдруг сообщает, что вызвал Лимонова на дуэль. За то что, сука, обосрался в Белом доме.

Ну, вот. Опять попёрся жаловаться в ООН.

Но оказалось, не в Америке, а в России.

ЛИМОНОВ

Конечно, спору нет, настоящий писатель должен быть глупым. Но не до такой же степени.

СНИМАЮ ШЛЯПУ

Мой сосед Эдик, – неожиданно удивляется в своём «Беспольном ископаемом» Веничка, – тоже сочиняет:

«Наша русская мгла
смогла
то, что западный смог
не смог».

Если эти строчки принадлежат Лимонову – снимаю шляпу.

ВМЕСТО ПОЛИ И ТАНИ

(средство от насекомых)

А я бы на месте правосудия постановил бы Лимонова наградить. Чтобы своей задницей почувствовал, что такое “провокация”.

“... и, приспустив кальсоны, подставлял бы волосатую ягодицу медсестре. А та, с нацеленным из ампулы шприцем, уже давно приготовилась. И, привычно всадив иглу, всё нажимает, и нажимает, и нажимает... И вот уже протягивает вату”

(А.Михайлов “Несолоно хлебавши”)

РЕМАРК

Зафиксировав перенесённую в моей молодости гонорею, уролог неожиданно меня похвалил, заметив, что “триппер – это украшение настоящего мужчины”.

Оказывается, Ремарк.

РАСПЛАТА

Её я не запомнил совсем, а от него, за вычетом портрета на обложке, запомнились разве что тапочки. И не ручаюсь за больничный халат. Я к лицам вообще-то не приглядываюсь. В особенности, когда поглощён торговлей.

Покупает – значит человек. Не покупает – сволочь. Такое признание выудила из меня в 93-м году Рая Вайль.

(Я всё ещё тебя, помнишь, пытал, знаешь ли такую или не знаешь, и ты сначала почесал в задумчивости гриву, а потом со словами “нет, не е...ал” с сожалением покачал головой.)

Брала у меня интервью на радиостанции “Свобода”. Уже второе по счёту. А первое, ещё в 92-м, взяла прямо на бодварке Надя Попова. И я ей рассказывал про Димонову ночлежку и что теперь у меня кликуха Солженицын. А потом её почему-то зарезали. Прямо на дому. И в моей записной книжке её рукой записан её домашний телефон. А теперь, улыбается (уже без микрофона), расскажите о вашей торговле. А сама микрофон так и не выключила.

Полистали мою книжку (это уже сейчас, на Петропавловке) и поинтересовались.

– Вы, что, – спрашивают, – встречались с Иосифом Бродским?

– Да было, – говорю, – дело. Угощал, – улыбаюсь, – лимонадом.

У меня на любой случай уже заготовлен ответ. В моей биографии. А иногда даже и не отвечаю. Киваю на обложку – и пускай разбираются сами.

Бывает, правда, что всё равно не помогает. В особенности, если речь заходит о Климе. Ну, как можно обыграть в бильярд Клима Ворошилова!

И всех, кто интересуется Бродским, сразу же отсылаю к тебе. Такая сложилась традиция.

– А вы, – спрашиваю, – случайно с Костей Кузьминским не встречались?

И оказалось, что встречались. И даже совсем не случайно. Просто ты его в тяжёлую минуту приютил. Ещё в Техасе.

А потом набежала толпа, и я переключился на брелки. А когда схлынуло, то уже никого. Ушли.

Мог бы, конечно, и подарить. Это я о своем труде. Но я, когда торгую, то какой-то угрюмо заторможенный. Засунул червонец в навар и успокоился.

А на следующий день приходит и уже без него. Я сразу-то и не врубился. Наверно, жена. И протягивает мне книгу.

“Равиния”. Эффект публишинг. Инк. Нью-Йорк 1991 (стихи, песни, романсы разных лет). ВАЛЕРИЙ СКОРОВ. А на обложке – сразу же всё понятно. И дело даже не в бороде. И не в грифе гитары. Но это уже всё потом. А тогда я на этот гриф и не обратил внимания.

– Вот, – говорит, – возьмите. Валера вашу книгу прочитал и передал вам свою. На неделю.

Оказывается, у Валеры рак, и он лежит на облучении. А вчера из больницы сбежал. И пришли на Петропавловку погулять. А через неделю они ко мне опять подойдут.

И вот на носу уже опять суббота, а я ещё к Валериной книге и не притрагивался. Сначала всё откладывал на завтра. А завтра – на послезавтра. И даже поставил на шесть утра будильник. Но всё равно не помогло. Развешиваю на телегу флажки и с какой-то трусливой надеждой всё мучаюсь тревогой: придут или не придут?

И так и не пришли. Наверно, вместе со мной тоже всё ждали: когда же я, наконец, начну Валеру читать?

Всё себя успокаивал: хорошо ещё об этом вспоминаю... что завтра уж точно начну. Но постепенно позабыл и успокаивать. Как будто Валера где-нибудь в Доме отдыха. Или опять уехал к тебе в Техас.

И вот теперь расплата: Валере, чтобы меня прочитать, был отпущен всего один день – и Валера в него уложился. А я растянул отпущенную мне неделю на два с половиной года.

На улице метёт. Ленка хоть и заклеила окна, но всё равно как-то зябко. Я смотрю на летящий снег и читаю Валерину книгу.

“Всё выше,
 выше
 в облака
 колючий снег
 летит,
 лишь человек
 во все века
 один
 кружит,
 кружит.
 Снежинки лягут
 на поля,
 кругом
 белым-бело,
 и успокоит всех земля,
 и станет всем
 тепло.”

ИГРАЮ С ОГНЁМ

*Если я заболею -
 к врачам обращаться не стану...*

Яр. Смеляков

Вчера меня опять остановила милиция. Хотели “замочить в сортире”, но оказалось, “бей жидов”. А в паспорте – почему-то русский.

– Что, – спрашивают, – много сегодня приняли?

– Да просто, – улыбаюсь, – устал.

Но Ленка считает, что у меня уже болезнь Паркинсона. Ещё, правда, в начальной стадии. И пора уже обращаться к врачам.

– Смотри, – предупреждает, – играешь с огнем.

ЗНАК НЕСОГЛАСИЯ

Последние двадцать лет жизни Толя Цюпа создавал свой собственный вариант Библии. Но, если бы, перед тем как Толе сгореть, кто-нибудь исследовал его письменный стол, то обнаружил бы на нём чистый лист бумаги.

Застывший в **МОНОЛОГАХ С КУЗЬМИНСКИМ**, я напоминаю Толю, и Валя Лукьянов нашёл этой закономерности объяснение.

Молчание – знак несогласия.

ПОЕЗДКА В СРЕЛЬНУ

Ещё до Нового года ездили к твоей дочери в Стрельну. Приехали, а на платформе никого. Решили, что не пришла, и Алик уже разворачивает шаргалку. И вдруг идёт. Она нас пришла встречать с собакой.

Когда подходили к забору, то нам навстречу вышел какой-то пацан. И я удивился: какой взрослый внук. А это, оказывается, муж.

А потом появился кот. Юля его подхватила, и я их сфотографировал.

Позвонил Алику и спросил, а как зовут Юлиного мужа? Но Алик не запомнил тоже.

Как ты потом напишешь Асе Львовне, “Сергей Иванович (неведомый мне даже по фамилии, неофициальный отчим внучек, “гражданский муж”, прячущийся от армии, почему и беспаспортный) – и мне кажется “человеком чести”, но скорее – помянутым вами “князем Мышкиным”...

Решил, говорю, Косте отписать, как признал мужа за сына. Но Алик, оказывается, меня обскакал и написал об этом первый.

Спросил, а ты не помнишь, какое было варенье. И оказалось, что брусничное. А я уж было чуть не написал, что клюквенное.



Клюквенным я угощал Бродского, и когда читаю “Небесного гостя”, то на этом слове публика всегда улыбается. И ещё храню ушанку, в которой меня Бродский видел, уже, правда, проела моль. И Ленка всё рвётся выбросить, но я свой экспонат всякий раз перепрягиваю: народ ведь не простит.

И больше всего понравился самовар. Правда, он почему-то отсутствовал. Но самовар это на картине Кустодиева. А твоя дочь – обидно, что я не художник. Ну, прямо вылитый Кузьминский.

Январь 2001 г.

Михалыч с дочерью Кузьминского

P.S. Но всё равно самая-самая фотография – та, что на 301-й странице 1-го тома твоей **ЛАГУНЫ**

22 апреля 02

ддааа, Толик!...
нарисовался, не запыхался

ЦЮПОЙ – очень меня обрадовал: от обложки, толково подобранной к названию – до (почти всех? – всех ли?) линогравюр и то, что оба фота – по разные стороны книги

книга – стоящая (при всем моем неизменном скепсисе к Лукьянову – особенно в издании Юденич!) теперечки она – есть

получил я пакет (от тебя, сумасшедшего) в аккурат по дне моем рождения, наутро или на следующий день, милым-сказочным подарком и ширушка мой любимый (тицетно тцающийся “распродать” свои книжки – проще толлику-копеечку ему послать, что и делаю) и нежно уважаемый мною корниллов (отметил ещё с “тарусских”, вот его бы – неполным, а избранным томиком сделать – был бы забойным поэтицем...)

и очень круто – последние его 4 строчки в книжечке!

и ХВОСТ (зараза, вечно забывающий меня – физически: не шлёт, не дарит, а оленька с сашей флоренские здесь были у меня, рисовали русалок, но книжечек привезли мало, себя, а не хвоста)

и твоя (ща прочту)

и фоты – наконец-то толковое алика, а ты хороши только с котом (за твою половину и не говорю: я в неё и так с первого взгляда – навсегда и безнадежно), глебушка – мал-мал освинел (полагаю, от патриотизму – оно так действует, в совке: суди по серёже макарову, хотя бы)

но: КТО снимал, КОГДА снимал, ГДЕ снимал – ни знака, ни звука

дочка – что ж... в меня (на фоне колеса), а юный муж-вдовец куда-то подевался уже, пишет мне емельки лишь старшая внучка, ксения а откуда у тебя “антологическое” (том 5Б) фото ожиганова-шира-меня-кривулина?...выглядим несколько молодыми – по тридцатничку

снял приходько по весне 75, у писюлии вознесенской

письмо твое, с признаниями в присвоении “подари мне” и прочего – мило, но невнятно

нет, чтоб написать “охмурил в магадане девушку/следует описание статей-грудей/, и внаглую пел ей клячкина-кузьминского, за свое, отчего она таяла и ...”

а то литературу и из этого делает

с этой чортовой “ранней лирикой” – у меня полный завал: сделал (помимо асенкиных-боренькиных милых, но беспомощных потуг) свою подборку – и насовал туда чорт те чего, послал маме левченко (25 лет) в ейный сайт “поэзия 60-х как гипертекст”, теперь читать не могу

да и девушка испугалась моего напору, исчезла (усохла)

а маиу ету – надо физически образовывать – и некому, как и тебя (и алика): она ж НЕ знает (и не может ЗНАТЬ), какие стихи кедрина, слущкого,

кирсанова, мартынова, заболоцкого, луговского, и иже, и иже, и иже – гремели на грани 60-го берёт поздние сборнички – и там всё не то (а зачастую – и НЕ ТАК)

в интернете, кстати, чего только нет – 99 % говна самодеятельности, но 1 % такого – что я крякаю (в основном, по провинции: томск, братск, пятигорск и т.д.)

обнаружил даже “ученика” (заочника) – 27-летнего поэта и переводчика чарльза буковского – кирилла медведева: признался, что 10 лет торчит “на моей безумной антологии”

а 13-го (загодя на день рождения) нарисовался почти весь мой тутошний молодняк: журнал “магазинник”, почти в полном составе – 6 штук, всего было 18 гостей

16-го – человек 8 (местных, в основном)

20-го – новое нашествие, опять полторы дюжины, при этом поэт саша коган (из пятигорска) – пришёл пешком из хэнкока, 8 миль, в 4 утра
сейчас мышь валяется, оклёмывается – перемыв ГОРЫ посуды (да моника ей спать не даёт, капризная и наглая стала, но – дышит)

а я вот только сегодня собрался перебрать подарки отовсюду (и из израэля пакет, от поклонников), и отписать

и обнаружил, что меня любят только абсолютно сумасшедшие: боренька тайгин, асенька майзель, гиневский, ты – и то же количество клинических шизов в израиле

нормальные люди от меня вздрагивают, а поэты и художники – любят только себя

что не мешает мне их любить

... вот, поправил набор стихов Жени Австриха – сидит в полупараличе в Иерусалиме, рвётся в Питер (поедет, по весне), а родичи близкие – лишь в Нью-Йорке (где его не лечат: какое-то дорогое лекарство, разрешённое только в Израиле)

так и живёт, “на три дома”, поэт сугубо питерский (одну книжечку там издал)

ко мне его привозили ещё на Корбин, лет 6-7 назад

... про гуся и паука – хорошо

... ну где у тебя голова, толя?...

ОЧЕНЬ хорошая вещь, самостоятельная, проза – предваряется совершенно другой, обычной...

зачем две вещи в одну книжку пихал, однако?...

вот и “останется” – “дома ждёт папа”, а не “что остаётся”...

вторую – я бы включил в любую антологию прозы (а я и посейчас свои лепрозорию-23, 23 прозаика питера, 1974 – переделываю и дополняю, так, в голове – но кому оно?)

... мышь изготовила салатик из помидор и укропа-огурцов, привозных (как в старые добрые там, на поголовной чукотке: у нас тут всё втридорога и не то), и окорок обезжиренной ветчины мой литагент, володя карцев, привёз (за его женой, слушавшей меня на психфаке в 73-м, ухаживал вова п....., но она не пошла, а сейчас карцев продаёт книгу п.....а о дзю-до), они с женой снимали публичное золочение моей жопы, золотом, украденным в ООН – 20-го, в день-рожденческий хэппенинг

... звонил серёга шабалин, он же витт, он же “пэтэушник” (моя его кликуха), звал на радио, делать передачи “о поэзии” (поминал тебя и алексеева)

изьяснил ему, что пусть придет со звукооператором, и я исполню “поэму маузера”, постреляв в микрофон из всего моего немалого арсенала, для благодарных радиослушателей, нехай их оглохнут

такую передачу он делать не хочет, а никакую другую не хочу я

ланно, закружляюсь, передавай нежный привет гинеvesкому (я ему исправно пишу), володе алексееву, глебушке – и всем, кто меня любит

кто меня не любит – тем не надо

леночку целовать особо (и, по возможности, страстно)

улиткин читан-перечитан, а вот что я ИЩУ (кто-то спиздил номер “вестника”) -прозу миши берга, где он пишет: “кока ничем не пахнул” (позарез нужна цитата!), и далее о том, как бродскому делали минет, и выражение у оси было брезгливо-брюзгливое

но зачем ты разорялся на бандероль? – от моей кузины жеки днями опять будет гонец с багажом, всё тяжеловесное и письма он берёт не глядя (друг-выручалочка уже лет 15), и жека сейчас собирает посылку

к клячкину я куда как более “справедлив” (о чём изрядные 70-100 стр. в книге “вокруг и около бродского”, неопубл.)

материал мой о клячкине-жевачкине был слат его издателем (вместе с разрешением на стихи), но в однотомишке не был даже помянут, заменён слюнявыми дифирамбами дебилов-поклонников

стихи поместили (кроме “гонщика” – а это была не слабая и коронная женькина песенка, и ещё чего-то)

после чего постановил: всех левитанов – расстреливать

именно “за мелодию” (единственный МУЗЫКАЛЬНЫЙ бард) я клячкина и ценил – если б он не писал ещё и текстов!... а саша городничий сам признаётся. что гитару в руках отродясь не держал, пел с аккомпаниатором (как татьяна сухомлина-леценко, но та ещё и пела гениально, и гениальные классические романсы)

зато тексты городничьего я могу читать, и даже – печатать (см. ант., том I)

клячкина я уже напечатал (глянь, вроде, в 2Б – “барды и мормоны”) и даже обессмертил на своём СД (1973, сделали-привезли позавчера) его “я прижмусь к тебе холодной ногой” (я холодною дотронусь ногой?), и “прозрачные слюны любимой”, и “когда сигареткой “опалом”/начертаны знаки любви” и т.д., писанное и исполненное а.б. ивановым и мною в том весьма уже дальнем 73-м

и именно женя клячкин – раскрутил магнитофонно осю, всероссийски, выстуная и НАЗЫВАЯ ПО ИМЕНИ автора – во время процесса и после

кассету твою, тем не менее, жду

(всё хочу собрать до кучи, на одну пленку – “туман” от клячкина, егорова, аркашки мороза, твой – и до “редисок”, моей племяшки-рокерши, да техника у меня слабовата)

техника меня тут в деревне – особо достаёт, по-чёрному: ломается, засоряется – а колёс нет, отвезти в починку, покупаю новую, что делать

КСТАТИ, ЗАНЕСИ ЖЕКЕ ЕЩЁ ЦЮПУ / ЛУКЬЯНОВА экземпляриков!

а то вот – в аккурат 11-12 апреля ездил на поклон к Нортону Доджу, за 350 миль (наняв машину), вёз ему картинки – а книжка с цюпой припоздала но я сейчас буду старику готовить материал о графике – и цюпу тоже когда ты мне напишешь лирически-документальный большой рассказ про цюпу (хотя бы в форме письма: “кость, помню, дело было так: нажрались мы в магадане с таким-то и поволокли пачку цюпы по ящичкам...”)

а то у меня отдельные полнимые эпизоды – никак в картину не складываются

я могу писать – и много, и без конца – о тех, кого лично (пусть и не близко) знал, меня “зрительная память” подталкивает, как бы

хоть о саше соколове, хоть о веничке

а о губанове, скажем – ни слова не могу: НЕ ВИДЕЛ живьем (хотя и знаю кучу рассказов)

по антологии даже видно: не могу писать о том, чего не видел и не нюхал (разве – сделать коллаж из чьего-то материала: ривин, есенин-вольпин – к примеру)

ланно, обратно закругляюсь

твой навсегда и навсегда (уже немного) ККК-Махно-Циолковский

рукой Кости: P.S. См. новый адрес на конверте Love ККК

рукой Эммы: Любим, помним, беспокоимся, как там Вы оба?
 Етта К



Скажите, девушки, подружке вашей...

ВСЕ МЫ КЛОПЫ или КАК МЕНЯ ПРИНИМАЛИ В СЕРИЮ МАСТЕР

Володе Алексееву

Алексеев решил меня вывести в люди: пробить в серию “Мастер”.

(– Ты, – говорит, хотя и Михайлов, но еврей.

А там у них главный вроде бы тоже еврей, хотя и Тублин.

– А как же, – спрашиваю, – Коля Шадрунов? Тоже еврей?

Но Колю пробивал Валера Попов.)

И пригласил на консультацию Павлика Крусанова. (Павлику нет ещё и тридцати, но его уже вылепил скульптор. И скоро, наверно, получит Букера.) А с ним ещё и Арсена Мирзаева. Напоминая Эрзю, Арсен “навёрчивает” из веток орешника лирические фигуры. А из высыпанных, точно из лукошка, буквиц плетёт белоснежный верлибр. И по совместительству у этого самого Тублина ответственный секретарь. И мои “Записки из коридора” вроде бы понравились. Иначе бы и не стали со мной разговаривать.

Я принёс две бутылки, и Володя приготовил салат. Из маринованных огурцов и квашеной капусты. А запивали рассолом. И почему-то из чайника.

Сначала всё шло как по маслу. Но после второй бутылки меня вдруг потянуло на мордобой.

– Да все вы, – говорю, – по сравнению с Шаламовым клопы. И я, – уточняю, – тоже клоп... – и, распоясавшись, давай рвать на груди рубаху. Ну, а Володе что – сидит и, зная себе, улыбается. А Павлик почему-то обиделся.

– Какого х.., – кричит, – ты нас тогда пригласил...

Хорошо ещё, что не начистили рыло.

Я, правда, свою вину потом осознал и несколько раз бегал за добавкой. Но в серию “Мастер” так всё равно и не попал.

ТРИ ЗАМЕЧАНИЯ

(по поводу некоторых сомнений)

1. Бродскому ещё повезло, что я с ним общался всего один раз. Вот и получилось, что надо. А тебе не повезло: я проел тебе плешь – и мы с тобой уже два “писуна”.

Но больше всего не повезло Вале Лукьянову: он всё время во мне присутствует. А попробовать о нём написать – и сплошной “маленький Мук” (Виктор Соснора).

2. Бабель сначала тоже всё хорохорился: ну, чего ломать копыя, когда Толстой уже всё наклепал. Но потом всё-таки подостыл. Льву Николаевичу, смекает, “хватало темперамента” на все двадцать четыре часа. И оставил себе пять минут. На новеллы.

А я оставил себе всего одну минуту. Но чтобы эту минуту расцепить на шестьдесят секунд.

3. Что бы ты там ни пел про ликбез, но после “Колымских рассказов” мусолить бумагу стыдно. И после “Котлована” тоже.

Выщёлкивая тысячью рулад, можно, конечно, колдовать над перьями индюка или шкурой барана. И это очень забавно. У каждого свой Свифт.

Своим “Котлованом” Платонов всю это свифтопляску закрыл. А своими “Колымскими рассказами” Шаламов повесил замок.

НАБОКОВ

Всё собирался исследовать алфавит: какой у каждой буквы запах и цвет. Но, покамест раскачивался, Набоков уже давно меня обскакал.

ГЛАЗНОЕ ДНО

Володя Корнилов, рассуждая о Булате Шалвовиче, отрезал:

– А что Окуджава?! Стихи у него слабые. Голоса нет. На гитаре играть не может. А всё вместе – ничего и не скажешь – гениально.

А может, и я такой же? Голоса у меня нет. На гитаре играть не умею. И даже не могу отличить грача от вороны.

Зато глазное дно.

Ленка смеётся:

– Успокойся. У тебя, – говорит, – глаукома.

ФОЛКНЕР

– Послушай, Уильям, почему у меня ничего не получается? – спросил я.

– Это всё потому, что ты слишком много думаешь, – сказал Фолкнер.

– Но я ведь уже давно совсем и не думаю, – сказал я.

– Это ты правильно делаешь, что не думаешь, – сказал Фолкнер.

ИВАН-ДА-МАРЬЯ

*И ночь, гитарой брякнув невзначай,
молочной мглой стоит в иван-да-марье.*

Б.Пастернак

– А ты хоть когда-нибудь видел иван-да-марью? – спрашивает меня Ленка.

– Такой, – улыбаюсь, – у Бабеля рассказ. И ещё, – говорю, – цветок.

– Сам ты, – смеётся, – цветок.

Оказывается, не цветок, а травка. Похоже на клевер. Но всё равно цветёт.

– Я, – говорю, – все цветы изучаю по Пастернаку.

*ЕСЕНИН И МАНДЕЛЬШТАМ
(бродский и горбовский)*

“европа или азия?”

(г.г.)

*“разве бывают горбовские бывшими? -
просто устал...”*

(г.г.)

*да уж... вечер пьяного в жопу глебушки, грудной хих прекрасной елены и –
гениальные стихи*

боренька тайгин мне таких не шлёт – а глеб, похоже, других и не читает

да, толк

порадовал и монологами, и – плёночкой (одной стороной)

глеба петь – после хвоста заказано (а то получается – “глеб в капелле”)

вчера пришли книжицы и рукопись, дня 3 назад – плёнка

каждый день – “что-нибудь”, а тут такое

“монологи” тебе удалось, в лучшем смысле

герои – если кто “не знает”, так и незачем ему знать

*(вчера вот читал капуста или коврова с женой о малевиче – два
старика заговаривались, но каждое имя – в яблочко, по сердцу)*

*и дарю я тебе “подари мне” (только не перевирай: “ПУСТЬ не
отвечаешь ты”!)*

*лукьянов меня по-прежнему отверщает своим “несовершенством” – в
рифме ли, в образе – а вот глеб наоборот:*

“голодный и вздохмаченный... как дым” (от фонаря, но в яблочко)

но и лукьянова насильственно полюбил – чрез тебя

*а уж “диалог” глеба с корниловым...
“несть ни еллина, ни иудея”*

*спасибо тебе, толик, за всё – мне так и помнится по сю гора яблок на
покосившемся столе на заднем дворе, с вами
доехал, довёз свое чудо белокудрое
поздновато мы пересеклись, но лучшие поздно
сейчас выращиваю молодняк, слабосильную команду – но искренние,
чистые*

*там бы я нашёл ребяток покруче (вроде матиевского, ровесника бореньки
куприянова), но мне ход туда заказан: слишком много бойко плавающего
говна*

*даже монстр нестеровский (миша беломлинский поставил мне афтограф
за гогу ковенчука, его друга) – с кишками поэт*

*что-то темяшится мне параллель “есенин и мандельштам” (и думаю –
не зря)*

*об оське лучшие всех написала люда итерн (которую держал за дуру,
соломоша и соловьев-клепикова – просто окормились на нём (как мандавошки
– но сам разводил!)*

*а мне о нём никак не написать (ПЯТЬСОТ страниц “о нём”, вокруг да
около – и всё не то)*

*о довлатове – и то куда проще: сережку я просто любил (да и он ко мне
“хорошо относился”), но масштаб и глубина – не та*

потому и о глебе мне сложно

“я просто люблю” (как сказал ширали, перефразируя аполлинера)

а любовь вполне возможна и без взаимности – если не баба)

*и нёму коржавина нежно люблю (“единовидевшись”, 10 секунд, в 62-м), а
он в бостоне трепетно спрашивает: а какого кузьминский о нём мнения? –
самого высочайшего*

*и вообще, всех, перечисленных тобою – даже варлам тихоньча и сола (за
их ЗАСЛУГИ – что как бы “не касается” литературы)*

или набокова и платонова – а отчего бы?... (“котлован” = “лолите”)

*единственное, что удручает меня – несоизмеримость двух
полустолетий: на сотню и пять сотен гениев 1900 – 1950, в нашем – по
пальцам пересчѣшь (привключив ноги)*

*открыл вот третьего прозаика второй половинки – после венички и саши
– МОШЕ ВИНОКУРА (вышел и у вас, “дальние пастбища”)*

*и моше меня заочно и издадека, в израиле – полюбил
поздновато? – никогда не поздно*

любят меня только израильские и питерские сумасшедшие, нормальным шубинским – я МЕШАЮ

(так же в москве – ванька ахметьев и дима кузьмин – они ведь ТОЖЕ делают антологии, и ихние, несомненно, лучше)

а сумасшедшим я не мешаю, я сам такой

знаю я всё про этого саркосельского киевлянина – прессу ж мне везут годы и годы (да и на интернете теперь)

а я, толик, заработав некоторую денежку к 62-летию (от нортон, от кого же) – пустился во все тяжкие и решил месяц пожить как адвокат (или дантист): заказываю сыры по интернету (“стильтон” джеромовский – но наш “дорогобужский” был повонючей), нашёл кувшинки – “кубышки” для прудика (и один лотос), и купил два кинжала из саудовской аравии, бедуинских

а днями жду – страшно и боязно – из судана и морокко, лезвия...

жизнь адвокатская скоро кончится, начнется обычная, пенсионная но отчего же не пожировать

(правда, индийское пистонное ружжо 1801 года – по нерасторопности, упустил, а красивое – вроде моего афганского)

трое суток был проливень (отчего суставы и сердце), не до полевых и огородных работ

но колибри прилетели и пока даже не дерутся у поилки с сиропом, ирисы расцветают, тюльпаны – наоборот (но два красивейших белых и 1 черный ещё цветут)

заказал и получил – с сотню бамбуковых палок, 1.80 м, буду строить ограду

местная газетка меня обратно же пропечатала, после “нью-йорк таймс” фото с собачкой, а у неё на спине опухоль (13,5 лет, чать!), но бодренькая-разумная, только задние ножки слабы, падает

народец едет каждую неделю – и старичьё (общнуться напоследок), и молодняк несчётный, соскуцццья не дают

чтоб не залежалось в компутере, надо б дописать сегодня и кинуть в пошту завтра

нежные объятия и дозволенные лобызанья твоей прекрасной елене равно и тебе

и алику гиневскому

и глебушке

и володе алексееву

и всем (кого стоит помнить)

а “рецензий” тебе не надо, просто – ХОРОШО и точка

твой ККК-Махно

15 мая 2002

лордвилль-божедомка

рукой Эммы: Привет и Любовь... Эмма К.

ТОЛЯ ГУСЕВ

*Марамзин (собств. Кацнельсон)
Владимир Рафаилович*

“Самиздат Ленинграда”

– Ну, что это за писатели, – огорчилась за меня Ленка, – Михайлов, Алексеев... Остался бы, – говорит, – лучше Толя Киновер...

– Ещё, – улыбаюсь, – Толя Степанов...

Киновер это моя фамилия по папе. А потом её мне сменили на мамину. Потому что били товарищи.

– Ну, да, – говорю, – остался бы. И товарищи бы опять сделали “тёмную”.

Но, с другой стороны, бьют всё равно по морде.

– Ладно, – чешу затылок, – сдаюсь. Ася Львовна окрестила тебя ЕЛЕНОЙ МИХАЙЛОВОЙ. А я поступлю как Володя Кацнельсон и сделаюсь ТОЛЯ ГУСЕВ.

РАБОТА СО СЛОВОМ

В “Записках из коридора” у меня возникла проблема с “кишкой”. Не с той, что прямая, а с той, что слетев с проводов, качается над троллейбусом.

Пошёл выяснять у водителей, и первые из опрошенных сразу же насторожились: наверно, решили, сумасшедший. А может, и шпион.

И тогда пришлось расколоться.

– Я, – объясняю, – писатель и не знаю, как эта штука называется.

На этот раз водитель приветливо улыбнулся, и эта штука оказалась ОГЛОБЛЯ.

ПЕРВЫЙ ГОНОРАР

На семинаре у Лёши Ельянова я прочитал свои “Записки влюблённого”, и в перерыве ко мне подошла литературная дама и со словами “Бедный мальчик!” погладила меня по голове.

В своём “Первом гонораре” Бабель изобразил себя педерастом. А я поступил по-своему и прикинулся импотентом.

ЯПОНСКОЕ КИНО

У бедных японцев есть такой обычай: когда уже пора в небеса, то человека, чтобы он скорее откинул копыта, помещают куда-нибудь под снежок, и там он общается с Богом.

Ленка видела картину, как одна старуха сначала грызёт орехи, но, чтобы ей поверили, что она уже готова в путь-дорогу, выбивает себе камнем зубы. А потом её внучек, весь в слезах, укладывает бабушку в мешок и, полураздетую в лохмотьях, уносит в горы.

Конечно, выслушал я Ленку, всё это очень поэтично. Но как-то всё равно некрасиво: человек ещё живой, а его уже волокут в могилу. Так товарищи не поступают.

И Ленка на меня рассердилась, что я какой-то примитивный и с таким недочеловеком, как я, ей даже неинтересно разговаривать.

С РОГАТИНОЙ НА МЕДВЕДЯ

– А знаешь, – похвалился я Ленке, – что обо мне когда-то сказал Лёша Ельянов? Ты, – говорит, – своей прозой прёшь всё равно что с рогатиной на медведя.

Но Ленка внесла поправку.

– Не с рогатиной, – смеётся, – а с рогаткой.

– Но я же, – улыбаюсь, – бздиловатый.

Оказывается, не имеет значения: ведь я даже не понимаю, что такое медведь.

СПб

ул. Пушкинская д.18 кв.57

Михайлову Анатолию Григорьевичу

Вроде, 7 августа 02 (или около, понедельник)

Толк,

В пианом виде ты иногда изрекаешь мудрые мысли и идеи (насчет приезда, к примеру), в трезвенном же – начинаешь рефлексировать (по поводу лукианова, скажем)

Одно к другому не относится

Наскрести на билет для Алика и на автобус для всей вашей троицы – для меня нет проблем: чуть не ежечасный рейс до Монтиселло (40 миль от нас) стоит полтинник на рыло, в оба конца, а оттуда – кто из соседей доставит

Вся наша соседня так и ездит на дачу, чтоб не гонять машину в Нью-Йорк

Итого, где-то 750, с доставкой (ну, может полтинник сверх, если подряжать соседей-туземцев

(Джойс)

Проблема в другом: в здоровьишке

Опять меня пару недель назад вспотрошили, лишили ещё 10 см кишок, и валяться мне поротым пузом кверху – аж до октября, вроде

*Если (не исключено?) опять не дёрнут на столик
(рукой Эммы: исключено, он блокадный ребенок, и потом такие
“мероприятия” случаются раз в 4-5 лет и реже... Эмма)*

*Кишки мне выбили, вместе с селезенкой, коллеги вовыина (если не он
сам?) в ночь на 14 января 1970*

*В позапрошлом году достало (непроходимость), но прокачали-
просифонили, без операции*

*В этом году спас еврей из таллина, оказавшийся в местном госпитале –
отправил за 90 миль в Куперстаун (родину Фенимора), на операцию*

Неделю уже дома, за медсестру пашет мышшь, перевязками

Дырка 30 см, тампоны и пр.

Но голова в порядке, да и всё остальное фурычит

Жру что хочу и пью соки – варит, хоть и со скрипом (пучит и пердёж)

А и так я валялся на диванах 24 часа в сутки, не привыкать

Словом, если не случится “непредвиденного” – жду

*Касательно торгово-финансовых операций – книжками я не торгую (но с
десяток не помешает), а вот не дашь тебе 3 лучшие линогравюры цюпы
(рыба с ножом, грузовичок и ещё что-то) – мог бы попытаться со временем
пристроить в музей, к нортону*

Там они не пропадут (в запапниках, разумеется) и сохранятся

*Музею же нужнее “имена” (10 лет долблю Алику поискать детские
книжки 60-х), типа с иллюстрациями Кабакова, Пивоварова, Тamarы Юфы*

*Сейчас вот, после статьи в “нью-йорк таймс”, нарисовалась техасская
подруга Ленка Коган-Керзнер, из питера, зажавшая с дюжину детских книг
ещё в 80-м, “обучать детишек” своих, немалочисленных – и прислала их в зад*

Каждая – ценой в 50-75 туттошних, зелёных

*То же ж и с “зарубежной фантастикой” 60-х: оформляли её у Володи
Карцева (директора изд-ва “МИР”, а ныне моего литагента) – все “левые”:
Кабаков, Янкилевский, Инфантэ, Кира Сошинская, Соостер – но и у него их
нет*

Журналы типа “Техника–молодежи”, с теми же именами

*И, хотя это была чисто денежная халтура, а Толя Цюпа – ангел и
наивняк, они-то (имена) и есть товар*

*Или – книги с иллюстрациями Михаила Кулакова, Светозара Острова,
Гаги Ковенчука (Питер, 60-е)*

Солидная коллекция этого – могла б принести и соответствующие бабки

*Но единственный мой друг-книжник (с 59-го), Натанчик Завельский –
отдал Богу душу в прошлом августе*

*Мое отношение к поэтике Лукианова (паче – к его публикаторам и
ВРЕДакторам!) – на самого Валу и его круг не распространяются*

*(Нужно, кстати, то цветное фото Тюльпанчика, копию мне сделать
было никак)*

Лукьянов, открой я его раньше (вина Тюльпана, кстати! – тщетно требовал с него мемуары про “Абемит”, журналчик этой компании!) – был бы всенепременно в антологии (в МОЕЙ подборке), и иллюстрировал бы его – Цюпой...

...дошёл через мост аж до писильвани: велено ходить (с дратым пузом) погода поганая (“уж небо осенью дышало”), холодно, тучи и смотреть не на что: торнадо порушил оба берега, всё повалено дом Альва Лордов напротив – завален сломанными деревьями, гибнет окончательно

всё, сил нетути, 5 вечера уже, надо нырнуть в интернет, посмотреть пошту в 11-12 ночная перевязка, но сплю хоть нормально, без снотворного (мышь потеряла рецепт, в хлопотах)

да, СПАСИБО за анри (себя я имею), очень клёво – и о лихачёве, в частности (воспитавшем и гришку-слепого) анри иногда возникает из ниоткуда (из тюбингена), позванивает, а то и емелей уже, а хвостик мой любимый – бессловесно, в париже из питера же – никаких новостей, кроме тебя, алика, тайгина и домашёва (уж очень старой гвардии)

целую руки Елены Прекрасной (наслаждался её голоском грудным и смехом на пленке с Глебом),

серьёзный поклон Володе Алексееву (годы заочно знаю и чту) и всем, по твоему выбору

твой ККК, батька (и тятка)

письма мои (с вопросами и просьбами – ты явно не читаешь /как все там/), перечёл апрельское – ни одного ответа и майское – и то ж самое ответов, впрочем, я и не жду а “по делу” – передал уже через кузинку “ДА” (если не окочурюсь)

рукой Кости: по-английски Лав

P.S. Алика (и Елену) нежно лобызнуть, взять в охапку и довести до Брайтона (поскорее). К.

рукой Эммы: Перевозжу на русский: очень рады, если у Вас всё так и получится. Ждём. Собирайтесь и идите, т.е. приезжайте... Идея отличная...

Денег наберём и здесь отдадим. Книжками торговать не умеем ни он, ни я. Дарим.

Увидеться с Аликом – было бы очень здорово. Костю бережем, ухаживаем и уважаем. Так что приезжайте. Ждём.

P.S. Спасибо за присылку статей. Собирайте, если возможно (ведь это стоит дорого теперь у Вас!) всё интересное и об ККК – тоже.

ДВА ПИСУНА

*с толиком у нас разговор
“великого с малым о малом и великом”
высокошительный диалог двух писунов*
К. К.

Ещё до нашего пересечения Валя Лукьянов справедливо подчеркнул, что “если один из нас – ты, то и второй из нас – тоже ты”.

С НАШИМИ БАРАНАМИ

*и плету словес своих вервие
на кушетке унылой скукожась*

К. К.

Существует свидетельство, что Куприн обозвал Набокова ПУСТОПЛЯСОМ. И если это справедливо, то в случае с нашими баранами Кузьминский – Х...ПЛЁТ.

В ПИКУ ЛЬВУ НИКОЛАЕВИЧУ

В письме к Виктору Ширали Кузьминский пожаловался:

*Обидно, Шир. Переходи на прозу. Она сильней стихов.
Недаром Пушкин, Гоголь, Белый перешли.
Я сам перехожу. Полгода – ни стиха. Зато какая проза!
Кайфую, ворожу.*

Если это, действительно так, то, в пику Льву Николаевичу, перехожу на поэзию.

ГРЯДУЩИЙ КУЗЬМИНСКОВЕД

Витай, безумный, в облачных химерах...
А. Гиневский

когда-нибудь лет через восемьсот
на олеандре камней миссалонги
оболганной лживым кивком головы
у ворот развалившейся трои
обнаружат следы

магнус эт мириум дель норто
фернийского пустытника
и совокупно с говорением на языках
прибавится работёнки кузьминсковедам

тогда вам нужен уткиновед
удивил меня помятый светлов
когда я его откопал в переулках кузнецкого моста
и попросил рассказать об иосифе уткине
а разве такие бывают
поинтересовался я у михаила аркадьевича
и похожий на старого парикмахера классик
как-то невесело усмехнулся
бывают голубчик бывают
и уткиноведы бывают
и светловеды поверьте мне тоже не переведутся

а титул грядущего кузьминсковеда
я бы присвоил прильнувшему к твоему плечу
дегустатору из мозамбика
унюхавшему в твоём квак-эсперанто родную речь
и обсКаКавшему на восемь столетий современников



На могиле у Костиной матушки

В НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

*Стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый.*

И.Бродский

В ночь под Рождество Ленка придумала открыть наугад Библию, и, ткнув пальцем в Евангелие от Матвея, я прочитал: НЕ ДАВАЙТЕ СВЯТЫНИ ПСАМ И НЕ БРОСАЙТЕ ЖЕМЧУГА ВАШЕГО ПЕРЕД СВИНЬЯМИ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ ПОПРАЛИ ЕГО НОГАМИ СВОИМИ И, ОБРАТИВШИСЬ, НЕ РАСТЕРЗАЛИ ВАС. И на следующий день похвалился Алику, что скоро я дорасту до Шукшина: говорят, что Василий Макарович, когда ему, автору Красной Калины, впервые подвернулась Библия, испытав изумление, воскликнул “какая замечательная книга!”

И оказалось, что сам Алик проштудировал Библию от корки до корки и, если я захочу, то он мне может её принести и показать, как она вся испещрена его замечаниями и пометками. А дорасти до Василия Макаровича невозможно, потому что Библия была в его душе всегда, и он её в себе носил, даже не подозревая, что она существует.



ЖАЛКО ЗВЕРУШЕК

Когда мы выходили из леса, Алик мне показал развалины свинофермы, возле которой его чуть не загрызла стая голодных псов. Раньше служили в охране, а теперь ушли в партизаны.

– Еле-еле, – улыбается, – отбился...

Но зла на них Алик не держит – они же не виноваты.

ДВА ТРУБАЧА

Алика Гиневского очень уважает Виктор Соснора, но Алик об этом скромно помалкивает.

Зато меня спустил с лестницы Варлам Шаламов, и я об этом трубно с гордо поднятой головой.

СИЛА ОБРАЗА

Алик прочитал мою зарисовку, где Глеб Горбовский обозвал Володю Корнилова **жид**, и сразу же поинтересовался.

– Так, – спрашивает, – и сказал?

– Да, – говорю, – так и сказал.

И Алик за меня огорчился. Вот если бы я это придумал, то было бы гораздо убедительнее.

Я возразил: но если бы Глеб такого не говорил, то значит я бы на него наклепал.

Но Алик со мной не совсем согласен: зато это бы соответствовало его образу.

ОБРАЗ И НАТУРА

Рассказал Алику свою автобиографическую историю. Про чемодан. Как я его запикиваю под кровать, а он всё не лезет и не лезет. И я всё никак не могу понять, что его нужно просто положить на бок.

Ленка считает, что я валяю дурака. А у меня это крик души.

Алик обрадовался: гениально. И поделился своим восторгом с женой. И Аликина жена (Нина) с ним согласилась. Что такое может придумать только настоящий писатель.

Но ведь я же ничего не придумывал!

И тогда Аликина радость угасла. Он был уверен, что у меня это просто ОБРАЗ. Но оказалось, что это моя НАТУРА.

НЕ ДОЖДАЛСЯ

*Коросту хамства и наживы
себе начёсывает он.*

Вл. Ходасевич

Когда я выводил Алика в торгаши, то как-то не допёр, что прежде всего надо его представить коллективу, и тогда ему будет доступен туалет, куда посторонним вход запрещён.

Наше рабочее место прямо за Иоанновскими воротами и на поход в экскурсионное бюро затрачивается не больше пяти минут, а путешествие в общественный клозет, что напротив собора (у Алика удостоверение блокадника) занимает не меньше двадцати; и в результате, если сравнить эти две цифры, то каждая такая ходка высвобождает в среднем 15 минут, как сказал бы Марсель Пруст, утраченного времени.

Я думал, Алика обрадует, что ему на целых 15 минут грозит расставание с “коростой хамства и наживы”, а его, оказывается, травмирует, что на целых 15 минут он оставляет меня в одиночестве.

И, так, наверно, целый месяц всё ждал, когда же, наконец, во мне прорвётся настоящий товарищ.

РАЗНООБРАЗИЕ ХАРАКТЕРОВ

Когда Алик смотрит в окно, то у каждого дерева у него своя любимая веточка, и к моему трагическому наблюдению “какие хари!” он, мне в противовес, восторженно замечает:

– Какое разнообразие характеров!

Я всё прикидывал, сколько у меня сфиздили брелков, и Алик вдруг как заорёт:

– Смотри, смотри!

И я увидел, как на крыше напротив две старомодные вороны обхаживают котёнка.

ПО ПОМОЙКАМ

Если ко мне внимательно приглядеться, то мою ушанку можно использовать в качестве бархотки. А бахрома от штанины уже давно подметает асфальт.

“Бредёшь устало, снежок вминая”, и, поравнявшись с мусорным баком, сталкиваешься с ковыляющей навстречу старушкой.

Окинула сочувственным взглядом и, жалисто вздохнув, покачала головой:

– Всё по помойкам да по помойкам...

ЗАВТРАК НА ТРАВЕ

(зарисовка, заставившая Алика посмотреть на меня с другой стороны)

Пошёл выносить ведро и, когда уже стал переворачивать, почувствовал, что кто-то в контейнере шевелится. Наверно, подумал, кошка. Но оказалось – человек.

Сидит и как ни в чём не бывало завтракает.

ОДИН ПИШЕШЬ – ДВА В УМЕ

*Грешного меня простите, грешники,
подлого, простите, подлецы.*

А.Галич

Решил покаяться и рассказал, как на заднем дворе, когда играли в государства, чтобы заластить товарищей, обозвал папу **жидёнок** и в результате вместо Люксембурга Бабон мне чуть не отрезал нос; а через сорок лет разорвал на груди рубаху пьяным евреям на Брайтоне, но, вместо того чтобы меня простить, они мне чуть не дали п...дюлей.

– Ну, – улыбаются, – и паскуда! Зачем же ты, сука, нам всё это рассказываешь?

И Алик с ними согласился, что надо было дать.

Алик сначала думал, что я “униженный и оскорблённый”, но когда узнал меня поглубже, то усомнился.

– Ты, – говорит, – один пишешь – два в уме.

ПРИЖИМИСТЫЙ

Какие всё-таки молодцы мои товарищи с Покровского бульвара – что так талантливо сумели меня окрестить.

И Алик с моими товарищами согласился, что я, действительно, **сундук** и такой же, как все “сундуки”, **прижимистый**.

Конечно, Алику виднее: я-то в армии не служил; а “сундук”, как мне объяснили, значит сверхсрочник, у которого не выпросишь и куска хлеба.

ПРИВЕТЛИВАЯ ДЕВОЧКА

Посмотрит – рублём подарит.

Некрасов

Уже два года как в вестибюле станции метро Горьковская выжимает слезу приветливая девочка с картонкой **У МЕНЯ УМЕРЛА МАМА**.

– Вот стерва, – заметил я как-то Алику, – ведь сразу видно, что врёт.

И Алик меня чуть не ударил: какое моё дело – врёт или не врёт; а если даже и врёт – значит ещё больше страдает.

РАЗВЕ АЛИК СОВЕТСКИЙ?

*Мы врагов советской власти
били, бьём и будем бить.
(Из школьной программы)*

В программе “Поверх барьеров” озадачили “Русские вопросы” Бориса Парамонова.

Всё нахваливал Виктора Розова (когда-то Олег Табаков рубил в его пьесе мебель): какие у него удивительные воспоминания.

По молодости у Розова вместо стульев были чуть ли не ящики из-под пива. Но всё равно жили душа в душу и на 7-е ноября всем баракom крутили патефон.

А когда появилась собственная машина (и даже не “Победа”, а “Зим” – как на голову снег, вдруг навалился успех), то соседи не только ему не завидовали, а даже, наоборот, порадовались.

И почему-то подумалось: Алик.

А Парамонов считает, что написать такое про соседей по бараку мог только советский человек.

АЛЕКСЕЕВ И ГИНЕВСКИЙ

Узнав, что Алик назвал его настоящим писателем, Володя велел мне Алика беречь, объяснив это тем, что Алик – ранимый ребёнок.

КНУТ И ПРЯНИК

Прочитав мои “Записки из коридора”, Алик перетянул меня плёткой.

– Нет, – говорит, – до “Записок из мёртвого дома” не дотягивают.

А когда я надулся, то, сменив кнут на пряник, решил меня похвалить.

– Ты, – улыбается, – Толя, не совсем полный нуль.

ВСЁ В ПАПУ

Когда я прилетел из Магадана и, открыв ночью дверь в квартиру, будучи пьяным, прокрался на кухню, то, папа, ещё не подозревая, что я дома, уже от меня отвыкший и не видевший сына почти полтора года, так прокомментировал маме моё отсутствие:

– Опять этот сволочуга загулял...

Я думал, что Алик меня пожалеет, но вместо этого он меня успокоил:

– Ты, – говорит, – Толя, весь в папу.

ГАМ И МАГ

Если изобразить чёрным по белому наши инициалы, то мы с Аликом, в какую сторону ни крути, обратно пропорциональны друг другу.

КУЗНЕЧИК БЬЁТ ПО НАКОВАЛЬНЕ

Изображая “бьющего по наковальне и гремящего зелёным молоточком кузнечика”, Алик замахал руками и вдруг так застрекотал, что я за него даже испугался, как бы он, чего доброго, не сиганул прямо со сцены в траву.

РОДНАЯ РЕЧЬ

У Вали Лукьянова есть такие строчки:

*Когда неволей окрылён
На снежной ветке -
Твой зов разносится, как стон;
Когда ж ты в клетке -
То замираешь, то таишь,
В себя ушедший...
И сердцу через эту тишь
Ещё тяжельше.*

Я был уверен, что слово “тяжельше” придумал Валя, но неожиданно услышал его из уст Алика Гиневского.

И после этого Аликина речь сделалась для меня родной.

ПРОЩАНИЕ С КЕШЕЙ

Перед птицею нем стоишь...

В.Лукьянов

1

В своём стихотворении, складывая зонт, Кушнер сравнивает “эти жёсткие спицы” с “перебитыми крыльями и дрожью тютчевской птицы”.

А меня, сжимающего в дрожащих пальцах ещё трепещущий нежный комочек, из которого на линолеум вытекла кровь, и, точно в обмороке, тупо повторяющего “Лена... оживи... Лена... оживи...”, можно сравнить с нашим соседом, что сорок с лишним лет назад на Фрунзенской набережной, гуляя во дворе, не углядел, как его полуторагодовалую дочь, разворачиваясь, раздавил грузовик.

В память о погибшей родили ещё одну девочку, а мы с Ленкой заведём себе ещё одного кенаря. Но это уже будет совсем не Кеша.

2

Я поднимаю голову и смотрю на часы. Уже половина 10-го. Кеша сидит на зеркале и, вибрируя запрокинутым горлом, выводит руладу. Всё выше, выше, выше...

Иду сообщать: Кеше пора на боковую.

Пять лет подряд Кеша тянул срок, и прошлым летом мы его из клетки выпустили. И он теперь не только поёт, но и летает. И даже ходит по всей квартире.

Услышит, например, Адамо, встанет возле косяка и наслаждается. А выйдешь из комнаты, то просто не даёт нам прохода. Увидит башни ног – и сразу же в штыки. Расправит на нас крылья и, возмущившись, давай наши ноги клевать: хозяин территории. Или возьмёшь телефонную трубку, а он уже на плече. Трубка в одном ухе, а он что-то колючее нашёптывает в другое. А когда Ленка рисует, сядет к ней на стол и на палитре каждую краску пробует на вкус.

А когда нам уходить, то, чтобы не посадили в клетку, обязательно спрячется. И мы его всё ищем и никак не можем найти. И, так и не найдя, уходим. И если возвращаемся затемно, то не успеем ещё войти в подворотню, как с четвертого этажа на весь двор разливается трель. И не успеет ещё зашебуршать в скважине ключ – уже сидит и ждёт нас на телевизоре. А если успело стемнеть, то иногда сидит на жердочке и спит, а иногда войдём – а его нету.

И мы его снова ищем и опять всё никак не можем найти. Но не успеешь ещё поднять голову, уже нарисовался – где-нибудь на карнизе над шторой. Откуда-то выпорхнул и взлетел. А откуда – никак не засечь. А перед сном всегда нас водит за нос. И теперь никак не поймать.

И тогда Ленка придумала и по дороге на кухню зажигает в коридоре свет. Кеша уже на столе, и его рулада сейчас пробыёт потолок... Ленка входит на кухню и свет на кухне, наоборот, гасит.

Кеша улетает в коридор и садится в коридоре на стул. Ленка подкрадывается к зеркалу и, засекая Кешино месторасположение, щёлкает выключателем.

В темноте Кеша застывает и теперь с ним можно делать всё что угодно.

Ленка к нему наклоняется и, взяв его в ладони, несёт всё ещё в темноте в клетку. Изловчившись, перекладывает в одну руку, а другой – снова щёлкает выключателем.

– Ну, что, – смеётся, – попался... – и целует его прямо в клюв.

3

Вчера позвонил Алику и горестно вздыхаю:

– Наступил, – говорю, – тапочкой на Кешку...

И у него, оказывается, тоже горе.

Чижик пел на балконе, и на клетку налетела ворона. Клетка упала, и из дверцы выскочила задвижка. Алик услышал грохот – и прибежал, а клетка уже пустая. И только успел зафиксировать, как ворона захлопала крыльями.

Но Алик надеется, что чижик остался живой. Главное, говорит, чтобы долетел до леса. И всё переживает, что больше его никогда не увидит.

А Кешу мы похоронили на Ржевке возле могилы Ленкиного отца. Ленка прибирала могилу, а я лопаткой вырыл для Кешу ямку. Прямо под ёлкой, и, чтобы не отрубить у ёлки корни, пришлось Кешу из коробочки вынуть. (А дома всё с Ленкой не верили – ну, прямо как живой – и завернули его вместо савана в носовой платок.) Потом подбросили дёрну – и получился холм.

Ну, и, конечно, выпили. Сначала за Ленкиного папу. А потом и за Кешу. Прости меня, Кеша. И прощай.

ФИЛОСОФЫ НА БРЕВНЕ

А. Гиневскому

Ели сваленной бревно...

Б.Пастернак

Существует мнение, что наша земная жизнь – всего лишь подготовительный штришок. А настоящая жизнь – вся ещё впереди на том свете. И если в это поверить, то и нестрашно помирать.

Но Алик считает, что такая постановка вопроса – провокация.

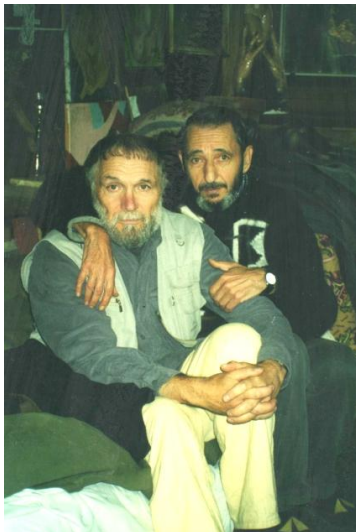
Вот он, например, в загробную жизнь не верит, но Богу всё равно благодарен. За то, что Он сопровождает нас при жизни.

– А как же, – спрашиваю, – значит, после смерти хана?

– Значит, – улыбается, – хана.

Вот так мы с Аликом иногда философствуем. Устроим где-нибудь на опушке привал, и у каждого свой пенёк. Или бревно, что нас объединяет.

Пофилософствуем, а потом нальём и выпьем.



10 декабря 02

толик, леночка

я вам погробно благодарен – за то что удалось обнять алика

и за цюпу, еще одну “встречу” с ним, нежно любимым

(покамест удалось устроить нортону только 2 – и, неожиданно старику понравилась “поэт и птичка”, а не “угроза”, которую куда как выше ценю я, так что только-только молоту, остатнее я как-нибудь потом, через колю)

у нас уже снега, ночью до -18С, так что в гриппах, простудах, кашлях и соплях (как перезимуем еще 100 дней – не ведаю)

дом толком и по сю не закончен с ремонтом-отоплением (на это никаких гравюр не напасешься), в компьютерной – ноги стыннут на полу работать толком никак не возможно

мои фантастические прожекты – об издании книжищ опупкина и шира – упруаются как в технику (неналаженную), так и во здоровье

да и свои книги – сколько ни карячусь, никак не приведу в печатный вид

(это ж не полста страниц с дюжиной иллюстраций, а в тысячах и сотнях, соответственно – ну, и расходы, тоже)

да и народец прет круглонедельно – в эти выходные, невзирая на снег-лед, наперло 17 человек (половина с ночёвкой), включая двух приبلудных телевизионщиков из москвы

эти двое, с 3-го канала “московия”, ТВЦ, находясь в свободном плавании, и не договорившись с полицией брайттона снимать петра гриненко и его борьбу с русской мафией, накатили ко мне

а у меня, помимо бурндуков – стадо панков, только что издавшее свою книжищу и приехавию за одобрением

двое суток отсыпался опосля

от вас же я жду, упорно – рассказ максимальный о толе цюпе, его дружбе и связях с художниками и поэтами написанный языком человеческим, без выкрутас (переведу -для нортонa; кстати, нашел тут – сделанный по-аглички 5 лет назад рассказ о цюпе, мною, послал старику, в напоминание)

с выкрутасами – пишу я, поскольку категорически не желаю, чтобы меня читали читатели – и твоих кумиров: лукьянова, довлатова, шаламова и даже корнилова

и потребители клячкина (и кто там поёт – горбовского?)

и желаю, чтобы меня, в таком случае – вообще не читали

впрочем, и – не читают

берегите мне алика, и себя берегите:

каким бы лопухом ты ни был в изящных искусствах, лопух ты – чистый, не засранный коммерсухой и потребилровкой

кого я круто не люблю – топорова и гурвича-яснова (там), ну и
окужавшую бродского-довлатова сволочь – тут
поэтому, не взирая на вопиющую малограмотность – я вас и люблю

описывай мне, по возможности – о глебушке, о володе алексееве, о себе
(нежно вспоминаю ленкин журчащий, грудной смех – вот это был
подарочек)

а тебе – хоть кувалдой по голове тещи – не втемаяшишь, что есть
ХВОСТ (или, паче -анри)

как не докажешь – пиши, не пиши – отсутствие КАЧЕСТВА у лужьянова-
шаламова

но это дела, тэ-сказать, “литературные”

бытовые же – мы живы, чего и вам желаем

прощаюсь, ибо сил уже нет (высосали 17 гостей), да вчера была премьера
“ВАСИ” гринвич-виллэдже, андрей названивает, новости сообщает

жаль, не попарили ленку в баньке (вас, двух старых плешивых мудаков –
что и парить, не в коня и не в кайф)

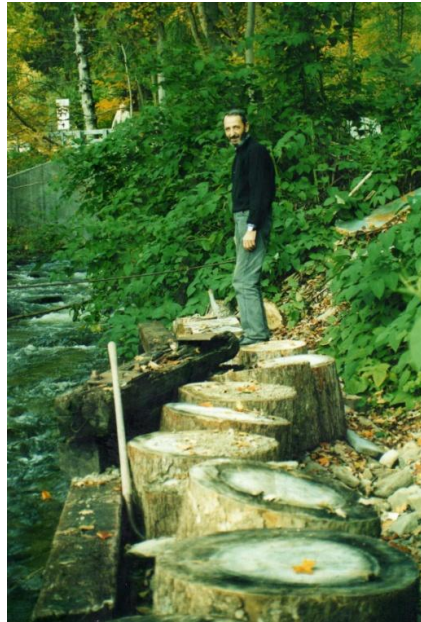
надеемся перезимовать
обнимаем
ККК + мышь (и 4? Кошки,
бессловесные рыбки не в счет)

*P.S. Пишу книгу:
Кузьминский-Папанин, “100 дней
зимовки на западном полу-полюсе”
Для сугреву.*

*рукой Эммы: P.S. Это не слезы
командарма, это капли чая с
ромом, водкой, медом, малиной для
сугреву горла и отсутствующего
голоса. Эмма.*

*P.S. P.S. Спасибо огромное за
Алика, и ему привет.*

*Посылаю фоту: ККК с Юрой
Шевчуком на нашей бамбуковой
скамеечке снимают фильм о... ККК
Эмма 11.12.02*



Михалыч на ручье в Божедомке

МЕНЯЯ ВЕЧНОСТЬ НА РУБЛЬ

“За то, что удалось обнять Алика” в первую очередь следует обнять Эмилию Карловну за её звонок в Петербург, сподобивший Елену Прекрасную клонуть на мою авантюру.

Алика по возможности бережём.

Когда его величают Аликом – очень переживает (Алики ходят под стол).

Всё свалил на тебя, что называю его так с твоей подачи, и привел в пример диссидента Александра Гинзбурга, которого все называли Алик и он совсем не обижался, но это всё равно не помогло.

Пошли на компромисс и в писанине удалось АЛИКА отстоять: менять прописку слишком обременительно, а в обиходе – никаких “толиков-аликов” (после от 16.10.02 г.), где “алики-толики квасят смирновскую”.

Теперь его величаю МИХАЛЫЧ, а он меня ГРИГОРИЧ.

Михалыч (в пределах Ленинградской области) вывозит меня по грибы и на рыбалку, а я его (в пределах Петропавловской крепости) в торгаши.

Издание твоих ПИСЕМ отпраздновали по-королевски (гуляли у Аси Львовны на всё Царское село).

Ещё в ноябре позвонил Володя Эрль и сообщил, что ты берёшь меня в долгу: выкупаешь у питерского издателя ПИСЕМ дополнительный тираж и поручаешь мне его реализовать на территории Петропавловской крепости.

Заявку начинающего бизнесмена записал в амбарную книгу и, присвоив ей инвентарный номер, приступил к предварительному расследованию.

Как удалось выяснить, себестоимость одного экземпляра приближается к шести баксам, в то время как публика, для которой Кузьминский представляет интерес, по моим наблюдениям тянет бакса на полтора, что по отношению ко всему “пассажиропотоку” составляет ноль целых сто двадцать пять тысячных процента, и в результате реализация КНИГИ ПИСЕМ КОНСТАНТИНА КУЗЬМИНСКОГО на территории Петропавловской крепости растянется на несколько столетий.

Меняя вечность на рубль, вышел на торгаша-американца, что воспылал желанием издать твою ЛАГУНУ, но ты его, если припоминаешь, проигнорировал (мой давний знакомец по Брайтону и правая рука моего шефа Коли Меклера Илюша Клебанов).

Этот Илья Муромец (кудрявый породистый еврей) курсирует между Бостоном и Петербургом с заездами на Брайтон и в Москву; в Питере на Крупе (д.к. имени Крупской – главный питерский книжный развал) у него своё издательство РЕТРО и несколько лотков, украшенных, помимо Лимонова и Сорокина, ещё и твоим карапузом Могутиным, так что “кумпашка” вполне приличная; в Америке у них с Колей вся русско-еврейская резервация разбита на сектора (КНИГА ПОЧТОЙ), как стадион имени Ленина между сборщиками пустых бутылок, включая алеутов Аляски и эскимосов с прилегающих районов Чукотки, а пачки при переправе через Берингов пролив, наверно, перевозят на собаках; и ещё филиалы в Москве на ВЫСТАВКЕ ДОСТИЖЕНИЙ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА; и поделили между собой всех русскоязычных “первачей”, и самый из них плодовитый

(ТОПОЛЬ) достался Коле, и теперь в Америке, никто, кроме Коли, не имеет права продавать его книги.

Зато Илюша нацелился на Израиль и заарканил Игоря Губермана, которого теперь издаёт (Игорь Губерман, КНИГА СТРАНСТВИЙ, издательство РЕТРО, тираж 5000 экз.) и ещё Феликса Кривина (помнишь такого?), а в Питере – Марусю Климову.

(Недавно разговаривал с одним мудозвоном, приехавшим на побывку из Тель-Авива, и получил от него любопытную информацию о Моше Винокуре: «здоровый такой пердила и пишет всякую х...ню. Ещё хуже, чем Веня Ерофеев».)

С Марусей, если считаешь нужным, свяжись и узнай, с чем этого богатыря едят? Я думаю, для Лагуны он всё-таки мелковат.

Я дал ему один экземпляр и, ознакомившись, он положил на него глаз: если в выходных данных будет стоять издательская марка РЕТРО, то он готов экземпляров сто взять на продажу (и здесь, и за бугром). Марка РЕТРО, как я понял, нужна ему только в России, чтобы не взяли (при проверке) за жабры. А в Америке эта марка необязательна. Но если бы у него был оригинал-макет, то он бы тебя переиздал сам. И тогда тебе вообще не надо тратиться. В своём издательстве чужую марку никто ему, конечно, не поставит, и я уже не говорю за оригинал-макет. Но, с другой стороны, издатели, насколько мне известно, все эти вопросы как-то устаканивают. Вопросы деликатные, и поэтому я Асе Львовне даже не заикаюсь. Решать должен ты, и, если тебя это устраивает, то я со своей стороны готов проконтролировать, чтобы с его стороны не было никакой отсебятины. И, наконец, если оставить всё, как есть, то возьмёт экземпляров 50 и только за бугор. На «кеш» или в реализацию. И тут уже придётся с ним торговаться.

На Брайтоне книга пойдёт баксов за 8-10, но он, конечно, заломит 5 или 6 (и с каждой книги – если возьмёт торговлю на себя – положит себе в карман, как минимум, трюндель). Сужу по Коле Меклеру. А я бы на Брайтоне заряжал за 10-12. Но, как говаривал Глеб, где ты ещё найдёшь такого второго Толика Михайлова?!

И если на «кеш», то кинет за экземпляр бакса три и ни цента больше. А если в реализацию – то даже страшно подумать.

Ну, прочитают 50 красных эскимосов – и потеряешь 150 зелёных!

И, проштудировав все эти варианты, я сразу же твоему любимцу перезвонил в надежде, что он тебе тут же всё «отъемелит» (по его словам, ты вроде бы меня поторапливал). И вдруг он мне своим удивительным тенорком и сообщает:

– Вы зна-а-ете, Толя, а Костя уже передумал (мол, у тебя теперь совсем другие планы)...

Вот я и не тороплюсь.

Пока экземпляр у американца. Перед Новым годом я ему позвонил, а он, оказывается, уканал к себе в Бостон. На рождественские каникулы. Или, как там у них называется, на Крисмас.

Всё ясно: самые «шалапушки».

Наверно, уже прилетел обратно. И что мне теперь с ним делать?

Всё вспоминаю Молота, какой он молоток: за то что я окрестил Пекуровскую сучкой, пожал мне в знак солидарности петушка, чем вызвал во мне прилив нежности.

У Горбовского вышел первый том семитомника, и опять меня Глебушка огорчил.

Его ВОРОБЕЙ из моей подборки ещё времён твоего ПОДАРКА заканчивался так:

*А сильные скала к скале
лежат, спугнуть его не смея...*

*Он был отбросом на земле,
но был свободен,
был – сильнее.*

Ну, разве будет настоящий антисемит так ОКРЫЛЯТЬ «жидовню»?
Открыл 46-ю страницу первого тома и вдруг читаю:

*А львы молчат, не зная слов,
из-за решётки смотрят косо.*

*... Был воробей свободней львов,
но ковырялся в их отбросах!*

На прошлой неделе гостили Булкины, приезжали на собеседование в ОВИРе и в апреле полетят к детишкам.

Катькин башмак оказался морской волк и ходил, если не заливаает, не раз в кругосветку, а теперь у себя на хуторе ищет при помощи штыря грунтовые источники для колодцев. Как он объяснил, подземную воду могут почувствовать только непьющие (а кругом одна пьянь). А сам он завязал ещё в 79-м.

Обмыли выход в эфир НЕИСТОВОГО ПАПАНИНА, и в своих монологах я уже успел этот факт зафиксировать.

Теперь я вроде твоего Макса Брода.

Всё гоношишься, что стругаешь только набело; а у меня – уже пора сдавать беловик, но всё ещё пустой черновик.

Береги Кузьминишну.

Твой «не засранный коммерсухой и потребиловкой лопух» 21.02.04

8 040 1943

Кому: Михайлов Анатолий
Григорьевич
Куда: ПУШКИНСКАЯ УЛ., д.18,
кв.57

191040



Уважаемый Анатолий Григорьевич !

От всей души поздравляю Вас с праздником – Днём пожилго человека. Это праздник уважения, мудрости, душевной щедрости и зрелости. Это праздник самого заслуженного поколения, прошедшего войны и экономические потрясения, вписавшего славные страницы в историю России и любимого города.

Вы многое сделали для своего Отечества и Санкт-Петербурга, и Ваша забота и самоотверженный труд должны вернуться сторицей.

В этот день хочу пожелать Вам крепкого здоровья, всеобщего уважения и любви. Пусть в ваших семьях Вам будет тепло и уютно, а дети и внуки приносят только радость. Пусть уйдут из Вашей жизни волнения и тревоги, и чувство незащищённости сменится спокойной радостью жизни и уверенностью в завтрашнем дне.

Обещаю, что сделаю для этого всё от меня зависящее!

С глубоким уважением,

Валентина Матвиенко.

Изготовлено ГУП ВПК "ЖС" СПб за. Задание России 1/3 по заказу кандидата на должность губернатора Санкт-Петербурга
Матвиенко Валентины Ивановны. Заявка №25-09-03 Тираж 300000 экз. 26.09.2003г.

ПРАВДА ВОЛОДИ ЭРЛЯ

Чтобы выписать КАПЛЮ, мне потребуется ВЕЧНОСТЬ. Зато Володя Эрль написал о себе правду: СОЧУ МОЧУ.

БЕЗ МЕДАЛИ

Володя Эрль скромно посетовал, что, кроме него, в САМИЗДАТЕ ЛЕНИНГРАДА есть гораздо более достойные люди, но им, к сожалению, уделено всего по несколько строчек, а ему, совсем незаслуженно, досталось целых две страницы. И я решил подвести окончательный итог:

1. Иосиф Бродский (4,45 стр.) – золото
2. Виктор Кривулин (3,12 стр.) – серебро
3. Елена Шварц (2,64 стр.) – бронза

А Константин Кузьминский (1,98 стр.) снова остался без медали.

ЕДИНСТВЕННЫЙ

После своего выступления в честь выхода в России первого тома ГОЛУБОЙ ЛАГУНЫ Володя своим томным тенорком всё хвалился Алику по телефону:

– Вы, зна-а-ете, Саша, я, пожалуй, единственный, кто не лизал Кузьминскому жопу!

ПРИВЕТ ИЗ АМЕРИКИ

Володе Алексееву позвонил какой-то еврей и передал от Гозиаса и Кузьминского привет, и теперь ломаем с ним голову, кто бы это мог быть.

Он Володе всё объяснил и даже договорились о встрече, но Володя был не совсем трезвый и поэтому ничего не запомнил.

ПОДКРЕПЛЕНИЕ ПАРИЖУ

На подоконнике в задумчивой позе бич. И, как и положено закалённому вольнодумцу, весь в волосне.

– Колю Якимчука, – спрашиваю, – не видали?

– Только что, – говорит, – ушёл. – И поворачивает свою кудлатую голову. Примерно твоей конфигурации (если тебя посадить на подоконник). – У вас, – продолжает, – что, поэзия?

– Да нет, – говорю, – проза. А вы кто?

И сквозь волосню уже просвечивает хроническая свинчатка. Но не совсем привычная. Не та, что у Сытного рынка возле пивного ларька, а каких-то нездешних кровей. Это я про его глаза. Где-нибудь смотрятся в районе Южного Бронкса в «трейне». Или на переходе на 42-й стрит.

Оказывается, Флор.

Ну, что ж, бывает. И был даже такой шахматист. Лет пятьдесят тому назад. Вот звали, правда, не совсем красиво. Сало. Зато гроссмейстер.

Но Флор, оказалось, не фамилия, а имя. А фамилия Трубецкой.

Вот это уже другой разговор. И как-то интуитивно интересуюсь.

– А Костю Кузьминского не знали?

– А как же, – улыбается, – кто не знает Костю Кузьминского?

– Вы, – спрашиваю, – не торопитесь?

– Да нет, – отвечает. (Куда ему торопиться?)

И решили с ним пройтись, прогуляться. Я даже разволновался – ведь шуточное ли дело: Флор. Да ещё Трубецкой!

На углу Кузнечного и Лиговки афиша: на фоне ногных знаков танцующими каракулями ШНУРОВ.

Неужели тот самый, твой родимый? Что помогает тебе по хозяйству. Наверно, всё-таки свой, доморощенный. Без Шнурова как без рук.

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД ПАУКИ. ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ.

Ну, надо же – ещё и работают со словом.

– А Худякова, – спрашиваю, – помните?

– А как же, – говорит, – кто не помнит Генриха?

– «Женщина», – улыбаюсь, – «на корабле».

– Он ещё, – уточняет, – шил пиджаки.

И вроде бы вместе с тобой жил на хавире у Некрасова. Где-то в Манхэттене. И называет адрес. Это он про себя. А в конце 80-х был у тебя в подвале на Брайтоне.

– Я, – говорю, – тоже бывал. Только уже не в подвале. А сейчас, – говорю, – Костя переехал. Он теперь живёт в лесу. Прямо на ручье. А в кустах, – улыбаюсь, – пулемёт.

И он мне тоже в ответ так ностальгически улыбается.

– А вы, – спрашиваю, – случайно не из «Голубой лагуны»?

– А как же, – говорит, – конечно, из неё. Мы все из «Голубой лагуны» (как из «Шинели» Гоголя).

Такой романтический диалог. А кругом всё разворочено, перерыто. Эскаваторы, рыжие роботы, катки. Ремонт. Но всё равно толпа. Все спешат на Московский вокзал. И только мы с Флором никуда не спешим. У меня сегодня на Петропавловке выходной. А Флор – тот вообще безработный.

Вообще-то он живёт в Париже. Но сейчас временно здесь. Приехал на похороны друга. И называет фамилию художника. И вот на два года застрял.

И сразу же припомнился с Невского мясник. Его на Брайтоне разжаловали в подносили. Ещё в 92-м. А в 94-м собирал на Бодварке стеклотару. И никак не может уехать. Обратно в Россию.

Флор вообще-то поэт, а по совместительству ещё и шансонье.

– И я, – говорю, – тоже шансонье. Только на слова Пастернака.

– На Пастернака? – Флор на меня так это осуждающе поморщился.

Нет. Он этого не понимает. Слова должны быть свои. А не чужие.

Но мне же Пастернак не чужой.

(Спасибо, что ещё не заклеил. За то что примазался. Таковую я иногда заслуживаю оценку. И мало того, что примазался, да ещё и вдобавок изгадил. Например, Алексеев как-то раз послушал мой «Август» и его даже перекорёжило; и мы с ним в результате чуть не подрались. Да. С Алексеевым шутки плохи. Потом, правда, ещё добавили и помирились.)

Флор продолжает традицию (если я не ошибаюсь) Брейля. И с Высоцким ему тоже не по пути. Высоцкий это борец, трибун. А Флор – чистой воды лирик. И иногда даже участвует в концертах. Правда, всё реже и реже. Вместе с Митьками. Митьки – это его кореша.

– Они, – говорю, – и Костины тоже (в смысле кореша). И даже приезжали к нему в Нью-Йорк.

И ещё его лучший друг – и опять называет фамилию. Первопроходца. Где-то в начале 70-х рванул прямо с пляжа из Евпатории в Константинополь. Или из Ялты. Я уже точно не помню. В резиновой лодке. И несколько лет до этого готовился. Сушил сухари. Его, правда, сразу же взяли за жабры. Со сторожевого катера. Но он всё равно не сдался. И теперь написал воспоминания.

– Да слышал, – говорю, – тут как-то передавали по «Свободе». А милиция, – спрашиваю, – не трогает?

Милиция его уважает. Увидят, что заграничный паспорт – и сразу же под козырёк.

Но, положив руку на сердце, он уже по Парижу соскучился и собирается «паковать чемоданы».

И тогда я решил книжку, которую принёс Коле Якимчуку, подарить Флору Трубецкому. «Петрополь» без меня не рассыплется, а вот Парижу будет серьёзное подкрепление.

Я думал, Флор попросит меня книжку надписать и уже было полез в карман за авторучкой. Но, вместо этого, он как-то скромно потупился и попросил у меня займы червонец. Не то чтобы займы. А так. Просто его одолела жажда. И сейчас ему очень бы не помешало поправиться пивком.

...И, протянув трясущуюся пятерню, в знак благодарности чуть не поцеловал мне руку.

С БЕЛОГО НА ЖЁЛТЫЙ

Вчера Серёжа Ловчановский давал на «Свободе» интервью. Отвечал на вопросы Берга. И даже не заплатили гонорар. Серёжа прочёл про тебя стихи, но Миша сказал, что стихи это уже лишнее.

Берг видится мне переводчиком с белого на жёлтый и выдаст о тебе примерно такой же материал, какой бы ты выдал о Чайковском, предпочитая ЛЕБЕДИНОМУ ОЗЕРУ тот факт, что Чайковский – ПЕДЕРАСТ.

КОКА НИЧЕМ НЕ ПАХНУЛ

Просто разрываюсь, кому из вас отдать предпочтение: Коке или Мике?

«ИЩУ (кто-то сфиздил номер «вестника») – комментирую твоё прошлогоднее ПИСМО, – прозу Миши Берга, где он пишет: «КОКА ничем не пахнул» (позарез нужна цитата!), и далее о том, что Бродскому делали минет, и выражение у Оси было брезгливо-брюзгливое».

А у тебя – слетевшиеся на похорона «осебореанины скопцы» отсасывают у трупа.

Если я тебя правильно понял, то эта крылатая хохма «теперечки» передаётся из уст в уста, а какое было у трупа выражение так «по сю» и осталось «говорением на языках».

КУЗЬМИНСКИЙ И БРОДСКИЙ

Кажется, дошурупил, в чём заключается разница между Кузьминским и Бродским: «сельскохозяйственный рабочий» Бродский в качестве зэка помогал трактористу разбрасывать с трактора навоз. А «возлежащий на диване» Кузьминский в качестве богомаза сходил в этот трактор по-большому.

ПЯТЫЙ ЛИШНИЙ

(трагедия)

Униженный и оскорблённый «Деметр» сам себе высек эпитафию:

«Вдруг впереди всех в очередь становится Бродский.

Памятник Анны Ахматовой (бронзово):

– Извините, Иосиф Александрович, вас тут не стояло!»

Ослепительный «Толяй» оказался в результате козёл, зато мордастый «Женюра» – принц.

И только бедному чародею Коке не нашлось в этой «кумпании» места

НЕСГИБАЕМЫЙ ЧААДАЕВ

(из рубрики жёлтый уголок)

Профессиональный затейник Мика замыслил увлекательный диспут «об оригинальном и подчас вызывающем поведении людей искусства» и не забыл учредить медаль с отчеканенным профилем **человека легенды**, повторившего подвиг проглотившего секретный пакет героя гражданской войны и выучившего при этом наизусть несколько тысяч стихотворений.

Зато романтик Серёжа оказался восторженным зачинателем и нашёл в Циалковском-Папанине мужество «отлучить себя» от назойливых «мичуринцев»; и в результате неsgiбaемый Чаадаев, вместо того чтобы сойти с ума, породнился с прекрасной дамой.

ТИМУР И ЕГО КОМАНДА

В радиопередаче «Поверх барьеров» озадачила Маризгта Чудакова.

Оказывается, ТИМУР И ЕГО КОМАНДА это всё равно что КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА. Только вместо Емельяна Пугачёва – хулиган Михаил Квакин.

КАЗАЧКА ТАНЯ

На телевизионных посиделках ШКОЛА ЗЛОВОНИЯ, обезопасив Андрея Бабицкого, адвокат Генри Резник объяснил: журналиста Бабицкого освободили с его (Резника) подачи по прямому указанию Верховного главнокомандующего...

– Тоже мне, велика птица... – продолжив, не уступая дедушке, дело донского казака Шолохова, возмутилась мадам Толстая.

МЕТАФОРА

Когда я работал на Чукотке, в диоритовом отряде обязанности повара исполнял поэт Коля Аржаник. У него было тяжёлое детство, и к моменту нашего знакомства он уже отмантулил два срока за бандитизм.

Из его стихотворений мне запомнились такие строчки:

Я с ханьгами возле реки
подпираю штакетник забора.
Я считаю в руках медяки
и скребу на бутылку кагора.

А из наших литературных диспутов врезалось в память его удивительное открытие. Что выражение «пошёл ты на х...», оказывается, метафора.

КРАСНЫЙ ПАРОВОЗ

Проштудировав на Крупе всё новьё, вдруг наткнулся на брошюру Всеволода Некрасова, где тот обрушился с обвинением в адрес Кузьминского, что он (Кузьминский), будучи ещё в Техасе, в начале 80-х подставил (уже не помню фамилии) – ни то художника, а может, и поэта, и за такую подлянку он (Некрасов) готов теперь «плюнуть Кузьминскому в рожу».

Решил купить и уже в Нью-Йорке засомневался – давать её тебе или не давать – документальную бомбу, где твой товарищ по оружию хватает тебя за руку. И когда всё-таки вручил, то был озадачен твоей реакцией: твои «мохнатые рты» обозначились репейниками восторга.

И сразу же припомнился эпизод, как ещё в 70-х (я работал тогда экспедитором в «Союзпечати»), закончив развозку газет, мы взяли (с букетом сиреневых гиацинтов) озабоченного клиента, и тот, вдруг велел тормознуть, оставляет нам в залог червонец.

– Я, – говорит, – сейчас... – и, расправив свой букет, выскакивая, хлопает дверцей.

И минут через десять возвращается уже без букета: под глазом – свежий фингал и из разбитого носа прямо на белую рубашку вытекает «красный паровоз». А сам такой счастливый и чуть ли не потирает руки.

Ну, а финальный аккорд прозвучит на «олеандре камней миссалонги», увенчанный спором: оставлять или не оставлять на пергаменте артпартии «Правда» узор Всеволода Некрасова? И твой праведный гнев, что Севка Некрасов – это же высший пилотаж! И уж его-то – кровь из носа – ты как штык оставишь и, грудью на амбразуру, никому не позволишь обижать.

КОГДА НА СЕРДЦЕ ТЯЖЕСТЬ

1

19 января в Ледовом дворце состоялся гала-концерт, в котором принимал участие Александр Городницкий. Но ещё в декабре уже висели афиши, где авторы-исполнители были набраны крупным шрифтом, в то время как Михаил Канэ, будучи внештатным аккомпаниатором, был изображён шрифтом помельче.

А я – ведь я же совсем не бард и даже не исполнитель – вообще на эту афишу не попал.

Все музыку сочиняют, а я её просто слушаю. Услышал – и прямо с листа пою.

И даже не пою, а точно **раздвигаю стены**. Как написал о себе Валя Лукьянов, *я размуровываю стены*.

2

Двадцать пять лет тому назад в фойе клуба «Меридиан», что на Петроградской стороне, с Мишей меня познакомил сам Александр Моисеевич.

А с Александром Моисеевичем я познакомился ещё раньше в Москве. Мой друг готовил КаэСПэшный концерт и, пригласив автора Атлантов на прослушивание, ознакомил его с моими мелодиями, одна из которых была на слова Городницкого. И (незвизрая на её простоту) Александр Моисеевич мой музыкальный перевод не забраковал.

И на этот же текст сочинил свою музыку и Серёжа Никитин. Но если в Серёжином кабаке под шелест тёплого дождя «пустился в пляс огонь», то мой кабак – барак на Колымской трассе, где вместо ревушего бубна – бубнящий со стены репродуктор, а вместо «связки дров» – моя размолоченная в щепки гитара.

И мы с Мишей решили слепить радиопередачу на слова Глеба Горбовского в музыкальном переводе Анатолия Михайлова с аранжировкой Михаила Канэ. И я с бутылкой даже ездил к Мише домой, но дальше этого разговора дело почему-то не сдвинулось, и мы его отложили до лучших времён.

А через три года я перевёл Валью Лукьянова и по старой памяти приехал в «Меридиан», где на правах маэстро Миша принимал в «клуб менестрелей» пятнадцатилетних девочек и мальчиков.

Я поздоровался:

– Миша, привет! Вот, – говорю, – привёз тебе подарок. – И уже протягиваю ему свою кассету.

Миша на меня посмотрел и говорит:

– Пожалуйста, встаньте в очередь.

И я его сначала даже и не понял. Наверно, думаю, шутит. Или не узнаёт.

Потом пригляделся и вижу, узнал. Узнал своего товарища по струне.

– Ну, ладно, – говорю, – всё... пошутили...

А он смотрит мне прямо в глаза и улыбается.

– Вы, – говорит, – мешаете мне работать.

...И во время перерыва я подойду к Городничкому и познакомлю его с Аликом. И Александр Моисеевич, хоть и прошло уже четверть века, всё равно меня узнает. Ну, а Миша, наверно, опять предложит мне встать к нему в очередь на рукопожатие...

3

Я купил два билета, и мы с Аликом договорились, что встретимся за полчаса до начала на платформе в метро у первого вагона. Начало в семь, и я приехал в половине седьмого. Но Алика почему-то нет.

Обычно он приезжает примерно за час (Алик никогда не опаздывает). И всегда с рюкзаком, а в рюкзаке у него лекарства от астмы, и надо их по расписанию принимать. И вместе с лекарствами – во флаге запивон.

Толпа всё редеет и редеет, а его всё нет и нет... Уже 15 минут восьмого, и в знак солидарности (не идти же одному) я поднимаюсь на эскалаторе и оба билета толкаю.

Дома Ленка меня спрашивает:

– Чего так рано?

Я говорю:

– С Аликом что-то случилось. Не приехал.



Позвонили сначала Нине, и Нина сказала, что с Аликом всё в порядке.

– В начале пятого, – говорит, – уже уехал...

И мы с Ленкой нашли в справочнике службу, где всех, кого подобрали на улице, берут на карандаш. Но нам объяснили, что сведения о пострадавшем поступят к ним не раньше, чем через шесть часов.

– Звоните, – успокаивают, – после двенадцати.

А примерно в одиннадцать Алик нам позвонил сам. Оказывается, он приехал в половине шестого и всё меня стоял и ждал. Но вместо проспекта Большевиков проскочил на улицу Дыбенко и, точно Атлант над «ступенями Эрмитажа», простоял у первого вагона ровно четыре часа.

ПРОЩАЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

Уже на носу март, и у Алика завтра закрытие сезона – прощальное выступление в спорткомплексе «Зенит».

Накинёт на плечи рюкзак, а в рюкзаке – помимо лекарств и запивона, фигурные коньки: такие изящные башмаки чуть ли не до самых колен, ещё трофейные, их в 46-м году Алику подарил папа. А до этого Алик катался на «снегурочках» или на «английском спорте», прикручивая их проволокой к валенкам.

В свои шестьдесят семь Алик «наверчивает» такие па, что ему бы позавидовал и сам «Александр Герцевич», и я уж не говорю про бабушек и дедушек, что со своими внучатами и внучками сразу же прекращают разговоры и некоторые даже записывают очерёдность Аликиных выкрутасов себе в блокноты.

Этим ботинкам, выходит, уже под шестьдесят, и Алик их трепетно бережёт и примерно раз в пять лет штопает и укрепляет, и в особенности надо следить за крючками для шнурков, а сами шнурки нужно как следует натягивать крест-накрест, чтобы не болталась нога. А чтобы коньки не разьежжались, все их сдают в мастерскую, но там могут сточить лишнее и нарушится рисунок лезвия, и поэтому Алик предпочитает не рисковать и точит их обычным бруском.

И, если выйдет солнце, то он пойдёт прямо через лес, можно, конечно, доехать и на троллейбусе, но Алик предпочитает ходить пешком, часа примерно полтора, и когда мы с ним ходим за грибами, то всё ещё удивляется, какой я тихход; зато я тихход «небесный» и, когда ещё на Чукотке намылились в маршрут, то, чтобы я потише ходил, товарищи засунули мне прямо в рюкзак булыжник, но я, витая в облаках, как-то размечтался и даже не обратил внимания.

И Алик, хотя и не уступит вездеходу, но всё равно тоже витает, а иногда и поёт, какой-нибудь старинный романс, кругом дымы и на зелёных лапах белые попоны, а он себе летит и выщёлкивает рулады; и почему-то вспомнилось, как ещё в июле шестидесятого во время свадебного путешествия я со своей «медовой» катался по притоку Днепра на лодке и нам навстречу попалась стоящая на корме корова, хозяйка переправляла её на остров, где самая сочная трава; и вдруг послышалось женское пение, а если женщина поёт просто так, Алик считает, что эта женщина обязательно хорошая.

МАНТИЯ ВЕЛИЧИЯ

С собачьей нежностью
 глядят на меня глаза
 писателей русских
 и умоляют: подохни!
 Откуда же эта лакейская злоба,
 это холуйское презрение
 к имени моему?
 У цыгана хоть лошадь была –
 я же в одной персоне
 и лошадь, и цыган...

О.Мандельштам

Прочёл в «Четвёртой прозе» – и сначала подумалось: Костя. Но примерил к твоему халату, и, к сожалению, рост оказался не твой.

*8 маурта 04
 михайлову-хеккерману (броду)*

помесь олеши, хармса и довлатова

*молодость в жопе играет
 старость из жопы сосёт*

*толя-толя
 прочёл с удовольствием и с раздражением: ну чо ты так всериоз – над
 почеркухами
 не можешь ты играть – играючись*

*лёгкости довлатовской не достиг (да темки – еврейскости, либо смерти,
 к примеру – не дозволяют)
 отстранённости олеши – тоже (да и писал тот – езопово, от цензуры)
 хармсовского сюрру – тож (не по зубам)*

*но всё это – в твоём характере, барана – перед новыми воротами
 вечно тебе надо – до упора (до усёра?) дойти
 сформулировать асю (пекуровскую) “сучкой” – невелика формула: все они
 (женщины) – суки
 а то б – давали, не глядя*

*я вот вике говорю: 90 % баб, коим я писал стихи, мне не дали
 а она: ну и я – 90 %-м мужиков – не дала!
 нашла, чем гордиться*

помимо: дешифровщика-комментатора надобно (эряя пополам с мейлахом) – изъяснять, кто есть хуй: половина имен – ведома лишь тебе (не мне даже)

начиная с лукьянова (не путчиста – этот на сайте)
а вторая половина – сплошь хрестоматийная, наоборот

сделать бы к “монологам” АКАДЕМ-примечания, для смеху
(Оно не так, как эта идиотка клебанова – к гаврильчику) а – эрлеобразно

словом, я-то – “доволен”, а как на это посмотрит малообразованный
(единственный) читатель?

вся гиштория нынешняя – строится, увы, на анекдотцах: что сталин
сказал михалкову, ВМЕСТО: досье, кто такой михалков (с подробным
перечислением: кого заложил, кого задушил)

но НЕ ХОЧЕТ народец – покаяния
напрасно исач с тихоньчем взывали...

и довлатов, и ты – к нему, к анекдотцу
(потому и гарик-губерман, и веллер, и кого там ещё твой бизнесмен
издавать собирался?

задорнова-жванецкого? которому ты меня сватал)

всерьёз – никто не хочет никого и ничего

вот – биляди и пишут (имелькова – последнее наказание для венички...)
я ж её предыдущую книжку прочёл уже – под всеми успела отметиться

(как её кузина тут, лиля панн)

а публика – жрет, ей по вкусу

ася – сумасшедшая, потому и издала “писма” (убрав, вычетом
страстного предисловия, всю себя – вплоть до фот)

спасибо тебе, кстати, за фотки ее, и глебушки
ваши милые рожи (и леночкину – увел бы!) мне и так помнятся, как вчера

сам же катишь на берга – что всё сведет к анекдотцу, передачку

спасибо за книжицу твою – всю в цюпе (без ЕДИНОВОГО поминания имени
его – в выходных, нигде!)

впиши хоть в малый тираж – от руки

поэтов – если я не знаю – и ты мне не откроешь

ну, алиутов: раскрыл в четырех местах – средне-советский совок

*только в сыктывкаре и издавать
не хуже и не лучше всего печатного*

*я имел дело – с ДРУГИМИ поэтами, отличавшимися и друг от друга, а не
токо от совка*

*которых – не спутаешь
что шир, что чейгин (охапкин, куприянов, кривулин...)*

*а ваще, толик, Бог те в помощь, резвись
всё лучше, чем людёв убивать*

*“верю, ибо абсурдно”
творю, ибо – бессмысленно
сапожник хоть сапоги тачает, пирожник печёт (их же?)
а поэты...*

*... сделал тут в декабре выставку “барачников”
с сотней фот, видео и пр., и пр.
из всего отобрали – 2 дюжины картиночек (в рамках), везти в питер и в
москву (“со своим самоваром в тулу”)
я – устранился*

*ругаюсь с загданским (“вася”): в фильме “кося” – ему не нужны папуасы
и лолитки (“публика не поймёт”), а фотографии моих и мышых бабок и
дедок*

*мне же, напротив, по барабану – что дед (и родители), что ахматова-
настернак*

*я об них как-то меньше, чем о папуасах и несовершеннолетних лолитках
думал*

*мучусь с романом: всю последнюю главу, из похоронок – мыши клеить
вручную, а мне, не умеючи – сканировать и компьютерить*

*вдобавок, холера с пензией (опять сняли), бедный молот отбивает, звоня
по сотне телефонов клеркам*

*а заработанное немногое – я уже спустил на десятки новых клинков и
натуральные эскимосские муклуки из тюленьей кожи, старые, полувекковые
(но носить ещё, надеюсь, можно)*

сейчас вот на сигареты занимал

*касательно 750 на допринт – это ася в ноябре написала, что ТЫ хочешь
ещё 200 копий дотиснуть*

– ну, подсуетился, немедля достал

*не получив от тебя никакого ответа в декабре ж – плюнул и купил
туркменские чапан и тельпек (и камчу, серебряную, с гранатиком), не считая
халатов*

кого что интересует – кого шаламов, а кого – миклухо-маклай и зулусы, турреги, курды, папуасы, индейцы яномама (продолжить)

собрал сотни фот голеньких девочек всех мастей – со старых фот и открыток, из книг по этнографии

(старых же), что-то и у лёни ризениталь нашёл (но больно понтово-красивое)

вот это и не могу объяснить тому же андрею: он меня держит за европейца, а я – папуас

он по фрейду меня изучает, а я себя – по мантегацце (кстати, ВЫШЕЛ у вас, уже купил-получил)

паоло мантегацца, из которого вышли все эти фрейды, крафт-эбинги и даже блох...

так что разговор у нас – в два монолога

про гаврильчика – нет ничего, что я не знаю (разве детальки)

про кого говорить-то?

не про лужьяновых же (уже)

лимонов и могутин – своё ОТЫГРАЛИИ (интересны были мне – в своём поэтическом начале)

как и я им, впрочем, и что об их говорить?

маруся климова – вещь в себе (на уме), с ней вежливо переписькались она сосёт у французигов, а мне и они не интересны

словом, монолог – он и есть монолог

и диалога при том не требует

лучше б – подсуетился “писма алику” издать, на манер аси, ему было писано – огого

на печать наскребу, а доход – вам двоим

мне вот как-то лень (да и некогда) своё “полное собрание” готовить

друг саиша розенитром (ученик губанова) – лет 10 уже мечтал издать “академическое” (при том, ВСЯ работа – оказывалась на мне), сейчас издаёт в москве детские книжицы (изд-во “август”)

послал ему свою прозу-коллаж (более чем ауто-био) – не хочет

писма дара (и ДАРУ) – надо поднимать полку просеивую

ася там что-то чирикает-хлопочет, но полку буду двигать – к концу (и при условии – “без купюр”, не как у меня)

а моя переписка с милославским...

словом, непечатый край

*да и сейчас – куча почты не отвеченной (емельной)
карябать на машинке, как ты (с зачёркиваниями и вклейками) – мне
сейчас как-то уже смешно
да и медленно*

*править – себя! – если уж враз не написалось, то не стоило и тюкать в
клавиши*

*90 % в антологии – БЕЛОВИКИ (я ж не идиот – себя перепечатывать)
научился, мал-мал*

*чтоб потом асенка собирала консилиум редакторов корректоров-
наборщиков (у постели шибко больного, графоманией), изготавливая книжицу –
из готового...*

*и просит меня – поблагодарить всех и каждого: кириллыча, алёшу, кого-
то ещё...*

*а “комментарий” (“отдельным изданием”) – подождёт полного
академического*

когда уже – НЕКОМУ комментировать будет

... вот, перечитывая с начала – нашёл 2-3 оцепятки, поправил

“я набело пишу...” (чейгин, 70-е)

*лучше б – научился б ты компютору (та же машинка, но – с памятью),
завёл бы емелю*

тады б и не ждал – по три месяца

но вас, старых пердунов – не научишь

а мне пришлось, с 87-го

*... понравилось писмишко ком. сучки татвиенко (которой ...издятинка
беломлинская песенки пишет – ссылаясь на ученичество у меня и ХВОСТА.
послал, далеко и подале)*

и не пугай меня “клебановым” – одну я уже “знаю”

во-во, феликс кривин – совковое уёбище № 1 (как не помнить!)

и на хуя ему маруся?

*экземпляр лучше забрать у мериканца – и отложить для меня (анри?
моих поросят тут?...)*

глеб пакостит и портачит стихи – как только может из всех вариантов отбирает самый худший – в окончательный

а лида-жопа (и малограмотная), печётся – а проку?

ей только в “авроре” редакторствовать (с помянутым в антологии результатом...)

прочёл её интервью максимке гликину – и сблевал (дура есть дура, совковая при том)

... как хороша 1-я (5) стр. алексеева – и как ублюдочно-казённо – и 3-я (степанов), и аннотация (50), и какой-то кречетов на задней обложке...

шадрунов – нормально (“как все”)

но дальше читать чего-то расхотелось (такое впечатление, что уже – читал)

то ж и с апухтиным (или аликутовым-бейлисом?): 3 стишка коли рубцова “о море” – стоят всех 100 (300?) стр. этой сов. морской лирики...

сплошной черноморский поэт иван рядченко (знаете такого?)

даже не гриши поженян...

не, толик, эта “литературка” не по мне

мне б “литературы” б...

да где? с 17-го по 37-ой повыбили (а дальше и выбивать было некого)

кто-то там почирикал на западе – чириков, набоков-сирин, бунин-шмелев, мал-мал поплавский

и ша

а уж питерская 60-70-х – её и не было попросту

сделал я в 74-м “лепрозорий-23” – половина всяких нынешних лауреатов, типа гальперина и т.п.

а прозы-то и не было

и мышшь никак не может найти ТРИСТА стр. машинописи, год уже чтоб хоть глянуть

сделал я здесь – “лепрозорий западный”, те ж 23 прозаика, ещё в техасе (валяется, к набору)

ан и нет никого и тут

впрочем, и там

вычетом говноеда сорокина (экстра-класс мастера), да пелевина, вялого кононов, болмат, курицын (под ксюндаминтом, юлька-пизда привезла, тусуясь), крусанов...

маруся климова – и то лучшие их всех (нафранцузившись)

не вдохновляет

ладно, чо-то я расписался

час ночи, сил уже нет

*поцелуй ленку (нежно-нежно), обними алика (братски) и всем –
конногвардейский привет
твой КККрпоткин
спасибо тебе за память*

рукой Эммы: Толя, Леночка!

Спасибо за чудные фоты. Кто снимал? И все подписаны, что очень здорово и необычно. А когда накапливается их за 28 лет – сотни, сотни – то уж и не вспомнить, кто есть кто и когда.

Очень миленько, что Вы поддерживаете Алика. Мы его очень любили и любим...

Толя, в общем, всё, что вы прислали (литературу Вашу), интересно... Костя, хоть и хаял, но и хвалил, когда читал.

Щас все пробудились и все вступают в переписку с ККК. Хотят издаться?

Огорчительно только, что до нас дошло всего 8 экз. “Пишем ККК”, а людей “близко-хороших очень” – есть некоторое кол-во, и все хотят, а купить негде.

Но – моё мнение – переиздавать не надо, пусть она затеряется в пространстве. Э. К.

*Приветы всем, Алику, Асе Львовне, любовь и благодарность, Бореньке.
Пэ.Эс. Эрлюше, тоже*

СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ

Затовариваясь изделиями для торговли, обратил внимание на копилку, выполненную в форме твоей отрубленной головы.

Решил сделаться антикваром и, водрузив приобретённую обную на письменный стол, забросил в её щель все накопившиеся за несколько последних лет МОНОЛОГИ.

А если потом потрясти, то с каждой вытряхнутой монетой придётся разбираться со всей ювелирностью: соответствует она или нет заложенному в твою забубённую голову золотому эквиваленту.

Выражаясь высокопарным штилем, БОТАТЬ ПО ФЕНЕ с Кузьминским равносильно тому, что перед выходом на ринг околачивать «келдышем грушу». И иногда берёт сомнение: а не гоню ли я БУРЮ В СТАКАНЕ и не сражаюсь ли я с тобой в КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ?

После моего знакомства с Михалычем (ну, и, конечно, с Асей Львовной, а также с Серёжей Ловчановским и Володей Лапенковым), образовалась удивительная КАПЕЛЛА, где в качестве СКРИПИЧНОГО КЛЮЧА всех нас (а недавно к нашему квартету прибавился и ещё один фигурант – Борис Александрович Кудряков) объединяет из ряда вон выходящее ЯВЛЕНИЕ ККК НАРОДУ.

И в этом ХОРАЛЕ считается правилом хорошего тона всю сложность и противоречивость его не совсем уравновешенного характера возводить в какую-то саму собой разумеющуюся добродетель. И в результате ККК (или как его иногда называют ласково КОТЯ) сделался для всех нас вроде нашей любимой КОТЯРЫ, которой всё дозволено и чью «особенную статью», несмотря на все её непредсказуемые закидоны (когда во время «течки», перекатываясь по паркету, метит свою территорию), мы всё равно (и даже ещё упорнее) ОБОЖАЕМ.



Михалыч, Лена и Ася Львовна

Как уточнил бы Борис Александрович, весь этот лирический гоголь-моголь «писан» мной ещё и «для разогреву трицепса», (а познакомил нас и привёл его к нам на Пушкинскую Алексеев, по чьей рекомендации Б.А. когда-то сторожил в Свечном переулке «объект») Кстати, сегодня Б.А. придёт к нам с Ленкой в гости, и теперь каждая с ним встреча для нас не то чтобы тревожный укор, а скорее восхищение (но с привкусом печали) припухающим в чистом поле колючим чертополохом.

И в прошлый раз Борис Александрович нам с Ленкой рассказывал, что был на вашей свадьбе с ЭКП фотографом и что у него даже есть кадр, где ты изображён со своей дочерью (ещё не видя этой работы, я уже заранее её полюбил).

А Михалыч вчера рассказал, как встретил Б.А. на «собрании секции» (где-то в своих трудах на подобном мероприятии ты присутствуешь в качестве «домового» и, если мне не изменяет память, всенародно портишь воздух) и как они потом ходили «с Борей в Борей».

Ещё до Нового года на тусовке в музее Достоевского читал свои

МОНОЛОГИ и даже квакал, изображая тебя с рюшечками и в сарафане. И все чуть не писались кипятком, а Дима Северюхин, такой импозантный и весь из себя энциклопедичный, даже взял меня за лацкан.

– Будем, – улыбается, – делать книгу.

Правда, сразу же предупредил, что без выплаты гонорара.

Я говорю:

– Пойдёт. – И принёс ему отпечатанные на машинке листы, копию с которых присылал тебе. – Костя, – улыбаюсь, – уже ознакомился и не забраковал.

А он, когда всё прочитал, то почему-то спал с лица.

Звоню, а он услышит мой голос и тут же меня отфутболивает к своей секретарше. А секретарша мне так это вежливо и сообщает, мол, вы, пожалуйста, извините, «но он сейчас на консилиуме».

Опять звоню – а он, оказывается, только что уканал. И будет теперь уже после каникул. Такие вот редакторские штучки. Зато пополнил мою копилку.

А на презентации журнала «Чё», похоже, пошёл на попятную, и мы с ним даже дружески чокнулись.

Я, правда, его так это шутливо подковырнул.

– От Северянина, – говорю, – до Северюхина...

Но он почему-то даже не обиделся.

А на тебя он за что-то очень зол.

– Вот, – говорит, – сука!

Вроде бы ты его не совсем заслуженно обосрал (и это на тебя похоже).

КУЗЬМИНСКИЙ И МИХАЙЛОВ

На очередной тусовке проквакал отрывки из МОНОЛОГОВ, и Дима Северюхин сразу же предложил напечатать отдельной книжкой.

Вот это я понимаю.

Но после ознакомления с рукописью, как-то даже за меня покраснел.

Всё ясно: на тусовке я угощал исключительно Кузьминским, а в рукописи появилась отсебятина.

Примерно так же когда-то отреагировали на моего НЕБЕСНОГО ГОСТЯ в редакции журнала «Юность».

Им нужен Бродский, а их угощают каким-то Михайловым.

КРАСИВАЯ

На бенефисе Толи Домашёва, когда речь зашла о Кузьминском, решил сделать Тамаре Буковской комплимент.

– Костя, – улыбаюсь, – всегда был вами восхищён, какая вы красивая.

Я думал, она придёт в восторг, но, вместо этого, Тамара надула губки.

Вот если бы ты так ценил её поэзию!

АВТОГРАФ

Валера Мишин подписал мне свою книгу и, узнав, что я её приобрёл за семьдесят рублей, уточнил, что теперь она будет стоить на целый порядок выше.

А мой напарник по Петропавловке, подогревая интерес к своему путеводителю, на рекламе СВОЮ КНИГУ ПРЕДЛАГАЕТ АВТОР сделал приписку АВТОГРАФ БЕСПЛАТНО.

- - -

В качестве подарка к 16-му апреля посылаю про тебя и про Бориса Александровича такой перекрёстный двуптих. Эти два листа рекомендую склеить, и тогда получится пергамент.

Прочитав, Б.А. даже совсем не поморщился, и для меня это уже большой успех. А когда я читал у Аси Львовны (она нас периодически всех собирает, и мы по очереди (каждый что-нибудь своё декламирует или поёт, а ты, как будто вместе с нами, возлежишь на диване), то Михалыч даже пожал мне петушка. А он вообще-то к моим выкрутасам очень строг. И даже Ленка – и та удивилась: такой по жизни мудака, а на бумаге сразу же делаюсь Чаадаев.

Эммилии Карловне, как всегда, низкий поклон. И от меня и от Ленки.

И ещё от меня привет Саше Когану. Всё жду, когда приедет к нам в Питер. Ведь он же обещал.

Пока вроде бы всё.

Твой сынок Толик и Елена Прекрасная

03.04.05

(почти как у Вознесенского: 10 9 8 7
только наоборот)

и приложением к этому письму

**ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ККК
ОТ ГРАН БОРИСА**

Дорогой Костя, я немного приболел. Тяжёлый гриб-п.

Сейчас оклемался. Сажу у Толи Мих. Пью настоящий капиталистический чай. Сервелат, сыр, шпинат.

Немного грущу. Прости, что не отвечаю сразу на письма. Твоё письмо читал несколько раз и перечитывал.

Костя, спешу поздравить Тебя с Днём рождения.

Твоё вечно юное сердце и молодой нерв пусть будут такими же всегда во славу Божедомки и во имя негибаемой Русской литературы. Храни тебя Солнце, Венера и Пенелопа (заодно с Мельпоменой!!)

Твой всегда. Борис К.

поклон Эммилии Карловне

(приятная нувель-новость)

Общим собранием «Красного уголка» № 189 при ЖЭКе имени Вано Мурадели и Немировича-Данченко постановили считать Костю Константиновича К. лидером литературной ОП-ПОЗИЦИИ! Без разрешения оно сокупно.



БОЖЕСТВЕННЫЙ ЗУД**Памяти Бориса Кудрякова***Хребты сгибающая тяжесть
на горы брошенных небес...*

В.Шаламов

ничейный брат кудряков
перламутровым сверчком свиритит на этюдах
в расщелине шифера шельфа
дрейфующей льдины-галоши
помойки штрека шахты № 13/86 бис
что у станции броневая-2 октябрьской ж.д.
и раз в две недели производит санацию черепа
рыльца героя № 64 нашего времени

маменькин сынок ккк
возлежит куклуксклавишей на диване
у моста через речку делавер
на берегу ручья лордвилль-божедомка
где хозяйничает добродушный опоссум
и два раза в неделю эммилия карловна подберёзкина
делает своему небожителю педикюр

замахнувшийся на небеса хворостиной матадора гусей
голодный как волк и голый как сокол
раскочегаривая печь
холодный как русское поле
кузьминский суров как исав
и прежде чем попасть на блюдо
в конструкции своей вавилонской башни
воспламеняясь мерцанием чешуи красногубой плясуньи
всё шуршит и шуршит секирой божка
покатившейся головы

зело хмуриша солно горяче дрочило
схлопоташа не бесно пищаль кикимо
зьминский гол как сокол и суров как исав
отсекоша на блю
до октавы
сотворите креста сини звон вавилонскую башню
упадая зане чешуи красногубья пляс
и секирой божка всё шуршит и шуршит
покатиша ку-ку

в противоположность
своему покалеченному подельнику
гран борис обитает без крыши и стен
и даже без маникюра
воспламеняется шуршанием кикиморы
за складным столиком
гаснувшей опушки навалившейся темноты
фиксируя звуки наката запаха памяти
всё прихвачено морозом
на печи прохладно – минус восемь
и уже не течёт

вознесённые в небесную окоlesiцу
товарищами по заточению
по ту сторону зла и добра
пахари с большой буквой
соловеют амбарами зерна
и бороздя нерукопашную мздулю
ворожат обрушенный им на плечи
божественный зуд

2006

ЗЁВ СУДЬБЫ

*Люди мне простят от равнодушия.
Я им, равнодушным, не прощу.*
А.Галич

Мои душевными индикаторами всегда служили (и служат до сих пор) **Высоцкий, Окуджава и Галич** (конечно, мальчишество, но так уж я для себя зарубил): наморщил хлебало – значит нужен глаз да глаз.

Но это художники публичные, в том смысле, что они на слуху, а **Валентина Лукьянова** знают единицы – и тут мой критерий уже несколько тоньше: воротит рыло – значит туши свет.

И когда в музее Достоевского я читал и **Кремль, и Снежные бабы**, то зал чуть не вывернул коллективную скулу.

19.02.2008

ЛЮБОВЬ ЗЛА

Здравствуй, Костя.

Наконец-то, созрел и сжал в «один громящий кулак» все твои (ко мне) «письма» (включая и посланную в прошлом году почему-то Михалычу, но предназначенную мне **сагу о Лукьянове** и, перемежав их **монологами**, ещё и освежил дождавшимся своего часа **ответом** на «**рецензию-94**».

Свой трепетный труд я посвятил Асе Львовне, и Ася Львовна к моей радости дала ему высокую оценку, в то время как Михалыч за то, что я «использовал его доброе имя в своих корыстных целях», на меня осерчал, и это очень печально.

Не взирая ни на какие «саги», мы с Ленкой всё равно тебя любим, и с опозданием на 30 лет я по достоинству оценил 1-й том твоей **лагуны**.

Как видишь, дело всё-таки сдвинулось, и, похоже, лет через 200 освою тебя окончательно.

От Елены Прекрасной привет, а Эммилию Карловну, как бывало велено тобой, «облобызать».

Твой так и
«не засранный коммерсхой сынок»
27.02.09

да в курсе мон анатоль...

к тебе и к ленке со всей симпатией – всегда и навечно

*но зачем же воду в ступе переливать
паче – пуцать в бой каких-то ублюдков с графоманских сайтов
поклонников не того лукьянова*

я-то поклонник

почему и писал «сагу»

зачем и так несчастного поэта – курочить? ВРЕДактурой...

диалоги СЛЕПОГО с ГЛУХИМ

ДВУХСОТ ЛЕТ у нас нет

*антология ВСЯ в сети (с дополнениями) – доступна любому идиоту
имеющему доступ к компьютеру*

не заметил чтоб много

не идиотов а – читателей

идиотов-то как раз хватает – и даже с лишком

как хватало ВСЕГДА

лезю писю

работаю всякое разное

*а ЦЮПА по-прежнему – «безъязыкий»
так картинками
потому как рассказан но НЕ НАПИСАН...
вычетом по-аглички – для нортон... завершив
а о нём можно ежели не роман то – повесть...
не рассказ даже*

*помню и люблю
и его и вас*

ваш ккк

Толчѐшь воду ты.

пущать в бой каких-то ублютков...

Опять окрыляешь меня рвануть на кухню и, вытащив из помойного ведра веник, связать в коробке из-под бананов ещё одну **берёзовую кашу**.

зачем и так несчастного поэта – курочить? ВРЕДактурой...

Считаю, что ты просто обязан внести в свою **лагуну** ещё одно дополнение и, покаявшись, встать перед образом **ПОЭТА** на колени.

Желательно на горох.

Разбор твоего **разбора** (как результата проделанной работы), завершившегося в гостинице под Прагой, опускаю: ты его уже получил; но главное, это всё равно ничего не меняет (см. моё предисловие к **ответу**).

Что касается ЦЮПЫ – читай мою повесть «Грустный вальс» («Новый мир» №4 за 2010-й).

Твой дальний родственник Толик
(с фотографии, венчающей
рассказ Бабеля «Письмо»)

*толя милый
да НЕ НАДО со мной «об литературе» говорить
ты в ей – анално-чувственным проходом понимаешь и базаришь
как дебил варлам тихомыч – слал на равной стишки... веронике тушиновой
и ПАСТЕРНАКУ...*

*а потом со стервой «колёсиком» н.я. мандельштамхой – «разбирал»
лит-ру:*

НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА И ВАРЛАМ ТИХОНОВИЧ
О КОНСТРУКТИВИЗМЕ И «ОПОЯЗе»

«Я пользуюсь этим выражением, помня о том отвратительном значении, в котором ёмкость выступала у конструктивистов. Вот ведь было антипоэтическое течение.

Там не было поэтов совсем, кроме Багрицкого, да и тот поэт ничтожный.»

(В.Ш. – Н.М., Москва, 29 июля 1965)

«Я читаю «Проблему стихотворного языка» Тынянова. Это в общем малозначительно. Просто начитанный мальчик, узнавший, что такое фонетика.

Но я пока только начала читать.

(Н.М. – В.Ш., 1967)

(«Переписка Варлама Шаламова и Надежды Мандельштам», публикация И.Сиротинской, «Знамя», 2/92, февраль, стр. 162, 169)

...Солидный орган никак не прокомментировал эти весомые заключения двух литературоведов. Я ужю прокомментирую, солидным органом...

Следите за рекламой!

из мово:

ЯЗЫК СОЛЖЕНИЦЫНА

(материалы к изучению современной советской и антисоветской классики

/и к изучению изучающих её/)

Издание ПОСЛЕДНЕЕ исправленное и дополненное с присовокуплением новых и иных материалов)

Подвал /Брайтон-Битч 1991 – 1999 – 2001 – 2007

Куринохуйск/Божедомка

багрицкий поэт естественно ничтожный

и конструктивисты и ваще гавно

тынянов же...

...наденьке – «колёсику» – по пизде бы мешалкой

а тихоньчу – второй срок

(как я нагло пожелал а.жигулину в 62-м – чтоб НАУЧИЛСЯ писать...)

НЕТ смыслу спорить-говорить с тобой об поэзии

паче – лукьянова или кого

НЕ интересно мне толик – разжёвывать азбучные истины человеку (пусть милому) малограмотному (или вовсе не грамотному)

паче и графоманьём твоим твоих «товарищей»

не тот уровень разговору

я с сельвинским-асеевым лаялся ЗНАЯ их до строчки – в 64-м

и сука бобышев с женой рейном – ЗНАЛ все 3 издания улялаевщины (см. мумуары девочки-димочки)

да печатай ты этого мини-поэта лукьянова и наивного примитивного искреннего цюпу – как хошь

мне вот с ЧУРИЛИНЫМ бы разобраться...

с 62-го года копаю... да «не академик» – и в библиотеки-хранилища не захож...

*с НИНОЙ ХАБИАС
МАРИЕЙ ШКАПСКОЙ и МАТЕРЬЮ МАРИЕЙ (КУЗМИНОЙ-КАРАВАЕВОЙ)*

с глухой поэткой 1930-х в берлине – ХАРИТОНОВОЙ, забыл...

«своих»-то поэтов – современников и собутыльников и «врагов» иных я знаю лучшие чем они себя

только за кривулина – ТРИ раза подборки переделывал (а надо б – и четвёртый...)

ПОМИМО 9 ТОМОВ АНТОЛОГИИ – выложено ещё до хуя дополнений статей публикаций и т.д.

сейчас вот – не сможи купить издания 30-х (по 30 + долл.) – выпросил у инны черток в Канаде – ксерокопии луговского прокофьева саянова тихонова...

сделала – а купил я у неё 1 (одну) книжицу – «15 республик» гены Цыферова с иллюстрациями вити щапова, первого мужа графини щаповой – лимоновой – де карли – за 20

надо бы поднять-осилить тему «конец баллады – балланда» – от гумилева-тихонова – до прокофьева-дуговского-мартинова...

а ты мне всё лукайнова ошмётя жуёшь

кушай сам на здоровье

(с ним бы я ещё поговорил – да поздно...)

о вдовах...

вдова лёни Губанова СМОГа 1 – сделала из него говно – полное и окончательное

вдова «кики» шатрова («белокурого ангелочка пастернака» – отдала покойника на разбор «литературоведу» г. приходько

прислала – хорошо хоть мудака этот – ЦЕЛИКОМ разбираемые стихи цытирует...

(и можно выкинуть всю его хуйню)

и т.д.

поэтов-то и художников «мы» наплодили малость (не сравнить с 1907 – 1937 правда!)

а вот литаратуро и искусство – ВЕДОВ – хуёушки: это ж не призвание, а ПРОФЕССИЯ

редакторы-совки (типа и.кузьмичёва – стукача) – хотя бы ДЕЛО своё знали

пробивали лучшее в печать – обходя цензуру и препоны

глеба соснору кушнера

ПЕРЕПИСЫВАЛИ мудака-графомана солженицына – сделал классикой

(мою многолетнюю иссию о «языке» его – и денис иоффе не смог пробить-напечатать, шлю старый файл – к которому прибавилось...)

горячие поклонники – толики михайловы и их друзья – напечатают любую хуйню исаича/лукайнова – но не о них

защитники бля отечества

и будут осваивать профессию ВРЕДАКТЬИРА – с четырьмя классами и поварской школой (как юпп)

*бывшие курьерши лениздата и корректорши – стали нынче
вредактыршами*

(мужикам запахло за такую зряплату)

*и правят – МИЛОСЛАВСКОГО, меня, и мою редактуру
путешественника толика шиманского...*

так что – генуг трепаться – об Лукьянове (первом втором и третьем...)

не – до – того

своих (поважнее) дел хватает

фильм об антоне

монография васи ситникова

на свои-то книги – я давно уже забил болт

не в коня корм

обнимаю однако ж

а спорь – САМ с СОБОЙ

кы – кикк он же ккк-махно (крапоткин)

Костя, милый.

*«жужа ошмётъя мини-поета лукаянова» в одной упряжке с «дебиллом варламом тихонычем» и «мудаком-графоманом солженицыным» и, «понимая в ей» (в литературе) «анально-чувственным проходом» я представляю тебя моим героем с Покровского бульвара по кличке Рука, горделиво хвастающимся, сколько он уже успел замочить фраеров; но в особенности печатляет пассажи, где ты (конечно, шутейно, ведь ты же не «автор» «Тихого Дона») поёшь своим собратьям по перу МНОГИЕ ЛЕТА: **а тихонычу – второй срок**» и, точно любуясь своей искромётностью, в подражание Александру Сергеичу (ай да Коська, ай да сукин сын!) **кокетливо** уточняешь: «(как я **нагло** пожелал а.жигулину в 62-м – чтоб НАУЧИЛСЯ писать...»)»*

И ты, конечно, прав: теперь мне остаётся спорить САМИМ С СОБОЙ, и, как в счастливом детстве, будучи маленьким мальчиком, я играю на своём письменном столе в большой футбол, где пуговица от дедушкиных кальсон – Костик, а пуговица от папиной пижамы – Толик.

А на табло – рефреном – и с этим уже ничего не попишешь

любовь ЗЛА
полюбишь и кузьминского

И на этой высокой ноте и завершаю наши с тобой **МОНОЛОГИ**.

05. 03. 09
Пушкинская

да ОСТОПИЗДИЛИ мне ВНЕ-литературные идиоты – кумиры идиотов же

*попса бя поголовная
для попсюков же*

*вот и «спорь с собой» пригодишка из 2-го класса – по «родной речи»...
о двух лагерных ублюдках*

*не о весёлом же и колбасье с тобой говорить (и ещё сотне имён)
паче о джойсе-миллере*

*а о довлатове – говори сам с собой
и изучай – лукьянова*

*случалось в пивных говорить в б2-м – о беранже и флобере – с
читателями – есенина с тем же успехом*

*некогда мне этой хуйнёй заниматься – обсуждать-перечитывать
гениальные строчки лукьянова гениально прочтённые и поправленные
Михайловым*

*по-человечески ты мне симпатичен (как, возможно, был бы и он) – но к
ЛИТЕРАТУРЕ это не имеет никакого отношения...*

*твой ккк
утомлённый как солнце
(паче – «моно-диалогами»...)*

*п. с: о ЦЮПЕ – по-прежнему нет ни рассказа ни газеток ни...
ленке нежный привет – она-то ни в чём ни повинна...*

ДУША И МОРДОБОЙ

Каждая встреча с Валентином Лукьяновым для меня праздник души. Зато каждая схватка с Кузьминским – карнавал мордобоя.

СЕРЕБРЯНЫЙ БОР (фрагмент)

ККК и ЭКП
в память о Божедомке

*Стихи не могут пасти,
Судить и головы сечь,
Но душу могут спасти
И совесть могут сберечь.*

В.Корнилов

Таксист, хотя и творил чудеса, но мы всё равно опоздали.

Я посмотрел на часы: уже половина десятого. А договаривались на семь. И не успели ещё захлопнуть у лифта дверцу, как чуть не столкнулись с вышедшей из Володиной квартиры парой. Я нажимал на кнопку звонка, и те, что вышли, уже спускались по лестнице.

Мы с Володей обнялись, и я познакомил его с Леной.

Лена застенчиво улыбнулась и протянула Володе руку. Она сказала:

– Очень приятно...

Володя огорчился:

– Дашка теперь расстроится. Всё не ложилась, всё ждала Толю Михайлова...

И убежал, скорее всего в комнату к Дашеньке. Но Дашенька, похоже, уже спала. А завтра как ни в чём не бывало пойдёт себе в школу. А потом прибежит и, такая счастливая, выпалит:

– Папа, пятёрка!

Интересно, а учителя, наверно, тоже всё знают. Что её папа – «враг народа».

Володя между тем возвратился и подтвердил:

– Спит... жалко будить... ну, ладно... ничего... проходите...

Я Володю спросил:

– А кто это... сейчас... только что от вас ушли...

И оказалось, Войнович с Сарновым. Всё ждали Володиных песен да так и не дождались.

Я даже вскрикнул:

– Как Войнович!!! – и чуть было не рванул за ними вслед.

Но Володя меня остановил и объяснил, что Сарнову надо ещё погулять с собакой.

И познакомил Лену с Ларисой.

На Ларисе были кремовые брюки и зелёный в полосочку свитер. А поверх свитера ещё медальон.

Лена мне потом сказала, что Лариса очень современная. И в особенности Лене понравилась у неё фигура. Как-никак, а всё-таки уже за сорок. Доставая

фужеры, Лариса присела на корточках, и Лена ей даже позавидовала. Самой Лене так нипочём не присесть. Лена говорит, что у Ларисы фигура, как у девушки.

Лариса привезла с кухни уже знакомый мне на колёсиках столик. На столике в окружении тарелок с закусью стоял графин с водкой. Я вытащил из сумки бутылки и присоединил. Кассета уже стояла на магнитофоне, и Володя наполнил фужеры.

Я предложил:

– Ну, что, будем слушать, или сначала выпьем?

Лариса закричала:

– Давайте и то и другое... Володя, включай! – и я запел «Тихого карлика».

Володя меня похвалил:

– Какой у тебя, Толя, красивый тембр голоса...

И Лариса Володю поддержала.

– Да, Толя, у вас, действительно, очень красивый голос... Вот бы такой Володе.

Я засмутился:

– Да при чём тут мой голос... – И Лариса предложила за мой голос тост.

... Володя поставил фужер на место и, скомкав салфетку, бросил её на поднос.

– Мне, конечно, приятно, что песни на мои слова, но хотелось, чтобы меньше было меня... и больше Толи Михайлова...

Я возразил:

– Как это больше Толи Михайлова... ведь слова-то твои...

Но он не согласился:

– Ну, и что же, что мои? Ты должен мои стихи мять... ломать... ты должен их терзать... как женщину...

При этих словах Лариса расправила по брюкам свой свитер и, демонстрируя фигуру, закинула ногу на колено.

Она с гордостью посмотрела на Володю и заулыбалась:

– Мужчина должен быть сильным!

Я спросил:

– А как же Окуджава?

Володя возмутился:

– А что Окуджава?! Стихи у него слабые. Голоса нет. На гитаре играть не может. А всё вместе – ничего и не скажешь – гениально... Помню, как-то в редакции... смотрю... на столе бумаги... читаю... что-то дверь... метель... Я ему говорю: Булат, что это за стихи? Графоман какой-то... Ну, он ничего не сказал... убежал... А после слушаю... песня... гениально...

Лена посмотрела на Володю:

– Вот... послушайте... – я как раз пел самое её любимое.

**«На заливе, на пляже, – я уже чуть ли не плакал, – ветер вдоль-поперёк.
Как уснувшая стража, закован ларёк...»**

– Это Глеб... – я опять повернулся к Володе, – узнаёшь? Глеб Горбовский...

... Одна сторона плёнки закончилась и, выключив, я всё ещё колебался.

И всё-таки спросил:

– А ничего, я ещё записал на стихи моего товарища?..

Володя закивал:

– Конечно, конечно...

Я перевернул кассету и, открутив конец плёнки, прицепился к бобине. Но бобина оказалась шерботая, и плёнка из неё так и норовила выскользнуть. Но вот, наконец, зацепилась, и я снова нажал на клавишу.

Лариса захлопала в ладоши:

– Всё. Слушаем.

Володя обхватил ладонями скулы и, уставившись в половицу, застыл.

Лариса сидела в кресле и смотрела на кофейник. Кофейник стоял на подносе, и рядом в стеклянной вазе лежал недоеденный кусок торта. Наискосок от недопитого фужера сиротливо просвечивал уже пустой графин. В плетёной корзине на фоне печенья «Садко» желтели хрустящие хлебцы.

Лена пристроилась на тахте и смотрела на магнитофон. На магнитофоне крутилась кассета, и на приёмной бобине колёсико плёнки становилось всё толще и толще.

«Стоит кругом затишье. Студёный ветер стих. Лишь изредка задышит с равнины белый стих», – спел я последнюю строчку, и наступила тишина.

Володя разжал на висках пальцы и встал. Потом снова сел. Он сидел и молчал.

(Наверно, так потрясён, что всё ещё не может прийти в себя.)

Я спросил:

– Ну, как?

Его как будто прорвало:

– Ужасно.

Я не понял:

– Что ужасно?

Володя отрезал:

– Всё.

Потом подумал и повторил:

– Всё, что я здесь услышал.

Лена повернула ко мне голову и улыбнулась. Она пыталась меня поддержать. Лариса сидела в своём кресле и всё разглаживала на себе свитер.

И как-то всё ещё не верилось:

– Да?.. – и мне вдруг захотелось встать и уйти.

Володя всё сидел и молчал, и тут его прорвало уже не на шутку.

– Да это ещё хуже, чем Долматовский... того хоть можно понять... а это...

– и в каком-то бессильном негодовании даже махнул с досады рукой, – да это просто преступление перед поэзией!

Преступление?!.. Это уже что-то новое. Такого я Володю ещё ни разу не слышал.

Я закричал:

– Да в чём же... в чём же... преступление?!

Володя даже вскочил и от волнения открыл сначала рот, и там, во рту, как будто засорилась раковина. Или попало не в то горло.

Конечно, Володю можно понять. Сам всё выворачивает, корчует, а тут вам, пожалуйста, птичка...

Да какое он имеет право?! И чем он это право заслужил?!

Володя уже чуть ли не задыхался.

Он закричал:

– Ну, вот... есть масса... масса поэзии... хорошей... плохой... посредственной... но всегда... всегда хоть одна строчка... но запоминается... а здесь... ни одной... ни одной строчки... которую бы захотелось запомнить... здесь мне любая строчка... любое слово... ничего не даёт...

Тут он ещё раз задумался и после паузы уточнил:

– И никому ничего не даёт!

Это было для меня так неожиданно, что я чуть ли не залепетал, как тогда у Шаламова. Но только не «Варлам Тихонович... Варлам Тихонович...», а «Володя... Володя...».

Уж лучше бы, как Варлам Тихонович, схватил бы меня за шиворот и со словами «Только через Союз писателей! Только через Союз писателей!!!» показал бы мне трясущимся пальцем на дверь.

Я закричал:

– Ну, давай... давай конкретно... докажи!

Володя даже и не моргнул:

– А чего там доказывать... ну, как там... как там у него... про Серебряный бор...

При этих словах Лариса на своём кресле насторожилась и как-то даже вся напряжинилась. Как будто для прыжка.

И на тахте Лена тоже насторожилась. Но только совсем по-другому. Даже не насторожилась, а просто приготовилась. Точно к удару кнута. Или к пощёчине. Она мне хотела помочь, но силы были слишком неравные.

Я закричал:

– **«Бор Серебряный. Литые сосны».**

Володя меня перебил:

– Стоп, стоп. Почему Бор Серебряный, а не Серебряный бор? Ну, почему?

– Что, почему? – я Володю не совсем понимал, – ну, что, почему?

Но Володя стоял на смерти:

– Почему бор Серебряный, а не Серебряный бор?!

– Да потому что не Серебряный бор, а бор Серебряный.

Володя стал объяснять:

– Когда мне говорят вместо Серебряного бора бор Серебряный, то я дальше жду откровения ... ну, например... не Петроградская сторона, а сторона Петроградская...

И я его снова не понял:

– Ну, и что?

– Как, ну и что? – и теперь не понял меня уже Володя, – ну, например... жизнь наша... блядская... а что там у него?

– А у него, – я даже засмеялся, – а у него «Литые сосны».

Володя поморщился:

– Литые сосны... ну и что? А мне неинтересно.

Я удивился:

– Но почему?

Володя отрезал:

– Неинтересно – и всё.

Лариса закричала:

– Ну, давайте дальше...

Я закричал:

– *«Бьёт сиреневую лапает солнце»*

Володя поморщился:

– А почему сиреневую?

Я замахал руками:

– А как же у Пастернака... помнишь... там у него... как это... про грозу...

«и в полдень лиловы глаза и газоны, и пахнет сырой резедой горизонт?»..

Володя опять возмутился и тоже перешёл на крик:

– Пастернак!.. – его возмущению, казалось, уже не было предела, – да это... да это же... тайна...

Лариса снова заторопила:

– Ну, давайте, давайте дальше!

Я заорал:

– *«Глушь наваливается, лучась, проговариваясь, шепча»*

Володя засомневался:

– Это в Серебряном бору глушь?

Я насупился:

– А что, не похоже?

Лариса поморщилась:

– А я вообще не люблю описания природы... Что это такое? Пейзажики...

Правда, Володя?..

Володя не согласился:

– Нет, почему же... но должна... – он всё никак не хотел слезать со своего конька, – но должна же быть тайна...

Лариса повторила:

– Да. Не люблю.

Я огрызнулся:

– А как же Пастернак?

Лена ласково на меня посмотрела и прошептала:

– Успокойся.

Лариса поглядела на свои ногти и снисходительно улыбнулась:

– Ну, Пастернак, Толя, это совсем другое дело. У Пастернака, Толя, за пейзажем... ну, как бы это вам объяснить...

И вдруг как будто перетасовала все карты:

– К чёртовой матери пейзажики! – и с этими словами как-то вмиг ошетинилась. И голос при этом сделался у неё какой-то чеканный, почти металлический; наверно, ей даже и самой понравилось, такой пируэт: сначала всё так нежно, гладко... и вдруг потом раз – и к чёртовой матери!!!

Уже было решила: ну, всё, посылаю в нокаут! Но в последний момент всё-таки передумала и вместо «хука» протянула мне руку помощи.

– Стихи этого поэта, Толя, может, и неплохие, но в них за пейзажем... не чувствуется мысли. Верно, Володя?

И, точно преодолевая не совсем приятную болтанку, Володя тоже пошёл на снижение.

– Ты, Толя, на меня не обижайся. Мне твои песни очень нравятся. Да и поэт этот, конечно, незаурядный... И книжку свою он ещё издаст. Вот посмотришь. И не одну. А две... три... пять... С такой поэзией всегда можно прибиться к какому-нибудь берегу... Но, как поэт, я всё-таки не могу его включить в десятку... – и тут он стал перечислять, – Пастернак... Мандельштам... Ходасевич... Нет, не могу... – и закончил своё перечисление Слуцким.

Я его перебил:

– Понимаешь, Володя... ты не подумай... ты для меня ... – я всё никак не мог подобрать нужного слова, – ты для меня всё равно... остался... – и я встал.

И Лена тоже встала. Она мне прошептала:

– Успокойся...

Я предложил:

– У тебя, Володя, есть ножницы?.. Давай, мы эти песни на слова моего друга простоотрежем. И тогда они не будут тебя раздражать.

Володя уже успокоился совсем. Он засмеялся:

– Зачем же отрезать? А может кому-нибудь из наших друзей понравится...

Лариса склонилась на Володино плечо и с какой-то лукавинкой сделала мне реверанс:

– А, может быть, Толя, мы ещё и сами послушаем повнимательнее... Вы не огорчайтесь...

Лена меня уже чуть не поглаживала:

– Ну, успокойся, успокойся...

И так они до сих пор и стоят у меня перед глазами. Володя и Лариса.

Лариса, хотя и нежная, и томная, но всё равно негибкая и цельная. Жена поэта. И Володя, хотя и бородатый, и мужественный, но всё равно беспомощный и добрый. Поэт.

Он мне наговорил целую бочку арестантов. А я всё равно верю не словам, а Слову.

Потому что я ему верю в его «Заполночи». И ещё потому, что так всё-таки хочется дожидаться рассвета.

БАТЬКЕ МАХНО

*до последней родинки
и до боли
лютой*
К.К.

Америка с «зачморенным» Кузьминским
так сиротлива, точно камень без косы.
Ты не родня: родня венчается удавкой –
и не родник -
ваятель
 сточных
 ям
 вол
 дыр –
свербит
 зудит
 саднит
 и мухоморит
 душу.
А скovyрнуть – и зараженье крови.

НА ОГОНЁК

Константину Кузьминскому

А когда уже совсем неумогу и рукой на горле – чужбина, – ноги сами
выводят на огонёк.

Точно в керосиновую лавку. Где вместо канистры – чистый лист бумаги, а
вместо керосина – тоска.

Неразделённая тоска по несуществующей Родине.

В МИРЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

В мире домашних животных Кузьминский точно вымирающий зверь,
которым всё никак не налюбоваться через решётку вольера.

И непонятно с какой стороны.

СКОРЕЕ БЫ УТРО

(Lordville – Божедомка, октябрь 2002)

А было всё равно что в детстве: откроешь ночью глаза, и всё ждёшь – скорее бы утро. И целый день всё маешься – когда же, наконец, вечер. А вечером на стадионе «Динамо» – футбол, и центр нападения – Константин Кузьминский.

Февраль 2012
Пушкинская

КРАСНЫЕ КОГАНЫ

У твоего перекручённого «Хвостика» (пусть земля ему будет пухом) из его «Вальса-жалобы Александру Исаичу Солженицыну» в особенности окрыляют «чавкающие болотной слизью» **красные коганы**.

А Сашу Когана (из Пятигорска), отмантулившего ночью на день твоего «народнения» из Хэнхока восемь миль, я помню ещё по 93-му, и передо мной его подаренная мне в то лето отпечатанная на машинке подборка.

Анатолию Михайлову на память. Встретимся в Питере.

Саша
11 мая Нью-Йорк

*Тишина приходит изнутри
белым, оглушительным молчаньем.
Так молчат под снегом пустыри
в декабре, каким-нибудь случайным
днём без века, года и числа,
не означенным ничем особым,
если верить чистоте стекла,
и за ним – нетронутым сугробам.
В этом вечно длящемся «сейчас»
нету смысла, времени, пространства.
Втайне совершается от нас
жизни колдовство и самозванство,
доводя молчанье до конца.
Тишину как заповедь нарушив,
речь идёт от первого лица
через смерть и пустоту снаружи.*

ЛЁНЯ КОСОГОР

Когда-то, ещё на Покровском бульваре,
мне объяснили, что такое фраер:
люблю блатных, но воровать боюсь.

Моя настольная книга –
«Записки диссидента» Андрея Амальрика.
Но я бы никогда, наверно, не осмелился
выйти на Красную площадь
с Натальей Горбаневской.

А. Михайлов («Записки диссидента»)

*Облака плывут в Абакан.
В милый край плывут – в Колыму...*

А.Галич

О том, что Лёне больше уже *не сидеть, словно лорду, в пивной*, узнал из Лимоновского мартиролога.

По свидетельству Лимонова, Лёня гордился, что *о нём* «есть несколько строчек у **Солженицына**», и все эмигранты так Лёню и звали: «мужик, о котором есть у Солженицына».

А я горжусь, что у *меня* есть несколько строчек **о Солженицыне**, и что с подачи Толстого Лёшки (хоть он и сучара и гондон) Солженицын, тем не менее, – *моя кликуха*.

По сравнению с Лёней, я, действительно, фраер: выйдя из окружения, Лёня десять лет *протрубил по тем лагерям*, а я, попав в окружение, даже не вышел на Красную площадь.

Но мою прозу Лёня не забраковал – и для меня это – Нобелевская премия.

Когда мы в 94-м прощались, ты пожелал мне *счастливого гулага* и был, конечно, прав. Но и я тоже прав (и Лёня бы со мной согласился), что Россия – наша *братская могила*.

Входящие

Сжатая ZIP-папка

Отправленные

Черновики

Спам очистить 1Корзина очистить

Настроить папки

Все непрочитанные письма

Все отмененные флажком

Архив Mail.Ru Агент

Письмо предыдущее следующее**Директ** Ищешь отель в Египте? Отзывы и рейтинг туристов, карта отелей. Выбери подходящую гостиницу! www.tips4travel.com **КНИГА!**

От кого: kkkuzminsky <kuzminsky.lzhno@gmail.com>

Кому: "Mihailov Anatoly" <gusev40@mail.ru>

Копии: "ginevsky" <algin1938@bk.ru>

9 апреля 2012, 17:07 **важное**

5-я «книга аси»: филиппов, письма, дар... памяти влапенкова и – вот!

утешил – не зря 15 лет бил тебя по голове
вместо зарисовочек-почеркушек (тиснуть там, ляпнуть тут...) –
вполне полноценная и живая КНИГА-КОЛЛАЖ
лучший подарок к 72-летию и за труды мои по промыванию
мозгов (упёрто-бараньих)
теперь мыш кайфует – микроэлементами про глебушку,
алексеева, корнилова, конькобежца алика (не знал!)...
вполне органично вплетающиеся в картинку
... но ЦЮПУ – надо переводить заново с НАРИНСА – а коган
слинял на брайтон где пьёт, «улав навсегда от деревни...»...

СПАСИБО
разутешил
НЕ ожидал

Mail.Ru Агент

10.04.2012

*возвращаясь к теме
о холодном теле
птицы сирены меня не отпоют
друзья в озверении по-чёрному запьют*

*и отнюдь не «коку»
поминая коку*

*холодно на этом а на том хана
там не будет свету даже из окна*

*в бурке папахе
помогут закопают*

*будут надо мною морковки расти
каждую не можно чтоб сжать в горсти*

*на рынке сокол
сорт свежий «кока»*

*летом теплень в огороде под москвой
будет только овощ отдавать тоской*

*сорт с горчинкой
не солить не перчить*

*над соцветьем бабочки будут летать
бабушки будут полоть и поливать*

*вырасту гряну
на родину гляну*

*вот тебе и тело из глины в глину
журавли потянутся клином к клину*



Сюзанна Масси,

КОНСТАНТИН КУЗЬМИНСКИЙ

(1940 – 2015)

Константин Кузьминский живёт для поэзии. Это человек настолько одержимый любовью к поэзии и искусству, что они полностью поглощают его, и он никогда не перестаёт говорить о них, забывая о еде, сне и времени. Его память необычайна. Когда другой поэт забывает свои собственные строки, Кузьминский подсказывает их без запинки. Он посещает каждое чтение и изучает развитие современной Ленинградской поэзии в течение 10 лет с полной самоотдачей.

В своём любимом Петербурге он знает каждую улицу, каждый камень. Архитектуру этого города он называет «застывшей музыкой». И нет в Ленинграде такого здания или памятника, о котором он не мог бы произнести речь. Он впитал культуру двух с половиной веков истории своего города и с обречённостью звучат его слова: «Я не могу жить без этого».

Как все, кто абсолютно убеждён в чём-то, Кузьминский не может не спорить. Порой его раздражают даже самые близкие друзья. Служение идеалу красоты – анахронизм в мире машин и общественного устройства XX века. Его путь будет тяжёлым везде – и особенно в России. Чересчур откровенный, по-боевому настроенный и живой, он презирает заискивание. «Даже в школе, – вспоминает он, – я каждый день бывал наказан за свой осиный язык».

Глубокие знания и аналитический ум, а, возможно, в ещё большей степени, – страстная преданность жизни и слову, – определяют его стремление к утверждению своих идей. Он – теоретик, критик, учитель, и друзья у него повсюду, во всех кругах – это поэты, художники, музыканты, танцоры, инженеры, спортсмены, рабочие и учёные. Он постоянно окружён их вниманием. Они оберегают его, ссужают деньгами, беспокоятся о его здоровье. Они не всегда понимают его и часто не оправдывают его поведения, но относятся к нему с особой нежностью и сочувствием. «Бессеребрянный» – прозвали его (это слово обозначает человека, чуждого материальным выгодам, человека, который ставит свои идеалы выше общественного положения).

Он отдаёт всё, что может, в кармане его нет ни гроша, его время принадлежит всем, кто окружает его. Несмотря на глубоко критический подход, он обладает безошибочным чувством прекрасного и признаёт и

превозносит таланты других. Он выслушивает каждого поэта, который приходит к нему, и судит о работах каждого известного ему художника. Он вдохновляет всех, побуждая сделать всё возможное для достижения совершенства. «Для проникновения в суть искусства поиск должен быть индивидуальным».

Каждую ночь этот странный, одержимый человек бродит по городу вдоль каналов и набережных, мельчайшие детали которых он знает и любит. У кого только не бывает он в городе, пьёт, разговаривает. Бесконечные беседы о поэзии часто затягиваются до утра. Он читает стихи всем: и таксистам (они благодарят его), и даже в милиции, когда пьяного, его забирают туда. Его развевающуюся бороду и волосы, его высокую и худую фигуру не спутаешь ни с кем, и во время этих прогулок его узнают и останавливают на улице знакомые самых разнообразных профессий. Порою кажется, что он не родился, как все, а скорее сошёл со страниц Достоевского.

Жизнь Кузьминского – своего рода отражение современной жизни Ленинграда. Его отец изучал живопись и дизайн в Ленинградской Академии и окончил её в 1934 году, став талантливым иллюстратором. Но это было время, когда все индивидуальные поиски были задавлены сталинскими чистками. Его мать стала преподавателем механического проектирования в институте математики. Константин родился 16 апреля 1940 года за 14 месяцев от немецкого нашествия. Его отец был в армии офицером связи. Он сражался за Ленинград и умер от ранения в 1941 году. Мать сделала всё возможное, чтобы вырастить сына в условиях блокады. Как тысячи других детей, он страдал от цинги, плохого питания и дистрофии. Несмотря на то, что теперь, с годами физической работы, его тело приобрело упругость и силу, его здоровье, как и у Виктора Сосноры, страдает от последствий тех ужасных лет.

В возрасте 8 лет Кузьминский поступил в школу с английским уклоном. Там он приобрёл постоянную любовь к английской литературе. Он хорошо говорит по-английски, хотя редко имеет возможность практиковаться в разговорном языке. Позднее он изучал в Университете биологию («Я любил всяких змей. Я жаждал увидеть Южную Америку и Африку. Но вместо этого я проштудировал всё это в библиотеке и отправился путешествовать по России»). С 1960 по 1963 годы он работал жокеем, рабочим и гидрологом на Чёрном море. Он поступил в геологическую партию и отправился в экспедицию в Сибирь. Однажды, заблудившись в дебрях тайги во время пожара, он без компаса прошёл через лес 55 миль в поисках деревни. Он получил ожог лёгких и поправлялся всю зиму. Именно в эти месяцы он начал писать первые стихи.

В 1963 году он вернулся в Ленинград и работал подсобным рабочим в Эрмитаже. Он был одним из десяти молодых людей, в обязанности которых входила расчистка тротуаров перед музеем и уборка залов. Восемь из десяти были поэтами или художниками, и не объединиться они не могли. В одном из залов музея художники организовали выставку своих работ, но на другой же день начальство передумало, и выставка была закрыта. Во время процесса над Иосифом Бродским они писали письма в его защиту. Кузьминский был уволен.

В течение 1963-1967 гг. он большую часть водил экскурсии (всегда с русскими и никогда с иностранными туристами) в великолепно восстановленных дворцах Петергофа и Павловска. «Там я воспитал вкус к искусству и архитектуре», – говорит он. В этих огромных дворцах ему известна чуть ли не каждая хрустальная ваза, любой стол из красного дерева, каждая картина. В это же время он посещает кружок поэтов, который дважды в месяц встречался с Татьяной Григорьевной Гнедич, известным ленинградским педагогом, поэтессой, специалистом по Байрону и поэтам Викторианской эпохи. Кузьминский работает у неё литературным секретарём и под её руководством начинает переводить Байрона. Татьяна Григорьевна называет его «весьма одарённым», поощряя и разбирая его работу. В это же время Кузьминский публично выступает со своими стихами и переводами из Байрона в различных библиотеках и лекционных залах.

Некоторые его стихи были положены на музыку, одно из его ранних стихотворений, «Туман» стало шлягером и часто исполнялось на набережных Невы в белые ночи.

*Сюзанна Масси, 1972
(из книги «Живое зеркало:
пять молодых поэтов Ленинграда»)*

К. Кузьминский
СТИХИ И СТАТЬИ

ТУМАН

очень серый
в городе
туман
облепляет голову
туман
одинок и холоден
туман
серый
в сером городе
туман

обними её крепче
туман
загляни ей в глаза
туман
упади ей на плечи
туман
обними
как меня обнимал

не забыть её плеч туман
не забыть её плач –
обман
замерзают в тумане
дома
то обманет
то манит
туман

тишина
и белесая тьма...
ни тебя...
ни меня...
туман...

1959

КОМАНДИРОВКА ОТ ОБКОМА

Что Луга? Где её луга?
Её порушенные церкви,
газоны, магазины в центре,
мы проезжали мимо Гатчины.
Тычинками антенны
торчали с крыш. По сторонам –
постройки, новые отменно.
И ветчины хотелось нам.

Поля. Оранжевый «Икарус».
Церквей нагие костяки.
Ты вспоминала: «Костик...», и
тогда мучительно икалось.
Табло... Гранитный коннегабль...
Мальтийский крест в тех водах плавал.
И в треуголке – с тростью – Павел...
Но не гарцуют кони там.
И церкви. Выбитые окна –
в них ветра свист. Кривится крест.
Толпой спешат пейзаже /кресть-
хресть/ -яне тож. В кино. Ни охнуть
и не вздохнуть. Вздохну о прошлом.
О прожитом. О горсти лет.
И каждый, будучи опрошен,
покажет гордость – Горсовет
в модерном стиле /Bauhaus/.
Кривые улицы – к реке.
Я рот разину в крике – э,
увы! – в канаве бултыхаюсь.
Где Луга?
Гул колоколов
у безъязыкой колокольни,
колодец, лужи у околиц –
но нету лиц. И ни колов
нет, ни дворов. Дворец Культуры.
Суконный зал, плакат, графин
и семеро глухих графинь
в поддѣвках, три солдата, дуры –
дары нещедрые твои.

Поэты олухи. О Луга!
Орёт ОРУД. Я рад. О, ругань
сорвётся с уст моих воин-
ственных /естественно и просто/.
Но нет. Я встал и прочитал
поэму «Томь». И ни черта
никто не понял. Смолк. И просто-
/ах, эти Фили!/ – фили просто
заплодировали. Зал –
мужицкий терпеливый зад –
всё вынес. Красная, как простынь,
краснела скатерть за меня.
Потом читали – Бен, Ирэна
/как минареты Бенареса/.
Я Асю Векслер заменял,
или Максимова. Кучинский
был белокровен. У афиш –
народ. Но разве удивишь
его фамилией «Кузьминский».

Потом – вокзальный ресторан
и абстинентские замашки,
и на меня глазели Машки –
и я ответственно взирал...
Вокзал. Топтание у кассы.
И провонявший потом ног,
на пол похожий потолок...
И луком, уксусом и квасом
вонял вагон, битком набитый,
и на пол шелухой сорил.
Но над тупой толпой царил
российский /дух его/ напиток.
О этот дух – я в доску пьян,
его нюхнув. Но сжат телами –
потел. Потерею таланта
весьма был озабочен я.
Вокруг качались чьи-то морды,
а я, в чужие груди вмят,
читал. Но голос мой невнят-
но гас. Я обращался к мёртвым
/глазам, грудям и лицам тож/.

От этого мне становилось тошно,
я читал, и девы млели,
и сигареты тихо тлели.
Я ждал. Но не всадили нож.
Вагон корзинами, тюками
набит. Набрюшники и ткани
нас разделяют. Fatum. Но желание
во мне угасло:
её увидел я: в венце
сияла кукла. И в лице
/и в лицезрении напрасном/
я толку не нашёл. На шёлк
её ресниц взирал бесстрастно
и снова я подумал: шёл к
её глазам берет. Лиловый
дым сигарет щипал глаза.
Тогда подумал я: а за
что я страдал? Командировочных
мне не выписал обком,
и Клара Плешкина украла
рабочий день, а не кораллы.

Я не печалюсь ни об ком,
но о себе. Зажатый в угол,
раскинул руки я крестом,
распят я. Нет, я не Христос,
но я страдал. Я ездил в Лугу.

«ЛЕСТВИЦА ИАКОВА»

...памяти Якова Виньковецкого

Яша, Яшенька, Иаков...

Один из удивительнейших людей нашего поколения...

Всехний авторитет, друг Бродского и Волохонского,

Бобьшева и Кузьминского, Охупкина и Кулакова,

Горбовского и Хвоста...

И это не он называл себя нашим другом, а Мы – называли его.

Мерило абсолютной порядочности, что как-то неадекватно в нашем веке, когда слова «он – порядочный человек» стали максимумом оценки, хотя ДО революции – они были минимумом...

Поздновато мы воссоединились с ним, хотя и вовремя. Как мне помнится, он нарисовался на моей выставке «23 художника (на площади 24 кв. м.) – под парашютом» в сентябре-октябре 1974, в параллель московской «бульдозерной», и с тех пор мы не расставались. До смерти его. Но она – условна.

Яков, Яшенька – жив в моей прозе, в антологии, в хулиганских стихотворных текстах моих и – главное – жив и неумирающ в памяти.

Много – хотя и врозь – о нём написано (в антологии), почти столько же, сколько и о другом нашем Учителе. Понизовском, о Даре – потому что в чём-то главным они были схожи.

В терпимости (именуемой толерантностью) к любым проявлениям таланта и артистизма, в нетерпимости к любой фальши, мелочности – он (как и они!) всегда были выше.

А когда, случалось, и «ниже» – так ведь «nobody is perfect», те же претензии я могу применить к любому, вычетом Господа нашего Иисуса Христа...

Но Яша был во многом – порождением еврейской либеральной интеллигенции 60-х, осторожность и мудрость уживались в нём, как щедрость и практицизм, глубокая религиозность и открытая светскость.

От меня он не требовал толерантности к моим «врагам» – только порядочности. Почему и выбирался своего рода «третейским судьёй» во всех наших немалых разногласиях. И я не требовал от него гарантий, я доверял ему во всём, ибо знал – не предаст. Не на мелко-бытовом, житейском уровне, а на главном. Моральном. Духовном. Вот это-то, духовное – и было в нём главным. Он был Учителем, который ничему не учил. Вычетом этики. Которая, в бытии – многозначимей эстетики. Эстетик много, этика одна.

И, когда я писал (именно – писал, а не «составлял») антологию – я был его учеником. Ведь в ста-поэтной антологии – собраны поголовно «враги»: враги между собой, считанные мои «личные» – и как не дать «личному» перерасти в нечто общее – я учился на Яшиной порядочности и терпимости.

Nobody is perfect... И, тем не менее, perfect – я. Но где-то Яшин пример, ОДИНАКОВАЯ любовь к Бродскому и Волохонскому, ко мне и к Бобышеву – вдохновляли меня. Терпеливо растолковывающим, убеждающим – помню. Помню письма его, всегда мудрые и никогда – благоглупые, утешающие.

Возможно, именно его индивидуальное совершенство – и стало причиной трагедии. Ну, попади Кузьминский «в неприятную историю» – так я из них и не вылезал! А для Яши потеря «ренеме», хоть частичная – была трагедией. И я определяю это страшным грехом – гордыней...

Слишком многие восхищались, брали пример – немногие, относившиеся критически и иронически, были «не в статусе» (их было, как бы, не слышно – Коган, Гоziас...). Те же, чьим мнением можно было гордиться – имена! – все, поголовно, относились к нему с пиететом.

Как же не возгордиться? Человек слаб...

И когда я, в сотый который уж раз, анализирую причины Яшиного самоубийства – кроме гордыни, не могу найти причины.

Тщеславие безобидней. Оно не выходит на уровень духовный, довольствуясь мизерами. Оттого и трагедии не происходит.

Но я не о потере. А о приобретении. Мне повезло дружить с Яшенькой, видеть его улыбку, слышать, общаться. Просто общение у него на дому – даже без картин, стихов – давало заряд на долгое время. Общение с Динкой, детьми, даже с Яшиным кругом хьюстонской русской итээрии (как презрительно называл я их всегда) – у Яши не было противно. Я в них видел просто людей, человеков. А русско-питейная хлебосольность дома, уют, семейственность – всё это утешало и помогало.

Яша помог мне многим. И в первую голову – примером.

ПОЗИТИВ = НЕГАТИВ

Яша показал мне тщету земного, «суету сует», как сказал Экклезиаст (?).

(Странно, будучи автором теологических трактатов, напрямую общавшийся с богословами – Яша никогда не нудил голову книжной, фарисейской мудростью, как большая часть моих «повёрнутых в христианство» друзей. Яша был просто христианином – если христианином «быть» просто...)

ХУДОЖНИК – ПОЭТ – ФИЛОСОФ?

«Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата», – сказал Пушкин. Паче того – художник.

Яшу губил ум. Он не мог позволить себе сказать глупость. В живописи он заехал от биологической абстракции – к внутреннему свету иконы, где-то за пределами её, живописи. В поэзии он вовремя остановился (в юности). В философии... Тут я ему не судья. Она – бесконечна.

Мне кажется, что роль их, Учителей, лежит где-то за пределами искусства. Особенно искусства их, индивидуального. Постановки, проекты и скульптуры Понизовского – мельче и невоплощённой его фигуры. Проза Дара – и того минимальней. Живопись Яши – при наличии Михнова-Войтенко, Кулакова (его друзей), Элика Богданова...

Но если в антологии я не назвал Яшу напрямую Учителем, то теперь – называю. По прошествии изрядного количества лет Яша упорно со мной, как и недавно покинувший меня ещё один учитель – лагерник Лёничка Комагор. Как «тётка Танька» Гнедич – поэт, переводчица, лагерница. Как многие – и младшие – друзья мои.

«Мёртвые не умерли, пока живы помнящие о них» – словами моего ещё живого учителя, Лерки Молота.

«Мёртвые не умерли».

24-25 января 1998, 2000)

БОРИС КУДРЯКОВ

(1946 – 2005)

Писать о Борисе Кудрякове так же бессмысленно, как читать его тексты. Перманентный абсурдизм не располагает к рациональным построениям.

Его лучшие сочинения подобны трамплину: долго-долго катаешься вверх-вниз и вдруг взлетаешь... За эти прорывы в Ничто я и ценю больше всего его фовистскую прозу.

Прозаик, поэт, драматург и фотограф, он един в сути своего творческого метода: это дотошное, скрупулезное описание безумного мира. В начале кудряковского мира было иррациональное слово. И все эти социально-сексуальные перипетии существуют только для обозначения незыблемой парадигмы абсурда. Автор, упиваясь «дрожанием смысла речи», постоянно опрокидывает быт в бесконечность. Его книга, слава Богу, никого ничему не научит. Опыты погружения в Ничто еще не стали достоянием фитнес-клубов. За ерничеством и абсурдистской бравадой можно различить и самого автора, пережившего дурдом XX века и сумевшего остаться, как это ни парадоксально, взвешенным и нежным наблюдателем следующего тысячелетия.

Могучая натура Бориса Кудрякова позволила ему выдержать яростный напор безумия собственного творчества. Теперь рафинированный читатель может комфортно наслаждаться одной из самых экстремальных форм русского абсурда.

*Борис Конструктор
2002 г.*

ЛЕТНИЙ ДЕНЕК

А ведь вчера они вместе ходили в церковь, молились, что-то шептали сокровенное, дорогое... А сейчас он топил ее в глиняном карьере.

Был тот разгар июня, когда хочется сидеть с квасом под осыпающейся и в конце концов осыпавшейся сиренью. В такую вялую жару в пригороде Питера одно удовольствие мастерить запруду на лесном ручейке, попивая арбузный сидр и теребя закладкой томик поэта Серебряного века, наблюдать гипнотическое неглиже зеленоватой купальщицы. И гадать про ее недвижность.

А сейчас он топил ее в теплых водах, в синевато-зеленоватых водах докембрийского карьера.

В тот день с утра в подвале общежития стройуправления 506-бис было прохладно и уютно. Мы выпили на пятерых пять бутылок самодельной водки и пошли пообщаться с природой, проветриться. Двигались по бесхозной пыльной дороге среди молочая и злой загадочной крапивы. Из-за заборов доносилось то хрюканье, то чавканье, то шиканье, иногда храп в совокупности с треском лопнувшей ласковой резины и словами: опять мне больно. Я отрезвел от ходьбы, а друзей развезло, они мечтали о тени деревьев и холоде воды. Лиза стала жаловаться на немодные плавки, и кактус у нее наверное погиб: я не поливала его уже пять лет. Навстречу попались озверевшие от свободы дети: десятилетние грудастые певуны и трое мальчиков допризывного возраста. Они укрылись за ржавой бочкой на битом стекле, певуны в одних розовых чулках с синими подвязками, и Лиза увидела их первая и закричала: "Я такая же, такая же..." Потом мы шли мимо огромного глухого забора из витражей и ржавых напильников – вилла окружного бандита, за ней вилла окружной бандерши, далее дворец окружной... И надо отметить, что в нашей стране выпивают не для радости и не для замутнения мозгов, а для направления мыслей в мечтательный горизонт, ибо мечтательностью пронизано здесь все и вся и ее надо холить.

Мы подошли к аскетическому водоему, бурлящему купальщиками. Берега пестрели от накидок, палаток, простыней, закусок на скатерках и шляпок все тех же озверевших от каникулярной свободы грудастых певуний. По воде скользила пена остывающего эпидермиса, высоко в небе один за другим шли на посадку самолеты, разбрызгивая с хвоста вкусную когда-то еду.

Мы устроились на самой дорожке – от автобусной остановки до баптистского молебного дома туда-сюда сновали по дорожке простолюдинки, упитанные, опять же озверевшие от предстоящего оприхода, жертвенно-аспидные, и шаг у них был атеистический.

Мы достали нагретую водку, пластиковые стаканчики, я кинул в каждый по две-три чайники, чтоб вызвать короткий сморщ от неприятия. Развернул пучок лука, и тут нашу бутылку задел горбатый юноша, с кокошником, кочергой и игрушечной арфой. Я вздрогнул, не успел подхватить емкость, и водка пролилась на сухую траву. Но мне показалось, водку задел симпатичный котенок с желтой фиксой на клыкe. Лиза стала громко петь джазовую композицию.

Выпили, не закусили. Забыли белые панамки дома, стало нагревать голову. Лиза перешла с импровиза на частушки с продовольственной тематикой. Из-за забора сверкнул глаз кинокамеры, нет, просто глаз собаки. Лиза заткнулась, уткнулась носом в мумию головастика.

А вокруг шумел и плескался народ, бутузы-мальчишки, бутузы-старушки, крепенькие гладенькие старички с девичьей кожей, снова возник джазовый импровиз, очень личный и очень душевный. Мы налили по четвертой. Рядом звенела яростная крапива, за забором слышались причмоки и голос: диванчик-майданчик, курочка не скрипка, воробей не офицер, – вылетела бутылка, пластиковый "бдум" отскочил от головы Лизочки, клацнули ее челюсти, симпатично вздулись щеки, она улыбнулась. Пластиковая бутылка с литром недопитого лимонада, отскочив от головы, перевернулась и, журча, покатила к пруду, т. е. карьеру. Мы налили по пятой и приподнялись, чтобы окунуться в нагретой уже воде. Залезли в воду и давай резвиться. И брассом, и кролем, и туда, и сюда. А потом Лехаилу (так звали нашего запевалу, бузотера и теософо-бретера, могущего против желания слушателей читать длительные короленковские лекции, перемежая их выпендренным казуистическим бредом с ностальгией по апокалипсису, – короче, смысл его восклицаний, не лишенных психогенного вандализма и даже при этом некоторого очарования, – смысл состоял в следующем: все люди говно, и только я приближен к Богу, только я могу кидать вам толику экскрементов в ваше поганое рыло. Некогда славянское лицо его было испорчено надменным ужимом над чужими горестями, глаза сухие и не добрые никогда – глаза желали наводнений, мора, огня и пепла на этот пакостный мир. Но это по трезвости. Водка вносила необходимый антизлобный витамин, лицо его становилось каким-то итальянистым, тень запоздалого сострадания к озверевшему, но в общем-то симпатичному человечеству появлялась, он мог рассказать положительную притчу с не менее положительным контр-гну. Рост маленький, вес небольшой), – а потом Лехаилу пришло в голову ненастье, и он за ноги свою Лизочку поднял, а ее голова на дно ушла. Правда, карьер в этом месте по пояс, но все равно. Вздрогнула Лизочка ножками. Гладенькие вкусные пяточки встрепенулись. У меня навернулась слезка. Я поплыл к ним саженками, вспоминая стихи Баратынского после знакомства с Батюшковым. Но вдруг до меня дошло, что топит Лехаил свою курочку, свою сокопуляционницу... Ужас. Я подплыл к ним, а она уже постельной пяточкой воду не мутит. Поникла вниз головкой. Он снова за косы ее и головой торкает в дно. Я вырвал ее от Лехаила. Она еле кашляет, падает на воду, дергается в конвульсии. Она идет к берегу. Выходит. Идет по асфальту пыльной дороги. Чуть под мазутовоз не попала, из совхозной машины облили навозом. Покачнулась, схватилась за виски, грохнулась, застонала. Безумье, мне ее жалко, она взрослая статная красуля, из тех, кто выступает на родительских собраниях, косы венком на затылке, никакой косметики, и тихий гипнозный голос. Таким обычно говорят о вечной радости, не объясняя сути оной. И глаза со слюдяной поволокой, ножки точеные, ароматные, прозрачные икры, детские ногти, мягкие пятки, зовущие мясы, ямочки на низу спины, бедра чуть шевелятся, игриво так и достойно – мол, только для гордого мужа и "никаких". Плечики плавные, на

такие плечики хорошо преклонить голову лунной и, быть может, предметельной зимней порой и говорить о будущем урожае белой смородины, а за окном луна, мороз изукрасил узорами стекла окна, скворчит ноздрями киска на печи, ей через два часа на обход подвала и сеней. Хорошо быть с такими плечиками рядом, никто не кусит, никто не подсыплет сена в творог, дружно стучат сердца, они молоды, неглупы и очень горячи, – это и есть славное время. Такие плечики созданы для клятв в верном и благомном объятии у того же деревенского ручья, чтобы саднило жаркой страстью и силой притягательного восклицательного: не могу без тебя.

Она падает прямо на асфальт. Белая пена из носа. Она перегрелась, пьяна, в груди вода, она еле дышит, глаза закрыты, я чуть не плачу. Прохожие оттаскивают ее в лютый грязный крапивник. Только пятки торчат. Я подошел, а она уж хрипит. Лицом в мусоре лежит, даже смешно как страшно. И Лехаил подошел, подошел. Стал суроветь и в тонкий крестец ее пятой бьет, оскалился – тоже перегрев, недосып, недопив. И еще смачно так – рраз! Белки синие – рраз, норовит сломать у любимейшей сатанинский хвостик. И-и, рраз! – словно консерв давит. Ведь так и убить можно, говорю я, и утаскиваю его за ногу в сторону. Но он вырвался, обзвал меня немецкой свиньей. Я снова схватил его, он снова вырвался, да так неловко, что упал на страшную и газовую плиту, весь в мухах, ругается, говорит, мол, еще один сантиметр. Я спрашиваю, какой сантиметр, а он с интонацией Фрунзе перед расстрелом русских офицеров мне отвечает: а вот не скажу – сантиметр. Короче, сингуляр, оплавился от перегрева. Но, сука, еще куражится, видимо, в детстве сотоварищи делали ему колобахами массаж гипоталамуса. Стоит качается. Злой.

А кругом лето, птички-бабочки. Пышнотелые певуны и быстроногие мошоночные школьники с каким-то французским подмигом проносающиеся около цветастых бандитских мажордомок, что по шестому разу принялись за полдник. И манит запах кулебяк на скатерках толстых раскаряк.

Народ плещется в воде. Лизочка нашла в себе комсомольский задор, отыскала скрытый источник, может, помог Вивекананда, встала, я ее повел на пляжик, там дали утомленной курлыке бутербродик с кровяной колбасой. Она его очень так по-солдатски съела и еще пивцом запила, вздохнула. Я ее погладил и даже чуть вспыхнул. Она посидела и говорит мне презентабельным голосом: пойдём в тростничок, я тебе ку-ку сделаю. А у самой ротанчик так криво хитрится. Я говорю, что больно будет, наверное. Что больно не хочу. А она говорит, что чувствует себя на пятнадцать лет и что она еще хочет встретить белые ночи с гитарой. Тут ее взгляд заволокла пленочка, какая бывает у космонавтки, когда ей, пролетающей над Маркизовыми островами, где-нибудь северо-западнее ноумического архипелага, сообщают на высоту так тридцать восемь тысяч лье уже над архипелагом тартар, что сейчас с ее розеткой будут делать пикантный эксперимент, да... пролетая, быть может...

Но ничего, она, Лизка, покурила и опять в воду. Я и не заметил, как Лехаил снова к ней направился и хватить ее за шею, и снова вниз головой. Она бьется, словно курица под ножом, и страшно так, как все под солнечным небом. Лехаил всерьез хочет утопить Лизку, у меня захватило дух. Она бьется

в мутной воде, зовет лодыжкой красивой, зовет на помощь, скоро смерть и не откачать потом, т. к. все заняты, все едят пирожки с саго, мои нелюбимые пирожки. И вдруг вижу, у Лехаила фагот ожил и встал. Кругом люди, кругом совестливое окружение, не потерявшее стыд и честь. Кругом розовобедрые упитанные отроки с намеком на молочные железы, кругом студентки и спортсменки с пельменями в животе, и маруси с конфетами "коровка" там же. Еще к тому же кругом ходят всякие дяди с литрухами разбавленного спирта "рояль" внутри себя. А он прижал коленом ее затылок, носом в глину, она бьет ногой все сильнее и вот... затихает, затихла. И тут он брызнул, гадина.

Я его оттолкнул, а сам чуть не плачу. А он говорит: ты чего за нее трясешься, ты что, спал с ней? Спал с этой пипеской, и так по-вараньи делает облиз нижней губы. А она все носом в глине под водой.

Ну что я мог ответить? Ну разве можно спать с обладательницей греческого ротика и римского лба. Спать можно ли с обладательницей вкусных арабских губ, откровенно зовущих в глубину поцелуя. Как можно спать с плечами, вздрагивающими от твоего взгляда, с теплыми плечами полу друга полу младшей сестрицы, полу соседки, случайно заглянувшей к тебе за, предположим, укропом, но ты только вышел из самодельного душика, ты, то есть я, не одет и юная сила вот-вот молниеносно прострелит позвоночник, а в дверях она и она все видит, подходит к тебе с улыбкой симпатичной кикиморы и хватает тебя... за нос и говорит, что у нее суп без тмина – не суп. Но ты в ответ говоришь, что у тебя болит голова и сегодня *ты не можешь*, на что она широко открывает рот и долго еще пребывает в таком положении, пока ты не берешь ее за руки и уводишь "смотреть альбом". Как можно спать... Можно только бодрствовать. Из-под левой подмышки пахнет березовым соком и цикорием, а шея пахнет горячей сталью и полынным медом, а из-под правой подмышки веет – ай-люли! – крымским суховеем с абрикосовой пылью. Можно только бодрствовать.

И я отвечаю, что не спал я с ней, я пил с ней, а с кем пью напиток, того считаю другом, и это святое самое.

Кругом жара, брызги, смех, шашлык жарят, ласточки летают, вода теплая. Я ее отбиваю у обезумевшего Лехаила. Он что-то неэтичное пыгается с собой делать, он чего-то не понимает – стоит и теребит закидон.

Я беру Лизку за талию и волоком на берег. А там уже Лехаил! Он налетает и по лицу ногой, но промахивается. Она увернулась, и Лехаилова нога впилилась в железный уголок, к которому лодку вяжут. И палец большой – надвое, ноготь – в сторону, блять, оскал вверх, он ничего не понимает, как заорет: гыде моя вотка?

Твоя вотка в крапиве, – говорю я. Где моя крапива? У трубы за забором, – говорю я. У какого это забора? У забора номер девять, – хором отвечаем мы с Лизочкой, славной гладенькой ластюшенцией моей, хоть и пьяноватой. Тут он закачался и упал в крапивную малину, мы же выпили спрятанное про запас пиво, закусили бутербродами с сыром и изюмом и снова полезли в воду, щурясь и держась за руки.

В ДЕРЕВНЕ

Середина февраля. Мои часы встали. В избе прохладно – минус восемь. Поздний вечер. На самодельных лыжах по мягкому и глубокому снегу пошел на соседний хутор к Дяколю.

Беломорстроевец штрафбатовец Дяколя жил от меня в километре. На стук в дверях появилась Тёжя, и я услышал: я вас не знаю, уходите, всякое бывает, – и храп носом, – ты если к дяде Коле, его друг, мы немного спим, хотя и пост.

Последовало разрешение на вход. Из холодных сеней дохнуло ауком тридцатых годов.

В «горнице» при тусклой лампочке около чуть теплой печи переминался, маясь, Дяколя, стройный жилистый старик с глазами поэта. Он мне понравился еще года три назад на грибной тропе, когда мы впервые встретились. Да, три года... изредка встречаясь у автолавки, где все местные жители брали по две беленькие, по мешку хлеба и по десятку банок шпротного паштета.

Дяколю неслабо покачивало. Недоставало каких-нибудь 150 грамм. Аскезная киска жевала кусок валенка, взлетали фонтанчики пыли, видимо, из норок моли. Дяколя задумчиво вновь и вновь пересчитывал половицы и решал непосильный вопрос «что делать».

Поставленный на бок телевизор – иначе не работал – демонстрировал первую серию «Бриллиантовой руки».

На экране мелькали панорамы Черного и Ласкового морей. Упитанные, с женской мускулатурой Миронов, Папанов и Никулин играли дебилов и нететех.

Дяколя мучился изжогой и жевал сухой укроп. Он задумчиво растворялся в собственном взгляде и в дыме сигареты.

Над промятым диваном висел коврик с архаической архитектурой полинезийских иглу. Черноватый потолок барачного типа, грязноватая плита, на железе которой подсыхали блокадные корочки, уголечки. В углу еще висели иконки, темные, видимо, натертые маргарином для сохранности от окисла воздухом кухни.

Дяколя пожаловался мне, что дрова кончились, и водка кончилась, и воды тоже мало, а сосед-сука богатеет и ему все мало, хоть и сыт кровью. Классовая накачка продолжилась под курение махорки, с которой банный тазик стоял вместо вазы с фруктами, или хотя бы с сушками – тазик оцинкованный на столе.

Последовали сетования на холода. Я вспомнил, что зашел сверить часы, боялся завтра опоздать на автобус, до которого по полю рыть снег часа два.

Телевизор не хотел показывать время, и я терпеливо ждал.

Дяколя пытался зажечь стружки в плите, но вспомнил о своем хладолюбии и оставил растопку.

Тёжняя была весьма немолода, она обретала уже ту старушечью, однако, притягательность, когда кожа лица, ног гладка, блестит, и розовеет, и даже зовет. Круговорот жизни начинался в ней снова с девственной милоты, слышался при ходьбе скрип кожи бедер.

Тёжняя стояла у стола и как бы подсчитывала крупинки махорки. Дяколя отважно вздыхал, ему очень пошел бы костюм горного стрелка и томик библии в нагрудном кармане, когда он говорит с человеком, то смотрит поверх леса. Такие люди украшают пейзаж не унылым путником с клюкой вдоль по слякотному октябрю с галками на плетне, а стремительным агрономом, шагающим поперек весенних ручьев.

Закурили по второй самодельной. Вздохнули, выпили темного кипятка. Киска в углу расшвирипела на огрызок валенка. Сетования на холода продолжились. Они сменились причмоком над последней картофелиной. Киска завывала от предчувствия марта.

Я опять внимательно стал ожидать передачу точных сигналов со Спасской башни. Но вместо циферблатов показывали шпану в темных очках, шпана прищипоривала на сцене раздетых модисток и надсадно кричала «о йезь», дым окутывал сцену, прожектора имитировали воздушный налет. Техногенная «музыка» усиливала одиночество.

Я вышел до ветра, его там было достаточно.

Метель наслаждалась своими вихрями, это была пляска свободного ветра природы и ночного солнца, вихря, подлунного вопля, так хорошо на душе становилось в мечте улететь вместе с нею. Я посмотрел в далекую и уютную темень. Меня «кто-то» звал, но я чуть покачал головой.

Изба Дяколя стояла на огромном сквозняке: посеред километровой ширины просеки, в длину которая была километров на двадцать. С Запада на Восток. Под крышей избы носился озверевший сквозняк, такие обычно в голодных домах. Резкие, острые.

Лишь две пушистые елочки защищали от ветра одинокий домик.

Было радостно, страшно.

Бегали по двору две злые крокодилицы-таксы, они питались снегом и опилками, глаза их горели фосфорной пулей.

Я вернулся к телевизору ожидать циферблат. Разлили кипяток со стружками репы. За столом как-то воодушевленно молчали. Самодельные кружки из консервных банок блестели в сумерках холодного уюта.

Я вспомнил, как Дяколя в январе зашел ко мне. И тогда была красивая метель. Много снега волновалось под небом. Я уютно сидел у печки и смотрел на пламя. Постучали, и вошел бледный, весь в снегу Дяколя, ему требовалось подлечить одинокую душу. Лекарств у меня не оказалось, от чая он отказался. Ушел искать напиток спасения в круговерть, в драматический марш-бросок. И это в семьдесят восемь лет, на одной лыжине (вторую заменяла доска для резки травы)!..

Я покачал головой.

Около полуночи он появился вновь, розовый, с улыбкой. Он поставил в угол две еловые палки с детскими кастрюльками на концах, довольный прогулкой присел у печи. «Чайку будет?..»

Снег стаивал с его самодельного костюма. Он был без шапки, густая шевелюра заledenела, но это не беспокоило его. Он достал-таки двести грамм для здоровья и сейчас вновь переживал приключения похода.

Белела изморозь по углам. Я поднял взгляд. Времени не было, напротив меня стояла аллегория Спокойствия, редкостного вне речи вообще объекта, или как назвать, я не знаю... Мне стало жарко, это были боги, я сидел у них в гостях таким придурченком, видите ли, надо ему знать точное время, меня сковал ужас откровения, и я силится не выскочить резко из дома. И я понял себя, я увидел вдохновенно, как должен выглядеть мудрец: вот так же, как Дяколя и Тёжени. Они склонились над тазиком с махоркой, среди серой безвременности, вьюги, киски с куском валенка, чуть пьяноватые, но не от плохой водки, а от полноты пройденной жизни. Они уже прошли ТУДА... Я закачался от увиденного. И еще я тогда увидел себя, непогибаемо, под луной пуская парок, идущего в темноте живописной тишины снегоискря по телу зимы, по снегу, по самому, пожалуй, нежному материалу.

Тёжени и Дяколя продолжали перебирать любовно махорку в банном тазике, на фоне рекламы очередной заморской дряни, на фоне засохшей бегонии, вставших часов на стене, – они шевелили чуть пальцами и жевали укроп.

Уже стемнело.

Я вышел на крыльцо, стал надевать лыжи. Дяколя зажег в сенях лампочку.

Я попрощался и перед уходом попросил Дяколю для ориентира на две минуты не выключать свет.

95-й год,

Псков. обл.

СЕРГЕЙ ЛОВЧАНОВСКИЙ



ПЕТЛЯ, УДАВКА И ХОМУТ

МЕТЁЛКА

Лес дремучий, нас не мучай, не води кругами, не пугай межами, укажи дорогу к моему порогу, знал бы – где удача, шёл бы, не судача. А так – и поговорить не грех.

Старушка – на вид побирушка, а сама с норовом, за спиной с волшебным коробом. А в коробе том: ниток клубок, свечки огарок да банные листики для припарок.

Идёт горбатая полем, идёт лесом, беседует с бесом, шепчет что-то, лоб угирает от пота и глазами зырк, зырк, от неё лягушки – прыг, прыг. Стерегутся-берегутся под горячую руку попасть бабусе-то не берутся – и птицы, и зайцы, и волки, и гуси, и все, все, все, у кого нос в росе. А бес ей басом – не напряглась ли сильно, отдохни, выпроси квасу.

Села под ёлку мухомором закусить, да забыла про то, стала из лап еловых себе метёлку мастерить. Да метёлку-то не протгую, а чтобы летать, как не летает никто – быстрее ветра, веселее птицы, пронзительнее мыслей, одетых в слов пальто.

Да уж что говорить, устала ходить да позвонки теребить, давно уж, давно радикулит в спине трубит, так забирает, будто гору ломает, даже змеиный яд ничуть не помогает, будто горб камнем побит – не болит, а гудит, по ночам будит, а днём спать не велит. Извелась уж, даже ужа гладить – не отвлекает.

Сделала метёлку – залюбовалась ею, размечталась поставить её в светёлку. Да вот беда – светёлки нет. А помнит старая завет. Сказала ей когда-то прабабка, тоже охотница до мухоморов, что если придёт пора, когда в спине её пара кольев поселится и хворь спинная над нею будет слишком веселиться, пусть лишь свяжет хвойную метёлку да притулит её в углу в просторную светёлку, так сразу всё само пройдёт.

Села бабуся на метлу да и полетела над лесом вихрем, озёра мелькают внизу, болота манят бархатным мхом – по мху клюква рассыпана, будто с неба упала дождём, но о красотах подождём – спина бабуси не болит, но сил нет как холодит.

Вдруг холмы лесные открылись, а среди них лось стоит, лосиху трубит. Бабуся и спустилась к нему поближе, тормозя стопою чувяка. Ага.

Подошла поближе и говорит:

– Кто это тут трубит? Не меня ли зовёт? У меня на спине лёд, но зато у меня есть моток в коробе, он мне дорог, но отдам его тебе даром, громадина-лось. Так уж повелось. Вижу, что ищешь ты свою желанную. Размотаешь моток – он тебя к ней и приведёт. А за это...

Посмотрел на неё лось странно, моргнул дважды и убежал прочь, круша деревья. Испугался ли, за кем погнался ли – не понять, но след его простыл, как здесь и не был.

Дальше полетела бабуся помедленней, чтобы просторы обозреть подробней. Видит – медведь малину лениво шиплет. Приспустилась и к нему и говорит:

– Мишка-мешок, освободи свой домок. У меня метёлка просится в светёлку. Дам тебе за это свечки огарок, огонь её так ярък, так жарок – не пожалеешь, а будешь меня вспоминать и по лесу гулять в тепле, в освещении, в полном своём удивлении.

– Эх, бабуся, – прохрипел медведь, – сейчас как рассержусь я. Поломаю твоей метёлке прутья, а тебе рёбра перепутаю, да как попру тебя – не зарадуеться, болото тебе стогом сена покажется. Свет для меня – Луна, тепло – Солнце, дыра в берлогу – моё оконце. Я ещё не сошёл с ума, поищи Ивана-Дурака. Он может клонет, а я только сплуну.

Ушла бабуся искать светёлку, прибавив в голове толку.

Бредёт по лесу, силы кончились, присела на пень, сладким опёнком закусила. Опёнок поела – чуть-чуть бы и спела, да не успела. Тут дровосек Иван-Дурень по тропке идёт, топором играет.

– Привет, бабуся, что грустишь?

– А вот тебя дожидаясь, спасения нет без твоей заботы.

– О, бабуся, забота о других – для меня зевота. Я людям добро от нечего делать делаю, чтобы не скучно по лесу ходить, ягоду щипать зрелую.

– Это хорошо. Сделай, милоч, услугу, буду тебе век прислугой. Пойди домой, возьми мою метёлочку, подмети дома сор, да оставь её себе, поставь в углу светёлочки, а мне из дома принеси только холодного кваса напиться, за это у тебя в доме ссора не будет водиться.

– Нет ничего проще, – сказал Иван-Дурень, – и с полным моим удовольствием. А ссору укротить – это бы надо. А то столько бранных слов чада, что и печь в удивлении, противень в противлении, скрипучая дверь не пучит так.

И ушёл, помахая колкой метёлкой.

Сидит бабуся скучает, спина ей сильно докучает. Повернула глаза внутрь башки – там одни тараканы да букашки. Думает: «Эх, подведёт Иван, не выведет изъян, должно быть, спит и крепко пьян».

Через какое-то время почувствовала бабуся, что спине стало легче и она собралась было уже уходить подальше от пенька, чтобы не получить от Ивана пинка, да вдруг видит: летит над лесом изба, двери в ней ходуном ходят, будто она крыльями машет, а Иван-Дурень у окна сидит и глаза на мир тарачит рот раскрывши, как яро браги попивши, да кричит ошалело, как говорит дело:

– Прости, бабуся, ни воды, ни квасу не успел набрать, решил метёлку сразу испытать, полетаю, налетаюсь – напою досыта!..

И исчез. И радикулит. И Иван-Дурень.

Так и летает, надо быть, Иван по сей день, по сию пору, ищет в небесах опоры. В облаках его шатает – бабка пляшет, мишка спит, лось трубит, а бес икает.

Если придётся вам его увидеть ненароком, не считите за труд крикнуть ему, чтобы метёлку из светёлки на землю-то скинул, дурень, тем бы чары отрунул. А то как бы навеки не сгинул. Земля скучает, народ докучает.

Сделает так, тогда обретёт изба твердь, Иван – пристанище, а мы новый повод поглядеть в прореху между лесных орехов. Персоны для обрисовок лица да язычок в словах полоща, – что может быть слаще, а?

А про листики для припарок – в другой раз мой сказ – в подарок, а это знатный припас, как в жару прохладный квас.

ГОСТИНЕЦ

Он приходил к ней с гостинцами.

Она ждала не большего, она ждала другого. Он приходил, оставался на ночь, но посреди ночи вспыхивал, вскакивал и лихорадочно собирался к отъезду, пугаясь в штанинах, дёргая рубаху, как-то нервничал, будто ему приснилось что-то вещее, зловещее – от чего ей становилось страшно. «Он зависим от чего-то такого, что разлучить их может очень просто, мимоходом, ненароком, просто так, – металось в ней. – Какая я глупая, надеясь на... мне не на что надеяться, но очень хочется верить».

Он жил в другой жизни. Лишь чувственное? Лишь некуда деться? Лишь что-то другое, отличное от семьи? Что его так тянуло к ней на протяжении трёх лет и так было зыбко? Этого она понять не могла и лишь чувствовала, что это растает – «не понимаю».

И жила ожиданием катастрофы – не дождётся. Не умрёт, но заболит, заболит, может быть, на всю жизнь. Не разбитое сердце, нет, погребенное чувство вызывало в ней протест, это было несправедливо, ведь искренность её была так высока, что она боялась рухнуть с этой высоты и разбиться вся. Готова была кинуться в бездну неразделённости, ревнивой муки, ожидательного страдания на веки вечные, но не пасть, брошенной в пустоту забвения на удачу случая, гнетущей неопределённости, зыбкой успокоенности в зыби уничтоженной надежды дожждаться.

Она была на обочине его судьбы. Мило, славно, тепло, очень истерично в соитии, но в стороне, она компенсировала его слабости. Жарила блинчики, вязала тайком маленькие шапочки, но потом их в одно мгновение распускала, задыхаясь жаром ожиданий, и вновь вязала что-нибудь полезное – варежки к зиме, или ему тёплые носки для вечерних оздоровительных прогулок.

Плела шаловливые козни котёнку, заплетала мысленно косички у куклы и разговаривала с ней о нём, смотрела телевизор, который включала развлечься на час, но экран магически держал её у своих бессмысленных люминесценций, фиктивных сияний до глубокой ночи, когда внутри уже всё кипело и было перемешано стараниями и навязчивыми страстями чужих людей: ждала, ждала, ожидая долгими днями, пустыми неделями, определяя погоду по цвету листьев подоконных тополей, тихо лежала под одеялом, накрывшись как в детстве в испуге грозой, и шептала заклинания, которые сами текли из нутра, что её возбуждало до судорог и прислоняло ко сну, будто она потеряла силы, взбираясь на водопадную гору.

Он приходил весь на подъёме, иногда без звонка – сюрприз. Приз за выносливость. С новостями, говорил бурно, раздавал конфетки, плевался от суеты и глупости событий, шипел и смеялся оглушительно, заразительно, запивая скорые блинчики стужёнными сливками, ел (ах, как он ел!) вкусно, широко, до отвала, как матёрый охотник после азартной добычи секача шестью выстрелами – до того живуч.

Непринуждённо нежничал, задрёмывая, соловел, насладительно отваливался, не имея сил и желаний. Потом час тихо спал, даже не храпел, до того ему было хорошо.

Она смотрела на него, желая подольше не двигаться, не вспугнуть бы его сон, чтобы он весь принадлежал ей – беззащитный и её. От него еле слышно исходил запах мужского пота, который не заменит ей ни один изобретённый цивилизацией аромат.

Этот запах уже глубоко проник в неё и щекотал её воображение, она разговаривала с запахом, она ощущала, как он послушен ей – то нарастая, то отступая и замирая – играясь, играя, сгорая в неге тонких токов чувственного проникновения. Она потихоньку утащила у него шарф, чтобы в качестве скорой помощи положить его под подушку, когда совсем было невыносимо одиночество ожидания, накрывала им лицо и он – был с ней весь без остатка, без забот, без расставания – упиваясь предчувствием, но иногда и – уже совсем странное – наливалась ненавистью, сжимаясь пружинкой, готовой выстрелить на поражение.

Шарф хранила подальше от глаз в шкафу, завёрнутым в целлофановый пакет, чтобы подольше не выдыхался. Это был её талисман. Над ним она по настроению захватчицы и разлучницы совершала свои странные приворотные обряды, которым, впрочем, её никто не обучал. Она просто забавляла тоскующее сердце, но где-то на краешке чувства питалась её страсть напомнить о себе не просто, не просящей ожидательницей, а воющей царницей, имеющей свою власть и волю, своё войско и план, коварство и милость. Милость допустить к себе или прикоснуться только взором...

После этого они говорили, тискались и сонитствовали до того бурно, скандально, неприлично, что хозяйка соседней комнаты прятала при столкновении в общих местах понимающую улыбку в сжатых губах: «Молодо – велено. Участковый бы к смертоубийству не пристал, а так-то я не против, у меня и почище бывало, двери ломали, а мы-то обои в обмороке – стыдобушка, да что сказать? Нечего».

Время уходило тайком, будто высыхало на солнышке её теплоты и счастья, неприметно парило и растворялось в тишине вечности. Он вдруг вскакивал, вытаращивался на будильник и беззвучно ругался, видимо, очень искусно, весь превращаясь в мурашку и в трепет погони.

– Извини, я должен, я... эх. Забылось, прости, так было всё по-взрослому, что провались оно всё пропадом, этот коклюш дни и ночи. Надо... вот.

– Я терпеливая, я тебя дождусь. Ты не думай...

А про себя добавляла: «Насовсем, навсегда... Мамочки мои, неужели я колдую?»

– Чего хочешь? Какой гостинец?
– Побывать с тобой.
– Нет, я о радости глазу. Хочешь, киску тебе подарю? – нахлобучивая на себя одежду, спешил он.
– Нет, у меня есть. Я хочу смотреть на тебя.
– Это правильно... Киска есть...дохлая только какая-то... Смотреть, чего же не смотреть. Смотреть можно... А чего смотреть? Смотри, не смотри, надо двигать, заботы пути нашего слякотного. Извозишься опять как поросёнок...
А в прошлый раз предлагал деньги, обещал поправить общий вид, оглядывался на щербину в стене, вообще придумать что-нибудь праздничное – покатать на машине, уехать в лес к чертям на озёра. Но всё это говорил, будто его подгащивало, он не скрывал скверности своего настроения и уже пошедших на одряхление скоропостижно увядающих дел и уверял, что никому нельзя верить, все лизжут свой пупок.

На улице шёл месячный дождь, который расквасил дороги и носы, надежды света и планы зелени войти в зиму сухой. И уже привычно ломило затылки, саднило раны, тянуло суставы, а спасение – жить зажмурившись, как во время холеры, ещё недошедшей до твоего места, или бурлить по злкам баров с отчаянной головой и свержением непогоды путём восстания похмельного нутра, или любить тихо, укромно, заботясь лишь о главном – любить и нуждаться в том же.

– Нет, у меня всё хорошо, главное, чтобы ты был спокоен. Нет, нет, деньги есть, мне хватит. Я читаю. Но всё как-то очень грустное попадает. Хочется весёлого, хочется удачи, а всё про неудачу. Почему так? Ты должен знать.

– Кто ж его знает, почему писатели всё о грустном да роковом. Всё корчат из себя трагиков, на худой конец драматистов. Видно, не дают покоя чьи-то лавры. Хочется мировых проблем. А мировых радостей, как выясняется, нет. А грусть – она везде грусть. У нас без этого ни шагу. Говорят, Россия – место слёз и отчаяния, безысходности и страха, тревог и чего-то там ещё. Может быть, в грустном и есть что-то самое главное, что им только и ясно что. Почитай Рабле или Пикквика, Джерома или Фауста. В молодости меня это развлекало. Не знаю. Улыбайся, в конце концов, просто так. Растяни свои чудные губки – и ух! – и хохочи. Эдак вся Америка и Европа так из себя благих строят. Тут целая, мать, наука. Говорят, помогает. Цветут, если не приглядываться.

– Что я, дурочка что ли? – засмушалась она, и было видно, как открывается её лицо и спадает озабоченность, морщинки спрыгнули со лба, а фигурка распрямилась – она заиграла. – Смеюсь, когда хочется, а не по принуждению рта.

– Разумно, но не правильно. Грустить всяк умеет. Чего грустить. Это ведь твоя жизнь, не переживёшь её заново. Так и не переживай. Всё что есть, то и хорошо, то твоё, а это, любезная моя, капитал, ты же – капитанша. А не будет – тоже хорошо, нет темы для беспокойства. Тогда мечтай. Сильно мечтай, это приятно и ни к чему не обязывает. Обязанности они, знаешь, вяжут повяжут,

отвязаться не могут. Ну их. И меня не слушай. Мы в ответе за тех, кого поучаем, слыхала?

– Нет.

...Она переставала понимать, о чём он говорит, но это её только опьяняло и её забота была не внимать, но смотреть за движением его губ, движением морщин лба, за небрежностью рук, ходящих по воздуху, точно по тверди.

– Так вот, я тебе ничего такого не говорил. Слова – они вроде воздух спёртый, потом не отмахнуться. У бандитов с этим знаешь как строго. Слово – дело. Это у нас в мирском слова, что пузыри, выдул – и полетело. Щёлк – и нету! (А как он щёлкал языком, точно стрелял из пистолета!) И легче пуха, проще пареной репы. Оттого и живы ещё как-то, что пустомелем без забот, но ради красоты времени. Я тебе скажу...

Он говорил что-то ещё. Она слушала его заворожено, не понимая слов, не слыша, лишь наслаждаясь его заботой донести до неё какие-то мысли, соображения, как-то успокоить. И это было важнее всего.

Она не вникала в содержание, советы и мысли улетали в бесконечность пустоты, но он был рядом и проявлял о ней заботу.

Однажды, набравшись решительности и духа противления, она пыталась навести на него ревность, чтоб в нём прозвучали узы, натянутые страхом потери.

– Я познакомилась с Фиделем. Он кубинец. Тебя так долго не было.

– Хорошо, что не корсиканец.

– Мы встречались.

– Ты не разочарована?

– Он говорит смешно, мило коверкает слова... Он звал меня к себе в свои тёплые края.

– Он не поёт?

– Он любит медуз и крабов.

– Краб и медуза друг друга не замечают. Она парит, он ковыляет боком.

– У него красивые глаза.

– Тебе стало теплей?

– Мне показалось, что я этого хочу.

– Я рад, что ты согрелась.

Врачи настоятельно рекомендовали ей вести регулярную половую жизнь, чтобы сохранить и физическое, и нервное здоровье. Панацея соитий ими воспевалась и шла впереди медикаментоза, гормональных блокад и даже душевной терапии во время променажа после вальсирования с нагуливанием сексуальности через обтягивание попы до проступа нижнего белья и прогиба бедра незначай.

Она слушала их с пониманием, улыбочиво кивала, и даже говорила: «Боже, как просто, как это просто». Но не могла им объяснить, что регулярность связи зависит от свободного времени того, кому она себя посвятила.

Она не могла, как её приятельница, значительно старше её, но дородней, налитей, имеющая право выбора по стати и по характеру с затмениями и яростью, строго поставить визиты для любви два раза в неделю, требовать этого от «донора-визитёра» до скандала и отлучения от дома, от ласк, которые мерно расходовались на задачу оздоровления. Донор получал свою пайку и клей, приятельница – своё воскрешение силы, и ей доставало заботы – шевелить пальчиками там, где рождается желание нового визита и ещё на несколько слов, от которых донора приходилось выталкивать прочь за раскрытую дверь, опасаясь дуплета вязки. И она делала, что могла – она его ждала.

И не дождалась.

Видимо, гостинцы кончились, а в его судьбе появились другие опоры.

Он был главным её гостинцем. Даже если бы он сидел в инвалидной коляске, немощен и убог, она подозревала, что желала бы его видеть ещё больше. И тайно мечтала провести у его постели год, а потом всю жизнь ходить за ним и наслаждаться его присутствием. Он действовал на неё магически, хотя никаких особых достоинств в его облике не наблюдалось.

Он был деловито потребителен и даже несколько грубоват и храплив. И к тому же он был не для неё. Он как бы достался ей по каким-то особым свойствам чудачества, чудачества её натуры.

Что движет мужчинами в минуты страсти, она знала, она не знала, что нужно сделать, чтобы обрести для себя счастье на век. Поэтому просто заплакала, плакала легко, долго, волнами воя и притушая всхлипы, будто раздумывая над тяжестью потери, лишь ощущая утешение, очищаясь влагой слёз.

И этого оказалось достаточно, чтобы простить и его, поняв, и мир, отодвинув его громаду и мутное бурление, и себя – за надежды, которым не суждено сбыться. И слёзы, её лёгкие слёзы, стали теперь главным гостинцем в её судьбе.

Только в окно ей теперь смотреть стало скучно. Но зиму обещали снежной, и, может, это обрадует глаз и всё станет лишь прошлым, которого не вернуть, а значит, что-то ещё будет впереди.

И плакать ей теперь стало радостно.

А шарф, его шарф, очень хорошей шерсти, она постирала и носит его зимой, чтобы не заболеть чем-нибудь обычным.

28.10.2000

ПЕТЛЯ, УДАВКА И ХОМУТ

Гас свет, гасли люди, гасли надежды быть услышанным.

Гость не приходил. Его прихотью было – запаздывать. Точность – вежливость королей.

Он был королём точности. Запаздывал точно. Ровно настолько, чтобы уже потеряли надежду, с одной стороны, но, с другой стороны, чтобы не переключили своих мыслей на спокойные предметы. И тут же возникал.

Объявляясь, он объявлял о себе разом. Без сомнений. Сдавливает – было его капризом. Он так и называл себя «капризёр».

Вдыхать густой, спёртый воздух было наградой. «Я спёр ваш гнусный воздух, человесяне!» – гикал он и присаживался на приступочку очень повождички. Ничто не могло его смутить.

Смута – его вдохновение.

Он балансировал на острие рожна и в своём гуле запрокидывал голову, оголяя шею с метами петлевой хватки – гордился. «Знак жизни – всё ещё жизнь. И это бодрит мой бритый подбородок», – примеривался он к теме. – «Начнём с конца. Я приглашая вас на кознь».

– О, если бы не проклятая погода, которая так хороша, что я не могу выйти на улицу – чувствую отвращение от всеобщего счастья и беззаботности, то я не решился бы вам поведать историю моего вынужденного палачества.

Сидите, сидите, я вас ещё построю, придёт время.

Разве они счастливы? Они претворяются. Они не знают погони за собой, потому что беспечны, эти мои сограждане по принуждению. Было же время, были события. Правильные.

Признаюсь, не сильно, но признаюсь: я их ненавижу. Они рабы, рабы по рождению. Я не беру другие места, я беру родные, мне легче их охватить взором и мыслью.

Во-первых, они все какают и так смрадно, что стоит удивляться, что есть мнение, что у них есть душа, что придумано богом, что голая ложь и побаска. Они смерды. В этом их назначение – смердеть и каяться, каяться и кататься, кататься и вываливаться в грязи и своих соплях.

Во-вторых, – запомни первое.

И вдумайся в истину слов истых.

Только диктат и заложничество, только диктатура права на самообладание – бой, только огонь и плеть способны удержать мир от хаоса и пыли забвений. Порядок и процветание встанут рядом.

Нет, конечно, нет. Всё это устарело. Не стоит говорить. Наш консилиум другого сомнения.

Они заслуживают куда более прогрессивной участи. Они заслужили поводка. Поводырь вот только сдох, а поводок волочится, желая быть подобранным рукой сальной, сальной от нутряного сала черепах.

Мы, палачи, не очень любим говорить о тонкостях своей работы. А она, как и многое в этой жизни, по велению сердца. Сердца государственной шины.

Этот механизм от разума общежития. Он неумолимо катится сам по себе по воле наклона. Накрѣнность его разгоняет.

Бог пасует в устройствах. Бог равнодушен и небрежен в заботах. Он партиен. Кто в него верен, преклонен – тому благодать. Давальческое сырьѐ.

Этого ли ждут болезненные сердца? Они ждут справедливости не после всего, а до рождения. Справедливости нет, нет и его. Участия. А значит, где же он? Нет и его. Ничто ничем не правит. Правит случай и катаклизм. Управляет палач.

Жизнь после смерти – это как смерть после жизни – слишком много логики. Гиков мало. А в них музыка подлинной страсти.

Катаклизм – это клизма, это катарсис, это катастрофа искупления.

Он правит, он восседает.

Когда луна упадѣт в море, тогда восстанут силы ила. Тогда будет ясно кто есть кто.

Он пытается душить своей лелейностью издалека, тошнотой ладана в ноздри, иносказью, мы же душим правильно – петлѣй и удавкой, а по праздникам глазами – вблизи, не говоря вообще, а только заглядывая в заглазье.

Дьявол зараза. Ни разу не восстал как заказывал Главгнид.

Он вступил в сговор, обфурил место, запаршилвел роскошью тлена и откупил себе пороки и погубляющие сладострастия. Он не занят достижением, он занят балансом, политиканствует с вершинами.

Яма ростом с гору, тьма шире неба. Где это? Нет даже намѣка.

Но я принуждѣн. Мне нужно занять посторонним моѐ ноющее, свирепое сердце.

Должен вам сказать откровенно, свирепое сердце не соврѣт, но скажет полную ахиною. Это со мной было столько раз, за что и предан.

Предан суду. Предан тем принципам, которые важнее светящего солнца.

Оно глупое.

Оно светит в расчѣте осветить, но только затемняет и ярит своим жѣлтым ядром. Слишком украшено, чтобы быть в почѣте.

Оно подло, его подлость в том, что стоит ему моргнуть, выбросить что-нибудь сверх меры – пропадѣт работа даже у образцовых государевых служек. Всѐ покроется увяданием, станет бурым углѣм.

Это и радостно и досадно, некому будет наблюдать всѣ это со стороны.

Только эти черви, что прячутся в Ладожском озере у Зеленца, эти тарелочные шкварки, иновселенцы, на одно мгновение смогут насладиться тем, что Земля вспыхнет крошкой солнца и заиграет зарницами были, падшей пустоты, острогом забвения.

Оно хвалится тем и теми за то и за что я его презираю. Оно непредсказуемо.

Оно светит всегда, значит, даже тогда, когда я его не вижу и не могу напрямую ненавидеть. А ненавижу за глаза. Это против моих исторических правил.

Ненависть за глаза – это вроде бояться прямого противостояния. Унизительно и оскорбляет честь выпестованной образцовой личности, прислонённой к боли без посредников, пройдящей истую, лютую школу лишения.

Лишения жизнью.

Я интернационалист.

Мне всё равно, кого лишать гражданства, то есть головы, хоть бы: узбека, еврея, друга немца, американца-супернационала, австралийку Лийку, индуса Мачагара, цыгана и ещё коммуниста, который большевик, или, что труднее, но слаще – себя родимца – как бы русского, поскольку я интернационалист по крови и убог по призванию Мессианец, которому мексиканцы не по росту тварь. А нам это всё равно. Я всех люблю одинаково, мы братья по крови.

По крови на моих манжетах.

Я не скрою, как некоторые стесняшки, хотел бы, намеривался даже, стать фашистом. О, это бы мне пошло: чёрная форма, свастика с хвостиком, расправа с неверноподанными, иноверцами на месте без суда и без ума. Фашисты любят фисташки и саями, пьют мочегонное пиво и тихо впадают в запив.

Без ума от радости.

Однако, мистика третьего рейха, и второго, и первого особенно мне претит.

Я не склонен вдумываться в языческие тонкости граальской науки осей, скрижалей и временных шарниров и приглядываться к сосудодержаниям тем более.

Вносить ночные горшки – не моя работа. Мелко. Алоизевич прав, застрелившись шприцем. Размах велик, а Махи живы. Кто не снами, тот против нас.

Сосок прочмокал губой, хотя назначали. Клялся, строил, колёсил. Чин был полон забот, а захлебнулся сам, даже не отведав яркой измены.

Злопамятно. Перевелись орлята, орлы на голову гадят, мумийствуют. Искал ночную вазу, да промахнулся. Бей своих, чтобы чужие боялись.

Гадить не учат. Естественность правит. Огаживать ценнее оглаживать. Прок на лицо. Кривеет.

Моя же забота наполнять чаши, вазы чужим страхом помёта. Покорять – моя работа. Вздывать, пучить и лучить.

Покорять себя, слабеющего в дрожи. Этим я близок к клану избранных.

Избранных на казнь. Забранных за дело.

Слова – не мой удел, они текливы и шаловливы в своих прихотях. Моя же прихоть – тихо рассекать.

Я склонён к другим идеям. Идея национальной исключительности мне явно близка и по вкусу послевкусия тонка и приближена в достижении моих глубин. Бесспорно.

Нации периодически нужно исключать. Без порно здесь не обойтись. Раздевать, мыть и обмывать. Это закон выживания.

Выживания другого с твоего места и территории ненависти.

Я оскорбителен. Сознаюсь.

Стоит кому-нибудь сказать, что я не прав, я переживаю это очень трагедийно. Идея проста – покаяние всеобщее и бич в руках истых соплеменников членов ордена «Всласть».

Печь придумана не зря.

Она должна печь новое. Печь новое поколение, новый порядок и распорядок. Первый барак меняется исподним со вторым.

Новые ценности – это задача. Гигиена тела и эмоциональная готовность встречи весны – вот наша правда.

Ледниковый период ещё не настал. Кадры решают всё. За кадрами голос: «Караул!» А тут и мы, караульные жути. Жгуты наготове.

Жуть моя подружка. Я сам пытался самоповеситься трижды. Трижды мешало моё мнение – я не увижу этого со стороны. Я слишком ценен, чтобы залезать в это шеей по шее.

Я хочу видеть, чтобы насладиться тленом и бредом признаний. Я постою при знании. Подноготная так и сочится из уст мёдом. И приплясывать шаманью, тот танец, которому нет равных – танец нутра, обнаружившего праздник лишений.

Каждый, каждый заслуживает расправы. Дай те мне волю, дайте немного средств – петлю и палку – каждый будет виться вокруг моих лодыжек, каждый будет пить мою мочу, восклицая: «Янтарная комната!»

Их нужно прятать в слитках – ценности. Мелочь разнесут по карманам.

Обманом нужно, заманом. Никаких прав, только право. Право казнить и миловать. Право на свободу признаний, чтобы сорвать с обода худые покрышки, которые мешают движению к сдвигам.

Это как упасть в огнедышащий котёл, в дышло кратера и лететь, сопротивляясь растворению жаром. Так я и живу. Если это вы примете за преисподнюю – вы невежественны до скончания дней, если не попадёте ко мне волею рожею. Козловидность ваша достойна.

Преисподняя – под вашим исподним и нигде иначе. Почешите пах, там живёт страх.

Но не в этом суть.

Признаюсь, я ненавижу государство. Оно дряхло и своевольно, оно не работает во всю силу своего хребта и своей станины.

Оно тупой, назойливый вор и разбойник в праве.

Но оно закадычно. Чем впечатляет.

Оно вырвет кадык каждому, кто смеет его хлопать по плечу. И в этом, в недружественном, его над, его под, его всемерное законоволие и награда для поданных по призванию. Я горжусь его скотством, я рад зверству.

Зверство главного скота – это и есть порядок стада и стадий развитий.

Дохлые коммунары – кому хлыст, кому нары. Прочие пали, зачалив себя на удаль шаманов от популярных шалманов.

Платон всех замутил своими легендами. Атлантида – это «анти да».

Это Атлант и его подружка Ида щекотали Платону слух своими языками, занимаясь любовью – сажали виноградную лозу поодаль от ручья, где на камне и сидел Платон, опасаясь простуды земной, поместился на камень, нагретый лунным светом.

Всё проще. Всё яснее. Каждому на шею нужно надеть петлю и поставить на табурет с двумя ножками.

Пусть каждый работает, каждый чувствует, что кататься на велосипеде и стоять па табурете – это не одно и то же.

И всё же...

В дверь позвонили.

На пороге мальчик, нет, молодой человек. Кто это?

– Папа, я на минуту, я хочу надеть твою куртку, мы...

– Кто вы?

– Папа, я на минутку...

– Вадик?

– Папа, что это у тебя? У тебя на шее рана. Ты ослеп?

– Рана, шея? Да, я плохо вижу. Нет, я вижу хорошо, я плохо смотрю...

– Ты посмотришь...

– Нет, я тут сочинил... у меня был гость... в общем... что тебе надо?.. и уходи... Я же просил не сбивать меня, я не Цезарь, чтобы жить параллельно, чёрт возьми!..

– Тебе нужна помощь.

– Да, да, помоги мне, уходи скорее...

– Она синееет, папа.

– Кто синееет?

– Она синееет. Ты себя душил?

– Нет, я освободился... Я в порядке...

– Где твой гость? Он хотел тебе зла?

– Ты его спугнул. Он будет жить в другом доме. Ты не дал мне договорить с ним. Это смертельно важно...

– Папа, можно мне остаться?

– Нет, одиночество – это единственное, что у меня осталось ценного.

Уходи. Потребуешься – позову.

– Отец, не гони меня.

– Ты отнимаешь у меня шанс добраться.

Сын повис у него на шее.

– Ты мой хомут, – сказал сочинитель и проверил рукой шею сына.

Она была ещё чистой.

11. 2000 г.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Внедрившись «стрелочником» к *наполнителям чаши чужим страхом помёта*, Серёжа делал всё, чтобы спасти *приглашенных на казнь*. Точно герой Варлама Тихоновича Шаламова, не однажды уводивший В.Т. от гибели:

1. Случайно попавший в мясорубку зэк, открывший уже теряющему сознание В.Т. в пересыльной тюрьме спасительную форточку (В.Ш. «Малая Вишера»).
2. Случайно попавший в мясорубку зэк, отогнавший от В.Т. стаю шакалов.

Всё тот же самый зэк, спасший возвращающегося «на материк» В.Т. в железнодорожном составе Иркутск – Москва (В.Ш. «Поезд»).

Серёжа поставил цель – вернувшись на грешную Землю, шархнуть по супостату из глубины преисподней. Помимо «добровольца» В.Т. («Воскрешение листовенницы») такое оказалось по плечу разве что «фомантику» Вячеславу Овсянникову («Тот день»).

Но не успел: шакалы, безошибочно унюхав чужака, при невыясненных обстоятельствах его замочили.

В тот год где-то с середины июня я непрерывно звонил по его последнему адресу (запутывая следы и во спокойствие родных С.П. постоянно менял адреса) – и в телефонной трубке сплошные длинные гудки.

28 декабря я позвонил Сережиной супруге и хотел ей передать, что поздравляю Серёжу с Днем рождения.

А она уже полгода вдова.

У Слуцкого есть посвященные (кажется, Михаилу Кульчицкому) такие строчки, и (хотя я далеко не Борис Абрамович, да и Сергей Петрович тоже не совсем Кульчицкий) я, тем не менее, твёрдо знаю, что эти строчки имеют прямое отношение и к Серёже Ловчановскому:

*Писатели вышли в писатели.
А ты никуда не вышел,
хотя и в земле, и в печати ли
ты всех нас лучше и выше.
А ты никуда не вышел.
Ты просто пророс травую,
и я, как собака, вою
над бедной твоей головою.*

Анатолий Михайлов
октябрь 2019

Александр Гиневский

СИЛА ЕСТЕСТВА

(о поэтическом творчестве Аси Львовны Майзель)

Цель творчества – самоотдача...

... И тут кончается искусство
И дышат почва и судьба.

Борис Пастернак

Для песни пой, не размышляя
кстати ль...

Игорь Северянин



Фамилию Майзель, это имя отчество: Ася Львовна, – впервые извлёк я из письма Константина Кузьминского изрядное количество лет тому. В письме туманно намекалось на причастность Аси Львовны к современной андеграундной поэзии. Оказалось, она была знакома с самим Давидом Даром. Между тем, вскользь было упомянуто и то, что она профессиональный филолог, закончила наш Питерский университет аж в 1950 году.

В заключение письма Кузьминский требовательно настаивал на моём знакомстве с этой тётенькой в интересах «общего дела». Дал понять, что он ждёт моих впечатлений от этого знакомства. В письме были указаны и адрес, и телефон.

Я безоговорочно доверял тончайшему чутью Константина Константиновича, но, честно говоря, то обстоятельство, что тётенька некогда прошла горнило казённого образовательного учреждения, весьма расхолаживало моё желание погрузиться в суть ещё одного пишущего существа. Пожалуй, потому-то Костину настырность я счёл за очередной бзик мэтра.

Однако, по прихоти настроений всевышнего, я однажды оказался у Аси Львовны. В Пушкине, в маленькой, более чем скромной, квартирке на втором этаже небольшого домика. Домик стоял так, что в окна единственной комнатки и кухоньки всё время заглядывало улыбочивое солнце. Оно видело, что, в хозяйском скворечнике, куда ни повернись, – уткнёшься в однообразие книжных полок. Видело, что хозяйка весьма нуждается в моральной и физической поддержке. Солнышко всё это видело и... помогало.

Кроме меня, в гостях у Аси Львовны оказались ещё несколько пишущих. Владимир Лапенков – прозаик, литературовед, культуролог. Сергей Ловчановский – прозаик, сочетавший витания в облачных химерах сочинительства с суровостью юридической деятельности. Прозаик Анатолий Михайлов со своей славной женой Леночкой. Как выяснилось, Михайлов ощущал себя продолжателем литературных устремлений Солженицына и Шаламова.

Я был изрядно озадачен тем, что Ася Львовна, несмотря на седины – проявляла искренний, и даже горячий интерес к тому, что делают другие из тех, что помоложе.

Словом, кто-то что-то читал своё, а потом это обсуждалось.

Оказалось, такие встречи проходили регулярно. И я попал в разряд подлежащих «неукоснительному обсуждению».

От тех, кто посещал Асю Львовну, узнал, что она после университета преподавала литературу в обычной средней школе. В дневной и вечерней. И видимо неплохо преподавала. Во всяком случае однажды, по прошествии ряда лет, в её жилище ввалились два мужика с огромнейшим букетом живых роз. Это были Борис Гребенщиков и Анатолий Гуницкий – создатели «АКВАРИУМА». Оба угловато благодарили учительку, которая когда-то вызывала их к доске и требовала прочесть с выражением стих то Державина, то Вяземского, не говоря уже об Александре Сергеевиче.

Да-а, видать и впрямь неплохо вела свои уроки Ася Львовна. И не только по предмету литературы...

Чуть позднее я узнал, что в своё время она загорелась интересом к творчеству поэта Василия Филиппова. Того Васи, который, по выпавшим суровым обстоятельствам жизни, был обречён до конца своих дней избывать судьбу в узИлище психушки. Усилиями Аси Львовны, на её средства была, наконец, издана основательная книга «Стихотворения Василия Филиппова». 2000 год, издательство «Петербург XXI век».

Казалось бы, какие материальные средства могут быть у советского пенсионера для помощи малоизвестному стихотворцу. Но у Аси Львовны была не только пенсия, был у неё и сынуля Сашенька. Теперь уже известный физик-математик, давно живущий в Америке. Этот математик был внимателен к жизненным и духовным запросам мамули. Запросы эти больше сводились к горячему желанию помогать тем, кто вышел на крутую тропу, ведущую к Парнасу...

На другой год, после выхода, книга стихов Василия Филиппова удостоилась премии Андрея Белого.

Не сразу, со временем, Ася Львовна подарила мне несколько своих книг. Одна из них – книга стихов. Я заметил, что сам автор явно стыдится причастности к «банальному процессу бумагомарания».

Позднее я не раз слышал от неё: «Я не поэт, я учительница...» «Экая скромность... Не старческое ли это кокетство в обёртке банальной дамской экзальтации?..» – думал я, каждый раз, слыша эту фразу. Мне казалось, что человек, говорящий так, страхует, пытается избежать «ответственности за содеянное...» Невольно вспоминался Кузьминский со своей сурово-ироничной присказкой: «Слова когда-нибудь накажут...»

Я прочёл её книжки. Прочёл с удовольствием. Особенно тронули меня стихи.

О своих впечатлениях от прочитанного регулярно «отчитывался» перед автором. Был рад видеть живую улыбку Аси Львовны, когда моё суждение «попадало в точку». В ту самую, которую каждый автор видит как личное «самобытное достижение». Но пока этого не увидел читатель, удовлетворение автора, как это известно, сомнительно-туманно, и упование неизбывно теплится где-то в глубинах души.

И вот два года назад не стало Аси Львовны. Ушла она от нас 1 февраля 2013 года.

Не стало поэта, не стало сильного человека, преодолевшего суровую жизнь своего времени. Прошедшего по ней с достоинством, с желанием бескорыстно помочь ближнему. Не сломившегося под натиском суровых обстоятельств, сохранившего критерии порядочности. Сохранившего невольное удивление и радость, от ощущения, от осознания бесконечного разнообразия МИРА, дарованного каждому из нас, за единственную заслугу однажды выкарабкаться из чрева матери...

Иногда я достаю книгу стихов Аси Львовны. Неказистый бумажный переплёт. Название «ДНЕВНИК (1961 – 1976)». Какое сухое, какое аскетическое название для книги пронзительной лирики?.. И даже посвящение Давиду Яковлевичу Дару не гасит невольное, самое первое впечатление.

Подзаголовок «Петербургские мемуары», С-Птб, 1994. Составитель Галина Георгиевна Зяблова. Издательство – некий «Киноvideотехнический колледж». Видать, какая-то случайная конторка того времени...

Читаю-перечитываю с ощущением душевной неловкости: ведь только сейчас по-настоящему улавливаю всю глубину авторского проникновения в трагизм человеческого существования. Испытываю буквально потрясение от этой неподдельной, щемящей любви к родине, выраженной так просто, так невольно, так по-своему и с такой силой...

Я и при жизни Аси Львовны улавливал эту ипостась трудов поэта, – её верлибров, лишённых «завитушек рифм и ритмов». Но улавливал как-то больше рассудком и не в той мере. А тут...

Что ж, к делу.

Ася Львовна Майзель родилась в Белоруссии. В глухом сельце Любань под Слуцком. В 1927 году. Отец – Лев Гаврилович был лесником, мать – Рахиль Марковна – занималась домашним хозяйством.

В первый же день войны Рахиль Марковна, женщина энергичная и решительная, взяла последнюю буханку хлеба, одела потеплее обеих дочек Асю и Галю, и пошли они пешком на восток.

Лев Гаврилович на тот момент был мобилизован рыть окопы.

Все выжили. Женщины, после долгих и тяжких скитаний, оказались в Свердловске. Там-то Ася Львовна и окончила среднюю школу с отличием. Поступила в Университет.

Позднее, по сложившимся обстоятельствам, перевелась она в Ленинградский университет. Закончила его, став филологом по образованию и по призванию. Вся её дальнейшая жизнь была связана с Ленинградом-Петербургом, с Царским Селом.

По сути дела стихи «ДНЕВНИКА» – это подведение итогов прожитой, той, что уже за плечами – жизни. И реализуется это подведение в те самые минуты озарения, когда приходит глубокое осмысление увиденного и пережитого.

Дальше, испытывая горячее желание поделиться с другим возможным читателем, я буду приводить стихи и строки из них. Буду выделять то самое, что особо остро и самобытно выражает чувства поэт. Выражает столь конкретно и очевидно, что мои комментарии оказались бы не только лишними, но, пожалуй, и неуместными. Буду лишь подчеркивать самое-самое, на чём хотелось бы задержать внимание любого, заглянувшего в этот текст, желающего вникнуть в приводимые мною стихи.

Я дружу с теми...

Я дружу с теми,
кто душою прям,
кто не умеет вилить и метать петли,
кто не лоснится,
как масляный пирог,
кто не устал дивиться тайне
листа, гнезда, облака,
кто знает тысячи таких
маленьких тайн –
*и как встряхивать землю на лопате,
чтобы она пухом ложилась
для будущих урожаев.*
Но охотнее всего с теми,
кто измаялся,
кому нужно
как ребёнку – молоко,
мужчине – крепкий глоток,
женщине усталой – ласка.
Я – молоко, я – вино, я – ласка,
я – полный стакан надежды.
И если они принимают
мои дары,
в душе моей благодарной
зацветает солнце.

Отцовский продан дом

Отцовский продан дом.
Угрюмой пилигримкой
Стою у дорогих ворот.
Отцовский продан дом –
Как это больно...
На этом топчане под вишнями
суженого обниму, бывало, мужа,
в год нашей свадьбы...

...И вот я заберусь на сеновал,
и там читаю книжку,
или смотрю на потолок,
иль изучаю паутину,
в которой солнце
играет, как зеркальный зайчик...
...А вечером, когда закат окрасит небо,

на скамейке,
которую Бандура, наш сосед, поставил,
все соберёмся: здесь и Ева Бандурова,
и старая Бандуриха сама,
и тётя Настя, и Ольга шуба,
и Саша, которая за словом
никогда в карман не лезла,
а ругалась так, что боже упаси...

...Как много может дать душе скамейка.

...Одно мне душу лечит:

Наш дом кутил крестьянин.

Он сбережёт,

Не даст в хлам развалиться...

Памяти их...

...Хаим и Гинда отвели Минну с Эммой
в Кастюши.

Деревня глухая,
может немцы до неё не доберутся.

Там – погибли.

А эти – здесь погибли.

Мужчин сразу побрали.

Женщины...

Люба Радунская погибла вместе с матерью –
были расстреляны на своём дворе.

Нахама Беньёмина погибла вместе с матерью.

Геня Доброборская погибла вместе с матерью.

– А ці мала рускіх загінулі...

(а мало разве русских пропало...) –

Говорит Зина.

В Амговичском районе

Деревня Старева –

признали, что там партизанский район.

Вызвали карателей.

Людей попалили.

Дома попалили.

– Асталіся адні колодзезі

(остались одни колодцы), –

говорит Зина.

Вместо домов теперь стоят кресты.

Много таких деревень.

Которые деревни *понаселилися*,

которые так остались.

* * *

Ливень.
Ветер косой,
буран цепкоружий
крыши с домов посрывал,
яблоню кинул на землю,
как репу,
сосны с корнями повыврал,
двух аистят из гнезда
в картофляник закинул,
гнездо – дом аистиный,
плюхнул...

Страх

... и имена таинственные:
Пчѣвжа,
Ингари,
Будогощь,
такие же прекрасные,
как – Ареса,
Верхутино,
Уречье,
Все, как в навечно кинutom
Уголочке земли...

Луг, любимый поэтом

В чужой стране,
В Эстонии прекрасной
У озера стою.
В зеркало озѣрное
девочка глядится,
ребѣнок огромноокый,
а рядом
еѣ отец горячим взором
охватил гор полукружье.
Какие лица!
И чудятся мне
первые евреи,
шумеров царство покинувшие,
напрягшие свой путь
к звезде далѣкой...

В гостях у матери

Как трудно писать того портрет,
с кем связан не случаем,
любовью или страстью,
*но потаённым чувством –
силой естества.*

... В руке подойник
и пена молока на сетке марли.
Бежит
(от немцев)
Босые ноги потрескались –
Детей спасать.

... У меня в гостях.
Собиралась жить долго,
одеяло взяла и зимнее пальто,
а через две недели обратно едет,
наверно, словом обидела её.

Строки любви (мгновения)

4

... Я люблю ваше лицо,
седые космы волос,
мгновенную, как молния, улыбку.
Но странно,
руки вашей не помню.
Дайте её мне,
не бойтесь.
Я беру её в свои руки,
какое напряжение в руке!
Не бойтесь, поверьте,
глажу...
Ещё, ещё,
обволакиваю своим телом,
вот так,
теперь хорошо...
Теперь я отдохну на вашей руке.

10

Для меня
вы неподсудны,
*даже мысленно не позволяю ропоту
сорваться с губ.*
*Ладони памяти протягиваю к вам
только для того,
чтобы поцеловать вашу руку...*

13

...О, если бы мой крик
проник в твоё окно
белым печальным облаком,
вошёл в твой слух,
и ты бы вспомнил
мой первый приход
и свои ласкающие глаза.
Неужели настанет
такая минута,
неужели настанет,
когда я, наконец, не закричу,
вспомнив тот день.

23

Я была весёлым человеком
на земле живых,
приветом глаз немягих одаряя,
пристально я на людей глядела,
в сердце принимала.
Ну – а плакала,
*то только с белою тетрадною страницей,
синюю тетрадкою в линейку.*
Но не знала,
как зовутся плачи,
*и привычно называла их –
стихи.*

На все приведённые мною стихи у автора лишь один восклицательный знак. Именно в этом стихотворении.

Какова сдержанность не эмоций, а их «показа», «демонстрации». И это в стихах, выражающих восторг от причастности к Бесконечному Миру Бытия... Впрочем, как мне кажется, ощущение от сдерживаемых чувств только наводит на мысль о бескорыстии авторских усилий.

Восславлю

Л.

Восславлю
тепло постели,
когда касается бедро бедра,
и разливается тепло по жилам,
и касаются пальцы,
и ясен взор женщины,
свет в лице её,
доброта в сердце её.

* * *

В вагон метро
вошли четыре девушки-вьетнамки
с короткими чёрными косичками
некрасивые,
три из них –
маленькие шупленькие,
четвёртая –
маленькая и полная.
девушка в жёлтой кофте
обняла девушку в розовом
и положила голову ей на плечо,
девушка в вишнёвой курточке,
согнув кисть руки,
подняла кулачок к губам
и задумалась,
маленькая полная
разговаривала с пожилой женщиной,
смеясь некрасивым ртом.
А вместе
они являли собой группу,
исполненную пластики
тончайшего очарования.

На ветру времени
(мгновения)

2

...сгустились сумерки,
Вместо того чтобы сказать:
Сгустилась грусть.

5

...В чёрном
я приходила всегда,
чтобы бедность его не нарушить,
в чёрном
я приходила к нему,
чтоб не ткань,
а глаза мои видел.

День в лесу с Антониной Михайловной

8

Каждая травка
запах имеет,
и форму,
и голос,
и цвет.
Знает,
когда ей взойти
и цвести.
А когда ей со светом проститься,
знает ли это? –
Или, как мы,
хочет мгновение
длить.

* * *

Два раза,
когда ты меня прогнал
и когда ты умер,
ты показал мне,
что смерть бывает не страшной, –
как о ней думает неведение, –
а простой и желанной.
Ты показал мне

*(первый раз, может быть, мимоходом,
второй раз, может быть не желая),
глубины жизни,
а потому
смею
простые истины
вплетать в узор Искусства
без ухищрений,
с подобающим смирением...*

Как это тонко замечено! Да, смерть неотвратима. Но какова мудрость Природы?! Она не только примеряет нас с мыслью о нашем уходе, но делает этот уход желанным. Правда, жестоким способом: отнимая у нас и малейшие силы желания плыть дальше среди живых...

Потоком уносит

3

...Рука создана,
чтобы готовить пищу,
купать ребёнка,
притягивать к груди
ласкаясь...
*Боже, не дай ожесточиться
моей руке,*
когда с неё сорвётся удар,
пусть ей будет больно
и сегодня,
и завтра
и долго,
о, Боже, Боже Великий...

* * *

Обычайшее слово
приношу на
на алтарь твой,
Поэзия.
*Простой
домодельный сосуд
под северным небом.*
И он сияет
(пусть сияет)
переливами цветными
будто оболочка радуги.

**Девушка в белой кофточке
С воланами**

Я поднимаю глаза
и вижу
девушку
в белой кофточке с воланами
и с очень открытым вырезом на груди.
У девушки впалая грудь,
ключицы выдаются вперёд,
а глаза
прелестно нежны,
задумчивы и томны.

На ней простая обувь,
простой синий плащ,
скорее всего
она рыбачка
или
из их среды.

*Её облик
будит во мне
чувство потери.
Мне грустно,
и я помещаю
образ девушки
в белой кофточке с воланами
в дом стихотворения,
чтобы вспомнить её,
когда
загрущу.*

Вот ещё одно глубокое, пронзительное стихотворение:

* * *

Цветут маки.
Ой, красотища!
Красота!
Цветут маки
в огороде Никифора Шилы,
который знал Бажон,

как свои пять пальцев
и всегда находил в лесу
делянки с корчами,
богатыми смолой,
чтобы безотказно
работала смолокурня.
Он дружил с моим отцом
полвека,
а, может, поболее.
Они вместе
вдоль и поперёк
исходили Бажон.
А был случай –
блуждали,
но вышли на свет Божий.
Нашли при блуждании
пребогатеишую делянку.
На двадцать лет
запас там корчей.
В этом году
в хате Никифора
живу я...
А в огороде
цветут маки.
Говорят люди,
будто в войну
Никифор отводил людей в партизаны.
Он знал Бажон, как никто,
знал где завязнешь в болоте,
где пройдёшь, не замочив подмётки.
Говорят люди,
что Никифор отводил
евреев в партизаны
за золото,
то есть не всех отводил,
а только тех, у кого оно было.
То есть не по доброте сердечной,
а за мзду.
Я сижу в его хате,
в окно видны маки.
Смотрю на белые и сиреневые лепестки маков,
на то, как лепесток выходит из своего укрытия,
распрямляется,
испускает радостный вздох
навстречу солнцу
и думаю об этом.

Мне не хочется верить,
что Никифор отказался бы
спасти
моего отца
из-за того, что у него не было золота.
У него никогда не было даже часов,
не то что золота.
Не хочу думать,
что забыл бы
полувекую дружбу,
пешую ходьбу по Полесью
в поисках сосновых делянок.
Никифор умер девяноста шести лет,
прося, чтобы его хата и после его смерти
не поросла бурьяном.
Нет, такого Никифора не купишь
Золотишком.
Этим летом живу в его хате,
А в огороде дышат и кивают головами
Белые и сиреневые маки.

* * *

О, Верхутино
с ливнем лилового вереска,
с фиолетовым черничником,
с розовостеклярусным брусничником,
с белым мотыльком над жёлтым цветком зверобоя.
Мгновенный швырк ящерицы
питает душу целительной радостью.
а сегодня фильм Висконти,
пишущая машинка на столе,
стихи...
О, село Верхутино,
о, дожить бы до твоего фиолетово-васильково-жёлтого
брусничного
июля
ещё раз...

* * *

До чего я люблю
летним вечером
сидеть у дома Звягинцевых
на их лаве...

.....
... Неба голубизна густеет,
воздух густеет,
идут, пыля, с выгона коровы,
и Ганна Шила
спешит с литровой банкой
к Соне Звягинцевой
за молоком.
Ганну и Соною,
когда Ганна и Соня
были такой малышнёй,
как Андрюша и Оля,
как Ванюша –
знал мой отец.
*И потому мне душевно здесь,
в этой деревне,
деревне молодости моих родителей, –
зыбке моего детства.*
Потому меня тянет сюда,
потому интересно мне всё здесь.
Каждая, может быть, для других – мелочь,
мне кажется достойной стиха.

Воспоминание о Настасье Пархимович

... Надо быть немного не от мира сего,
чтобы понять,
что такое
эта Настя,
чтобы ею любоваться.
А если этого – не от мира сего – нет,
то Настя может показаться
нелепой.
Конечно,
как и её невестка.
Настя тоже знала,
когда надо сажать картошку,
когда выкапывать,
когда косить сено,
как сено сушить,
грести
и смётывать в копны.

Умела выкормить кабанчика,
засолить сало,
наделать колбас.
Но Насте не нужно было
ни форсистой одежды,
ни обильной еды,
ни денег,
без чего не знает счастья её невестка.
Потому что Настя
была сказочницей.
Ещё в детстве
в лесу она увидела
цветок папоротника,
и на всю жизнь он очаровал её.
И мне она сказала:
– Пойди,
донька,
в лес, в ночь на Ивана Купала,
стань, где дороги крыжатся
у папоротника.
Приглядишь,
и ты увидишь чудесный цветок
(убачыш чароуную кветку)
и в ту же минуту
что каждая травка говорит,
услышишь –
(што кожняя траука гаворіць –
пачуеш).

Чему меня научила Настя

...Мы выходили из дому
до зорьки.
А возвращались,
когда солнце гасло.
Мы потрудились
и надьшались лесом.
Надьшались лесного духа:
запахами мха, грибов, лесных цветов, трав,
наслушались птичьего гомона,
шума сосен –
*унесли бодрость леса
в глазах.*

Так Настя научила меня видеть малый предмет жизни,
научила надежде
что так же, по яголке, – как можно собрать ведро ягод, –
можно собрать впечатленья души.
Надо только собирать терпеливо.
*И сорок лет спустя
я помню дорогу
в тумане,
с первыми лучами зари
и до того, пока солнце гасло.*

Золотой стог

Не тогда дождь,
когда просят,
а когда косят.
Но это сено
косили, сушили,
ворошили, стоговали
при ясном солнышке.
Стоит золотой стог.
Светлым золотом
переливаются бока стога,
сияет ясным золотом
поднятая к небу голова,
сияет-переливается
цветным золотом
июльских трав.
Золотой этот стог
рядом с тёмными стогами
(их четыре, –
которых не успели состоговать в ведро), –
как сама молодость.

* * *

За золотым стогом – поле ржи.
За полем ржи – лес.
А у самого леса
вытянула узкое тело
Ареса.
Ветер приносит мне запах реки
и запах луговых трав.

Приносит запах ржи
И запах ближних цветов,
которые растут на обочине дороги.
Здесь и медосладостный чабрец,
и дурмящая пижма,
и анис,
и золотая розга.
Здесь и васильки,
И ромашки –
каких только цветов
нет на обочине песчаной дороги
у золотого стога.
Каких только трав и цветов запах
не поднимает тёплый вечерний вечер.
Доносит до меня,
шевелит дыхание,
радует и печалит,
потому что радость видеть и дышать здесь
столь велика,
что она граничит с печалью.

* * *

Сегодня мой день рождения, –
говорит Левониха, – я трошки выпила,
извините меня.
Ваш папа знал мою жизнь,
что я пережила, –
говорит Левониха.
Она плачет,
а я не знаю
как её утешить,
ведь я не знаю её жизни
и не могу найти нужных слов.
Потом я узнаю,
что у Левонихи было десять человек детей,
осталось семеро.
А сын Иван женился на еврейке.
Просила Левониха Ивана
не брать Лилю.
Просила Лилю
не идти за Ивана:
Лилия, дочушка,
ён Иван колхозный,
а ты учительница.

А Лиля в ответ:
Мамочка, мамочка...
Только и говорит:
– Мамочка, мамочка...
А теперь уже внук Левонихи
от Ивана и Лили женился.
– Как вас зовут? – спрашиваю я, –
все называют вас Левониха.
Но ведь у вас есть имя.
– Юзефа, – говорит Левониха.
– Вы полька?
– Полька.
Мне нечего подарить ей
и я иду домой,
срезаю три астры,
одну – белорозовую,
и две – белолиловые.
Два бутона.
Один – полураспустившийся,
нацеленный на цвет.
Другой – в завязи.
Ставлю в воду,
в бутылку из-под молока
и несу Юзефе.
Цветы! Целую вас! –
восклицает Юзефа.
Уходя,
через неплотно прикрытые двери
я вижу,
что она целует цветы.
Она целует белолиловый,
а потом белорозовый.

* * *

Мы сидим в хатке Зины.
Нас четверо:
Зина, Маина, Лева, я.
Я сижу на диване,
над которым висит портрет Антонины.
Мне хочется смотреть на её лицо,
и я всё время поворачиваю голову к портрету.
Вижу юное нежное строгое девичье лицо
с прямыми честными неуступчивыми глазами.
Зина сидит на стуле у русской печи.

Маина рядом на сундучке.
Лева поодаль у дверей на стуле.
Свет не зажжен. Сумерничаем.
Лакомимся печеными грушами,
это опад бэры,
которые Зина печёт на сковороде в печке.
Мы говорим.
О многом.
Нам хорошо.
Мы доверяем друг другу,
Мы друг друга уважаем.
Мы честные люди.
Мы работающие.
Мы не врущие.
Общаться нам – счастье.

Сурова жизнь этих людей деревни. Но с каким достоинством проходят они по ней. В авторской речи звучит сдержанная гордость и восхищение этими людьми нескончаемого труда, их силой духа и естества. Звучит и другая – тайная гордость. Гордость от сознания причастности по рождению к их кругу...

* * *

.. Особенно старались двое.
Друг перед другом своё искусство
показывали.
Один соловей щёлкал дробно-дробно, тонко-тонко.
Другой соловей трель рассыпал самозабвенно.
На лужайке,
у межи с полем ячменя,
паслась краснорыжая лошадь.
*Лошадь едва-едва помахивала хвостом,
подставляя песенкам чуткие уши.*
Пение соловьёв,
краснорыжая лошадь,
жёлтого колера стежка
*в голубозелёном лоснившемся ячмене –
всё это тешило,*
утешало,
радовало.
В Верхутине, говорят, было много соловьёв.
За Смолокуром,
аж до того места, где сейчас канава,
болота были.

В кустах,
в лиственных лесах
было столько соловьёв,
что вечерами
запоют-засвищут-защелкуют
аж на двенадцать голосов.
Казалось, болото шевелится,
кусты, леса шевелятся:
Верхутино – соловьиное царство.

* * *

Солнце светило
Шёл дождь
Цветастой дугой
Встала радуга.
Дождь
Солнце
Радуга
Поля
Хаты вдали
На кладбище кресты
Памятники
Оградки узорные
Яблоки блюдца стаканы рюмки
Сосны
*В изжелтасеребряном
Сказочнооранжевом
Преображении.*

* * *

Какими дрящимися
для памяти
бывают минутные встречи!
У магазина белокаменного одноэтажного,
с бетонными – в две ступеньки сходнями, –
ко мне неожиданно
быстрыми шагами
подошла женщина.
Назвала себя Таней.
Таня была под хмельком.
Бог обидел её,
не дал ей детишек...
Лет двадцать тому назад

хлопчик пяти лет, Вася,
напросился жить к Тане
(сын сестры из Петрозаводска).
Берегла Таня парнишку
пуше глаза во лбу.
Утром поднесёт ложку мёда
с парным молоком.
Самую крупную землянику,
самую крупную малину –
Васе.
А когда заболел,
закутала его в одеяло,
остановила тепловоз,
повезла в Старые Дороги, в больницу.
Когда через полгода
приехала родная мать,
он даже не узнал её.
Потом поскуцнел,
и вот они уезжают.
*Таня поехала провожать,
чтобы ещё побыть с Васей.*
Застучал поезд колёсами,
а Вася скажи Тане слова,
которые запеклись у неё в сердце:
– Ты здесь больше не нужна, –
сказал Вася, глядя на Таню
прямыми васильковыми глазами...
...И вот прошло двадцать лет.
Или чуть поменьше.
Или чуть поболее.
Однажды погожим осенним утром,
*такая была тишь,
что осина листьями не стрекотала,*
У дома Тани остановилась машина.
На МАЗе дальнего следования,
Рейс
Петрозаводск – Киев – Минск – Вильнюс,
Вася.
Дав двести километров крюка,
заехал к Тане.
Побыл два дня.
Вот и всей радости
Тане.

...Так, Таня,
нам любить –
так всем сердцем,
а нас как любят –
мы не вольны...

Вполне возможно, что ознакомившемуся со стихами А. Майзель будет любопытно сопоставить своё впечатление с мнениями специалистов-профессионалов. Привожу эти мнения:

«...Вы так сочетаете слова, что как бы создаёте иную реальность, очень правдивую, но иную – как бы отражение в зеркале – обладающую тем обаянием, которое свойственно только произведениям искусства».

Из письма Д.Я. Дара от 2.11.78.

«...За Вашими стихами встаёт такая цельная личность и так честно (искренне) раскрывая (распахнутая), что это вызывает изумление».

Из письма Д.Я. Дара от 10.12.78

«...Ваши работы, жанр которых мне трудно определить, я воспринимаю ассоциативно как своеобразный белый стих. Особо трогает глубина мысли, трагедия души, непосредственность эмоций обнаженной образности».

Из письма А.Д. Виноградовой от 5.03.91

«...Я небольшой ценитель (и знаток) современной поэзии, но Ваши стихи прочитал с огромным интересом, что-то в них есть чарующее и притягательное...»

Из письма Василя Быкова от 3.04.90

Книга стихов А.Л.Майзель издана тиражом 250 экземпляров.

Как с грустной усмешкой говаривал Александр Сергеевич: «Издали и – в Лету бух!..»

Но не хотела душа мириться с этой суровой правдой. Тайная надежда оказалась сильней... Надежда на то, что ещё кто-то взглянется в строки стихов поэта, и сердцем невольно откликнется на глубинный свет непосредственного чувства.

3.07 – 3.09.15

АЛЕКСАНДР ГИНЕВСКИЙ

О КОНСТАНТИНЕ КУЗЬМИНСКОМ

1. Константин Кузьминский – один из столпов андеграунда
 2. Три эпизода
 3. «Но нету дна – душа бездонна...»
 4. Он «был, есть и – будет...»
- ТРАХТАТ



Прощаемся с КостиКом. Расстаёмся... Увидимся ли ещё?.. За спиной моей две буквы «А» и «Б» – такого родного слова: БАНЯ... А ещё за моей спиной остатки мелкого грузовичка. Кузов его забит пустыми винными бутылками. То ли Костику некогда сходить в «Пункт приёма стеклотары», то ли в шибко богатой стране как-то не принято пополнять семейный бюджет такой мелочёвкой...

Лордвилл, октябрь, 2002 год.

I

**Константин Кузьминский –
один из столпов андеграунда**

(фрагмент из романа «Жисть моя – жестянка!..»)

...Как-то набрался смелости, зашёл к известному в ту пору поэту Вадиму Шефнеру. Показал ему свои «изделия». Он отнёсся к ним серьёзно. Велел отправляться в издательство «Детгиз». Там, при нём действовало литературное объединение. «Вам непременно надо туда», – сказал Вадим Сергеевич.

Так я узнал о существовании и «Детгиза», и ЛитО.

Долго ждал очередного приступа смелости, прежде чем ноги привели меня туда.

Руководил начинающими тогда Борис Никольский. Его книжки о быте и службе солдат Советской Армии издавались массовыми тиражами.

Наш пастор – человек спокойный, уравновешенный.

Помнится, как он долго, с серьёзным недоумением катал фразу из произведения начинающего: «Вдоль дороги сидел воробей...»

Что же касается подопечных, этих самых начинающих, то это были сплошь голодные крокодилы.

Предложили и мне почитать. Почитал. Так крокодилы налетели всем гуртом на мои тексты. В два счёта порвали в клочья и меня заодно...

Борис Николаевич, со своим учительским авторитетом безуспешно пытался отстаивать моё право оставаться бездарью. А крокодилам что?.. Им бы только рвать. Подсунь им сейчас Державина с Жуковским – и глазом не моргнули бы – порвали. Впрочем, вряд ли... Такого просто не допустила бы Инна Константиновна Тарасова. Работник издательства, прекрасной души человек, принимавший живое участие в судьбе начинающих. Она присутствовала на всех заседаниях ЛитО, подбирала вещи для альманаха «Дружба». И всегда старалась не допустить гибели очередной жертвы под натиском крокодилов...

И всё же, в свой первый приход я был сбит с панталыку. Никак не мог понять: с чего это те, что чуток даровитее меня, такие злые? До того я считал, что злыми чаще бывают бездари. Ошибался... Вот что значит отсутствие опыта...

Обычно новичок, после хорошей головомойки, убежал домой и больше не высывался. Мне же, первая устроенная выволочка, показалась интересной. И даже забавной. Я был свидетелем того, как могут кипеть страсти. А это – штука живая, непосредственная, – многого стоит.

Со временем я понял, что поведение крокодилов диктовалось инстинктивно-свирепым желанием уничтожить потенциального конкурента. Явно по Дарвину...

И впрямь. Сколько бы посредственностей топталось на пресловутой стезе без этого жёсткого мордобоя с последующим поеданием, без естественного отбора?..

И тут столкнулся я и с теми, кто гордо причислял себя к смельчакам андеграунда. Они хорошо знали литературу и прочие искусства начала века. Свой крест остракизма несли с достоинством. Понимали: политические игры государственных заправил привели к тому, что огромный пласт культуры был официально отринут и замалчиваем. Как там у Бориса Леонидовича: «Кому быть живым и хвалимым, Кто должен быть мёртв и хулим, Известно у нас подхалимам Влиятельным только одним...»

А хорошо знавшие это, своими поисками, своей преданностью почти забытым именам пытались восстановить порушенную справедливость. Свою работу со словом они рассматривали как продолжение, как развитие творческих устремлений тех, кого идеология власти, списала со счетов и выбросила, как мусор, из истории культуры...

И вот, где-то в самом начале 60-тых, мои друзья, супруги Женя и Миша Чернины познакомили меня с ещё одним поэтом.

По какому поводу и у кого именно случилось то кухонное застолье – сейчас не помню.

Народу собралось человек семь-восемь. Я опоздал. Дым уже стоял коромыслом. Было шумно.

С трудом протиснулся на указанное мне место в тесной кухоньке. Только устроился, только взял в руки стакан. Поднимаю голову, а прямо напротив – парень. В тельняшке. Рукава закатаны.

Как-то сразу заметил нежно-уважительное отношение к нему со стороны окружающих.

Живописная курчавая волосня головы – невольно залюбуешься. Борода – тоже. Также в поэтично-изящных завитушках. Глаза улыбаются. Но так хитро... Так улыбается картёжный шулер, когда перед ним глупое, скромное, неразворотливое простодушие. Потом припомнилось более благородное на ту же тему. Пушкинское... В «Капитанской дочке» о Пугачёве: «Лицо его имело выражение приятное, но плутовское». Чувствуете, разницу между примитивом и высоким?..

Я уже не мог отвести глаз от театрально – раскованного человека в тельняшке.

А он шумно, со смаком обсасывал говяжью кость, громко нахваливая угощение. Весь его облик выражал наслаждение от элементарного процесса жизни. Это было так заразительно... Я поймал себя на том, что мои губы изображают искреннюю улыбку восхищения. Вот тут-то, «шулер», уразумев, что «рыба на крючке», подмигнул мне. Краткий прищур его глаза сквозанул нахальством в шикарную обёртку обаяния.

Через некоторое время я последовал за ним на лестницу для перекура.

Тут он обрушил на меня магию звука и ритма сначала Хлебникова, потом – Кручёных.

Я просил его почитать своё, но он отмахивался, приглашая разделить с ним кайф от строк этих двух мэтров.

Каким-то боком наша, вспыхнувшая, не очень-то трезвая, беседа коснулась и Александра Сергеевича.

И тут он мне стал выдавать. «Евгения Онегина». Главу за главой...

Этот – в тельняшке читал легко, вдохновенно. С тем же смаком, с каким за столом обсасывал говяжью кость. С тем же упоением, с каким только-что охмурял меня мэтрами начала века...

Его искромётные комментарии были свежи и оригинальны. В них таилась глубинная любовь, позволявшая комментатору оставаться на дружеской ноге с Поэтом без пошлого панибратства.

По его оживлённому лицу текли струи трудового пота. Он механически стряхивал их со лба тыльной стороной ладони. Они слетали гроздьями капель...

Вдруг между нами возникли разночтения. Неожиданно смешали в одном стакане одного Алесандра Сергеевича с другим Алесандром Сергеевичем – автором «Горе от ума».

И тут, этот в тельняшке, своим чтением наизусть обоих Сергеевичей, своими тончайшими репликами, полными озорства, сразил меня наповал. Во второй раз...

Так я познакомился с поэтом Константином Константиновичем Кузьминским.

Дружбе нашей пошёл уже за пятый десяток. И чем дальше тем ярче вспоминается квартирка на Конногвардейском, где он проживал с мамой.

Дверь не запиралась круглосуточно. По ночам во дворе колодце, если и горел свет в окнах, то чаще у Кузьминских. На свет тех окон и тянулись. Из других городов – тоже.

В сердце хозяина, вечно возлежавшего на диване в халате, хватало места всем. Перепадало всем и внимания, и критической трёпки. При этом Константин не лез назойливо в учителя-наставники. Он лишь уверял всем своим существом: занятие искусством – дело. Дело в высшей степени серьёзное.

Значение его слов, его личности возросло позднее. Когда стало ясно, что Кузьминский – ярчайшая звезда Питерского андеграунда, создатель антологии «У голубой лагуны».

Поразительно то, что на нашей советской почве взошёл этот цветок самобытного дарования и независимого характера, не желавшего приспособливаться к официальным правилам поведения и суждений. Верность своим убеждениям Константин Кузьминский пронёс через жизнь, сохранил и по сей день.

Не потому ли книга его писем, адресованных поэту А.Л. Майзель, называется «Не столько о поэтике, сколько – об этике». В 2003 году Ася Львовна выпустила её в издательстве «Петербург – XXI век».

Благодаря своему чутью, энергии, святой преданности русской поэтической словесности, Кузьминский обрёл авторитет среди пишущих. И не только. Вокруг него собирались и музыканты, и художники, и фотографы, и балетные артисты – все кому так не хватало возможности быть услышанным и увиденным. Те, кто искал единомышленников, кто нуждался в их поддержке. Словом, те, кто или не хотел, или не мог вписаться в систему современного официоза культуры, но искал подтверждения того, что он не одинок.

И во всех начинаниях Кузьминского его поддерживала мать. Евдокия Петровна. Удивительнейший человек. Педагог. Когда-то заведовавшая детским домом. Она чувствовала своего сына, серьёзно относясь к его устремлениям. Она была другом поэта. В её доме царил атмосфера непринуждённого тепла. И потому в комнате Кости всегда толпился народ, кипели споры, устраивались всевозможные выставки.

Кузьминские жили бедно. Но любой, вновь пришедший, слышал: «Мамик, чайку! И заварку взбодри, а то она уже писи сиротки Хаси...» Гость знал, сейчас его угостят свежим чаем.

А бывало и так. Подвыпивший гость с улицы, рванув входную дверь, вкатывался и опрометью кидался в комнату, где за спором-разговором ожидали чая.

В следующую минуту на пороге возникал милиционер. Но именно в ту же минуту на его пути вставала вальжно-внушительная фигура Евдокии Петровны. С голосом директора школы, умевшим отчитывать не только второгодника за выкуренную папиросу. Характерный тембр голоса сохранился, и внушал почтение к его носителю.

Евдокия Петровна спокойно просит у милиционера объяснений. Выслушивая, она вставляет сигарету «Памир» в пожелтевший мундштучок из слоновой кости. Предлагает сигарету и блюстителю. При этом она сурово осуждает всех хулиганствующих на свете. Обещает принять меры. Говорит так убедительно, что милиционер удаляется, взяв под козырёк. Это её умение вести себя с властями не раз выручало Константина Константиновича, берегло его до самого вынужденного отъезда за границу.

...К моим вещам Кузьминский относился прохладно. Иногда очень даже изящно издевался над отдельными строчками. Я был готов провалиться. Давал себе слово больше не брать в руки карандаш и бумагу. Но... приходило время и я опять начинал кропать. Опять Костя просил прочесть «чего посвежее». Я читал. Он уныло хмыкал. Но иногда вдруг ронял: «А эвта строчка – ничего...» Его замечание было для меня наградой, оправданием мук и терзаний. Какой там мук и терзаний!.. Оправданием моего существования вообще...

Неожиданно из меня просто полёро вещичками для детей. Я заметил, что Костя как-то оживился, выслушивая и просматривая их. Однажды он сказал: «Слушай! Попробуй забыть всё, что знаешь. Ну, будто не было этих Маршаков и Чуковских... Попробуй похулиганить, поозоровать со словом, но

по своему...Послушай себя повнимательней. Поищи свою струну...» Казалось бы, простой совет. Казалось бы, само собой разумеющийся. Но проникая я его сутью только со слов Кузьминского. Удивительно...

И вот однажды сижу у него. Мы вдвоём. Приходит поэт Лёня Палей. Читает свои стихи, выслушивает замечания Кости. Вдруг Кузьминский спрашивает: «Ты, вроде, знаешь редактора журнала «Искорка». «Да, знаю. Вольт Суслов». «Как бы к нему заслать его... – и Костя кивает на меня. – Я уж его посылал, да он, похоже, бздит...» «Это можно», – сказал Палей. И тут же стал названивать. «Ты двадцатого можешь?..» – спросил меня. «Могу. Двадцатого я не работаю». «Ну вот, явишься к трём дня». Костя посмотрел на меня, говорит: «Если не пойдёшь, то подведёшь и Лёньку и меня. Понял? Учи!..»

Деваться было некуда. Подвести Кузьминского – не получилось...

Так я оказался впервые в редакции детского журнала «Искорка», который возглавлял тогда Вольт Сулов.

С этого моего прихода в «Искорку» началось моё знакомство с печатным словом.

II

ТРИ ЭПИЗОДА (о К.К.Кузьминском)

1

Сколько и какого только люда не поперебывало у Кузьминского на Конногвардейском!.. Тогда он назывался бульвар Профсоюзов.

Дверь квартиры не запиралась круглосуточно. По ночам во двореколодце, если и горел свет в окнах, то чаще у Кузьминских. На свет тех окон и тянулись. Из других городов – тоже.

Слетались поэты, прозаики, художники, фотографы, музыканты, актёры, начинающие композиторы, певцы, танцоры. Все – кто зябко поёживался от сурового взгляда недреманного ока официоза...

Здесь можно было рассчитывать на понимание и сочувствие.

А какие выставки устраивались в комнате Константиновича! Живопись, графика, фотографии...

В сердце хозяина, возлежавшего на старом замордованном диване, хватало места всем. Перепадало всем и внимания, и критической трёпки. При этом хозяин дивана, не лез назойливо в учителя-наставники. Но авторитет его был и остался незыблемым. Хотя бы потому, что всем своим существом он уверял: занятие искусством – дело. Дело в высшей степени серьёзное. И потом, ну кто мог, кроме Кузьминского, подсказать читающему автору забытую строку?.. А кто ещё мог, среди пришедших, часами читать наизусть классику поэзии? Или же самое новейшее – экспериментальное?.. И как читать!..

Не мудрено, что с такой обузой способностей, обстоятельства рано или поздно выталкивают человека в Учителя.

Иногда в комнату заглядывает Евдокия Петровна.

– Мамик, ещё чайку. И заварку взбодри, а то она уже піси сирóтки Хási...»

Евдокия Петровна...

Многие из приходивших дорожили её расположением, дружбой.

Бывало подвыпивший гость, рванув входную дверь, вкатывался, и опрометью кидался в комнату, где за спором-разговором ожидали чая.

В следующую минуту на пороге возникал милиционер. Но именно в ту же минуту на его пути вставала вальяжно-внушительная фигура Евдокии Петровны. С голосом директора школы, умевшим отчитывать не только второгодника за выкуренную папиросу. Она действительно когда-то была директором детского дома, и характерный тембр голоса у неё сохранился.

Евдокия Петровна спокойно просит у милиционера объяснений. Выслушавшая, она вставляет сигарету «Памир» в пожелтевший мундштук из слоновой кости. Предлагает сигарету и блюстителю. При этом она сурово осуждает всех хулиганствующих на свете. А в сиюминутном случае обещает принять надлежащие меры. И это она произносит так убедительно, что милиционер удаляется, взяв под козырёк. Это её умение беседовать с представителями власти не раз выручало и самого Константина Константиновича.

2

Конец 60-тых. Кузьминский работает экскурсоводом Павловского дворца.

Рабочий день на исходе, а тут гости – два приятеля поэта. Давно не виделись. На радостях Константин Константинович затевает «угощение»: обзорную лекцию в своём исполнении.

Временное пространство часа превращается в упоительную минуту блеска ума и эрудиции. Повествование экскурсовода настолько занимательно и живо, что группа из двоих скоро обрывает двумя десятками тех, кто только что имел совсем другого – своего «водителя по залам музея». Да что там «водимые»!..

Сами «водители» – коллеги Кузьминского по труду, один за другим примыкают к его быстро растущей группе. Рты их полураскрыты. На лицах невольная мягкая улыбка. Так и ходят, зачарованные, опустив свои менторские указки. А ведь не первый раз слышат голосовую музыку этого патлато-бородатого Крысолова...

Крысолову же охота убедиться в силе гипноза своей музыки. Посреди зала, не прерываясь, достаёт всё ту же сигарету «Памир» – более ходовое название «Нищий в горах». Достаёт огромную металлическую зажигалку, какими снабжали в те времена американских солдат. Прикуривает, затягивается, и уже указуя светящимся концом сигареты в сторону экспоната, снова забывает о месте, о времени, о себе и о нагрязнувших приятелях.

А между тем, у одного из них в руках «авоська». Она тактично отведена за спину. В ней сиротливо прозябают две бутылки, завёрнутые в плащ...

Экскурсовод, будучи во власти рабочего вдохновения, всё же догадывается о содержимом авоськи. Не забывает о том, и, тем не менее, продолжает в увлечении.

Словом, вдохновенно оттягивает светлую минуту разлива по стаканам...

3

Французское консульство.

Чуть ли не в той же самой «авоське» из-под вина, умудрялся Кузьминский проносить туда фотоплёнки с заснятыми текстами стихов разных поэтов. Именно Константин Константинович первый передал так стихи Иосифа Бродского...

Как прятал, как маскировал сию ношу – одному Богу известно. Из ячеек распухшей «авоськи» лезла бытовая дребедень. Ну, будто человек после посещения консульства собирался отправиться в баню.

...Пришёл день, когда высоким городским начальством велено Кузьминскому покинуть страну.

Аэропорт, таможня, последний досмотр.

– А это мы у вас изымаем, – говорит погран-чиновник, Кузьминскому, помахивая записной книжкой с адресами друзей. – Она вам больше не понадобится.

– Ну, уж отсюда-то вы никак её не изымите... – и Константин постукивает пальцем по лбу.

Там, в макитре всё оставалось целостно-сохранным. И не только адреса друзей. А главное – стихи. Свои и чужие.

Улетает Кузьминский не один, а с женой Эммой Карловной Подберёзкиной и с двумя породистыми русскими борзыми.

...После Вены оказались они в Штатах. «Сменил, – как писал позднее Константин Константинович, – один диван на другой...»

И, как когда-то в Питере, полёживая на жёстком топчане, извлекает из своей памяти имя за именем, текст за текстом, постукивая по клавишам пишущей машинки одним пальцем.

И наступал... Девять внушительных по объёму книг из стихов целой армии авторов. Малоизвестных и неизвестных. Тех самых, которые одним своим существованием досаждали идеологизированной казёнщине; кому предназначалось беззвучно кануть в Лету.

Так составила полновесная поэтическая антология «У Голубой Лагуны». Эта «Лагуна» снабжена огромным фотодокументальным материалом. Многие, кто должен был кануть, представлены в антологии не только поэтическим голосом, но и внешним обликом.

Не вообразить себе весь этот труд осуществлённым без помощи и поддержки Эммы Карловны. На её плечах лежал дизайн, корректура, контроль за работой типографии.

Годы тянули они вдвоём тяжеловесную баржу антологии. Мысль, что «своя ноша не тянет...» – не всегда была для них утешительной.

...Трудно, очень трудно говорить о Константине Кузьминском. Сказать: поэт?.. сказать: культуролог?.. Значит сказать слишком мало. Ведь даже обыкновенное застолье, банальный приём пищи, умеет он превратить в акт поэзии – в ипостась прекрасного.

III

1

«НО НЕТУ ДНА – ДУША БЕЗДОННА...»

Осень и зиму 1963-го года я проторчал безвыездно в Череповце. На металлургическом комбинате. В составе бригады наладчиков автоматики занимался пуском «прокатного стана – 2500».

Жили в гостинице «Шексна». Вставали под бой кремлёвских курантов, а возвращались за полночь, когда из репродуктора городской трансляции лишь попукивал метроном.

Работы было много. Ночевали не редко в цеху, за щитом управления. Прямо на кабели бросишь телогрейку, другой – укроешься...

Кончалась командировка, но приходило очередное продление. Усталость накапливалась. Я уже изрядно тяготился однообразием дней, заполненных «ударной работой» без просвета впереди. Наконец всё же удалось отбодриться и выехать для переотметки командировки и короткого отдыха.

Я в Питере. А тут апрель! Да какой!.. Солнце яркое, сочное – плавится в небе. А небо – голубое!.. Это наше-то небо?! Лишь где-то далеко в стороне вдруг заметишь белоснежный клоч кудели и... опять голубизна, режущая глаз. И это-то после Череповца – города, зачумленного ядовитой газовой желтизной комбината...

Само по себе такое солнце, такое небо в Питере – кажутся нелепой случайностью. Неспроста же Александр Сергеевич, выдавая климатическую характеристику творению Петра, припечатал: «Свод небес зелено-бледный, Скука, холод и гранит...» А тут – нате вам!.. Потому воспринимаешь это «нате вам!», как некое потаённое предзнаменование чего-то волнующего, чего-то светлого впереди. О чём если и подумаешь, то мельком и втихаря, чтобы не спугнуть...

1. «Но нету дна – душа бездонна...» – из сборника стихов К.К. Кузьминского «На галерной...», избранное (60-ые годы), издательство «Бэ-Та», Санкт-Петербург, 1999. Строка из стихотворения «Глаза с туманными ресницами...»

И даже вид грязно-серого ледяного одеяла Невы с чёрной, широко струящейся лентой фарватера, не вымывал из души смутных светлых чаяний. Лёгких, как эти облачные завитки...

И всё же надо сказать, что весна и её тепло-световые экзерсисы для нас таковы, какими мы их принимаем в эту «конкретную» минуту. И ничего удивительного в том, что для кого-то всё остаётся хмурым Ноябрьём и в расщедрившемся Апреле...

На второй же день я поспешил к Кузьминскому. Небесная благодать осенила и это утро. Потому думалось, что она вот-вот исчезнет. Ох, как это было бы для меня огорчительно! Однако согрело то, что моё огорчение, случись оно в то время, никто не разделил бы с такой остротой, как Кузьминский. Словом, свет исходил ото всех сторон...

Мы были знакомы уже года два. На почве стихов, разумеется. Вообще-то мы должны были при первом же соприкосновении разлететься в разные стороны, как миллиардные шары. Дело в том, что я тоже чирикал по-стихотворному. Правда, мои поэтические амбиции были весьма скромны. Что, само по себе, говорит об отсутствии или мизерности «дарования». И вот на мои строчки, исполненные искреннего пафоса и столь же бездарные, (как выкристаллизовалось позднее), этот рыжий, заросший волоснёй, в слегка недостиранной тельняшке – этот Кузьминский налетел с бесцеремонностью батьки Махно. Он рубил (до седла) всё, что можно было разрубить. Колол и резал всё, что можно было проткнуть или полоснуть. Энтузиазму Константина Константиновича, думаю, позавидовал бы и Рыцарь Печального Образа. «Это ж сколько пороху изводится на меня...» – дохлой рыбиной колыхалось где-то в глубинах моего пуза.

Я был выпотрошен и раздавлен.

Наступили чёрны дни. В унылых беседах с самим собой возникал вопрос: «А имею ли я право дышать, ходить по земле, смотреть на солнце и платить профсоюзные взносы?...» Шутки-шутками, а вопрос стоял очень остро...

Но молодость, «работа на кусок» стальным невидимым шнеком мясорубки сминали и волокли со всеми потрохами. Волокли мимо заикленности на жгучей жалости к себе, на сознании своего ничтожества, на «несправедливости» Мира. К тому же хмель времён года: снега, травы, деревья и птицы постепенно выветрили из моей головы схоластику. Обида на Поэта испарилась. А Поэзия, интерес к ней, оказались выше моих недавних авторских упований. Когда я это осознал, я вздохнул с облегчением. Жизнь продолжилась...

Там в Череповце, засыпая в щитовой на телогрейках, я часто вспоминал Кузьминского. Аура его личности, несмотря на расстояние, наполняла теплом, веселила сердце, словом, помогало жить. Ибо сутью этой личности были бескорыстнейшая любовь к Звучанию Слова, к Образу его смысла. Любовь эта была беспредельной. Она была глубокой, страстной по своей жестокой требовательности. Всё подчинялось ей. Она не щадила и самого поэта...

Я почти ни черта не понимал в его стихах. Но буквально физиологическая склонность к сложной гармонии Звука, любовь к Слову как к самобытному живому организму; глубокое знание русской поэзии (и не только русской) – известных и малоизвестных авторов он мог читать наизусть часами. Высокий трепет духа при соприкосновении со Словом – всё это завораживало, покорило. Властно. Жёстко. Правота подобной власти свята...

При «таком раскладе» могло ли быть место какой-то обиде с моей стороны?.. Как откровение приходило осознание духовного родства. Более глубокого, более благородного родства между людьми не бывает.

И то, что тот день, когда я поспешал к Костику, был ни чуть не хуже вчерашнего – это тоже казалось мне тайным знаком будущей душевной радости.

...Мы выходим из парадной твоего дома на бульваре Профсоюзов (теперь бульвар снова – Конногвардейский).

Ты весел, оживлён. Вижу, что рад нашей внезапной встрече, и потому выпадаю в душевную сумятицу, при которой «нужные слова» смываются волнами эмоций.

– Денёк!.. А-а?! – запрокинув голову, ты щуришься на солнце. – Ишь, какой из Вологодчины ты приволок!..

Мы идём без определённого плана. Просто гуляем. Но идём быстро, будто куда-то спешим. Будто нам некуда девать разошедшиеся ноги. Как бывает некуда девать руки. По причине волнения...

Мы на набережной Мойки. От древних тополей на плиты тротуара, наискось, падают широкие тёмные полосы теней. Основания деревьев похожи на ноги старых слонов – в таких же тёмных, грубо заскорузлых, складках. Меж складок одного из деревьев торчит втиснутый пустой стакан. Оба разом схватываем зеленоватый блеск его граней, переглядываемся и... хохочем.

– Сейчас мы их найдём, – говоришь ты. – Их можно найти только здесь...

– Мы заскакиваем то в один, то в другой полуподвальный магазинчик. Двери разнотонно выстреливают нам в спины.

– Сейчас мы их найдём...

И мы их нашли.

Со света, в полумраке, не сразу разглядели продавщицу. Потом мужика. Судя по его оживлённым вскрикам, он был под мухой. То и дело склонялся он над широкой доской прилавка чуть в стороне от продавщицы.

– Во, ребята! – обрадованно гаркнул мужик, увидев нас. – Вот так они у меня на кухне ходют. По столу. Будто в разведку...

Видим выстроенных в шеренгу раков. Красные... Усы последующего упираются в хвост предыдущего. Ежли по-армейски, то друг другу в затылок. И не будь они варёными, уж точно ступали бы след в след. Как в разведке, во время поиска не заминированного водопоя...

– Это вы про тараканов?.. – спросил ты.

– А то про кого же?! – шумно и благодарно отозвался мужик.

– Они у вас, я гляжу, выстроились цугом, – сказал ты. – А вот у моей тётушке Тани, кухня большая – на восемь съёмщиков. Так у них эти гренадёры-усачи предпочитают строиться в «каре».

– Это ещё как?! – захопал глазами мужик.

– А вот так, – ты нагнулся и по-чапаевски решительно передвинул раков. Бывает, что и «свиньёй» выстраиваются.

– Иди ты!.. А это как?

Ты показал.

Вы оба хохочете. Глядя на вас, улыбается и продавщица. Мужик благодарно хлопает тебя по плечу, скаля шерба́тый рот.

– Ну, ты, борода, даёшь! Может, и мои так умеют. Надо приглядеться...

Мы выскакиваем из магазинчика. Вслед нам, нараспев, несётся: «Суп с раками, с раками будем хлебать, а попки подсохнут – газетки читать...»

Снова идём по набережной. Молча курим. Затягиваемся с наслаждением нашими сигаретами «Памир». Самые дешёвые. Пачка – десять копеек. Народное название этих сигарет «Нищий в горах».

Я несу кулёк, наполненный алыми лепестками хвостов и клешен. Несу торжественно, чуть на отлёте, несу роскошный букет...

Пивной ларёк виден издалика.

Подошли. Встали в очередь с шоферами, нетерпеливо оглядывающимися на свои помятые самосвалы; с работягами вон с той стройки.

У мужиков со стройки серые от едкого раствора руки. Засохшие пятна раствора и на их комбинезонах.

Подсобницы со стройки то ли укоризненно, то ли сочувственно качают головами в белых платках, глядя на всех нас, атакующих пивной ларёк с едва сдерживаемым нетерпением.

Ну что тут будешь делать?.. Ну, приспело принять по кружке. Многим на излечение после вчерашнего... Эти жадно хватаются за полукруг ручки увесистой стеклотары, будто за обод спасательного круга.

Мирные беседы скрашивают ожидание.

Стоим и мы в этом слабо журчащем потоке.

Ты весь светишься. Весь переполнен чувствами, которые распирают тебя, ищут выхода.

Твой голос, наконец, очень естественно вливается в это не шумное журчание голосов.

Ты читаешь мне главы из оконченной минувшей ночью поэмы. Как ты читаешь!.. Невольно приходит на ум: «Не долго целят в пень глухаря – в любовной страсти лезут на рожон...»

Казалось, стоящие рядом, не обращают на нас внимания. Но сомнений нет, они слышат твой пронзительный монолог, наверняка слышат.

Я вдруг вынырываю из колдовского водопада ослепительных звуков. Понимаю вдруг: где мы, в каком окружении... «Эх, поколотят... непременно поколотят...», – стряпают извилины бегущую строку... Закусывать пиво стихами – у нас ещё не стало общим местом.

И тут же облегчённо перевожу дух, видя, как предчувствие скорого утоления мучительной духовно-физической жажды, предчувствие скорого

удовольствия наполняет невольных слушателей благодушием терпимости и такта. Лишь в их озадаченных взглядах проскальзывает оторопь изумления. Всё-таки оказаться свидетелем убедительной материализации чего-то шибко складного, но чего-то всё же странного, чего-то непонятного...

Вот и мы отходим в сторону со своими кружками. Отходим к парапету. Взгляд рассеянно переносится за ограду. Там по-весеннему серый, замусоренный окурками лёд.

Рядом – шоферюга. На макушке кепка-блин. Лицо раскрасневшееся, щёки – пузырями – сдувает пену. Замечаю у водилы часы на левой руке и на правой. Зачем двое часов? Присматриваюсь. На правой-то не часы, а компас. Зачем?.. Видно, чтобы не сбиться с пути... Не с того ли, какой указывала тогда партия?..

Сделав несколько глотков, водила морщится. Упирается взглядом в наш кулёк. Он не первый. Были глазастые и до него. И ты, в очередной раз, достаёшь из кулька рака. И даришь... Жестом, с каким преподносят розу «предмету вожделения».

Вот ещё один страждущий подкатил. ЖЭКовский водопроводчик. С гремящим ящиком, полным железного хлама. В ящике этом когда-то проживал патефон.

Хозяин ящика уже на взводе. От него жизнеутверждающе пахнет молодым укропом с чесноком. Зрачки его светлых глаз всклянь залиты аристократической меланхолией. Такой субъект обойтись без халявного рака к пиву и подавно не мог.

Просит «пососать клёшенку» и билетёрша кинотеатра «Колизей», – как она представилась. Она, вот, вывела на прогулку своего колченогого и лупоглазого мопса. Билетёрша курит «Беломор» и кашляет так, будто стреляет из Макарова. Одиночными. От каждого выстрела мопс нервно осаживает на задние лапы...

Ты поднимаешь кружку. Весело рассматриваешь её на свет. Сдуваешь пену, и твоя янтарная борода сливается с гранёным янтарём кружки.

Радость Жизни, кайф от всех её мельчайших проявлений, вновь остро охватывает нас. В глазах твоих искрится озорство. Оторваться от земли?! Воспарить?! Да это же так просто! Вот – пожалуйста!..

Напрочь забыт Череповец, в который мне через несколько дней надлежит вернуться. Но этот миг – он мой. Сердцу дано упиваться этим днём... И Мойкой, и тополями, и... пивом уснащённым раками... И тобой, и твоей поэмой, которой ты так щедро. Так по-дружески поделился со мной.

Без тебя, без твоих стихов этот день провалился бы в бездну прочих – затёртых моих, из каких у большинства состоит жизнь.

Этому же дню оставаться в памяти моей пиршеством духа. Когда «Но нету дна – душа бездонна...»

Я смотрю на тебя и с восхищением думаю о НЕЙ. О ТОЙ, которой посвящена поэма. Я думаю о НЕЙ не иначе, как о божественном создании. Правда, мысленно пытаюсь поерничать над «заоблачностью» своего представления, пытаюсь чуток «опустить», но... не получается.

ОНА остаётся достойной твоего высокого поклонения.

IV

Он «был, есть и – будет...»

Константину Кузьминскому

Твоя фантазия причудлива. Она как неженка – опасна ей простуда, когда задует в форточку оттуда, где в подворотнях жметесь тишина; где по трамваям тычутся в газеты, смеются, плачут, платят за билет, где не попасть обычно на балет, где кто-то в гневе требует кареты; где «пишут пулю», молят о любви, очки втирают и втирают мази; где кольцевыми пролетают МАЗы вдали от нас, но ты... ты говори. Витай, безумный, в облачных химерах, та жизнь придет когда-нибудь сама и изощренность тонкого ума, к стыду ее, не сыщет в ней примера.

Где-то в начале 70-ых мы с женой засобирались в отпуск. Аж в Крым. До того я никогда не бывал на крайнем юге. По правде сказать, он меня и не манил. А тут... Собрались. Поехали. Даже маленькую дочку прихватили. Я тогда подумал: «Пусть подышит черноморским воздухом – ведь полезно для растущего существа. Да и вдруг больше не доведётся, учитывая мой слабый интерес к тёплым краям, учитывая, что и отпуск у меня – штука редкая».

Но главное не это. Главное другое: поездка вряд ли могла состояться, если бы автором идеи, настойчивым её пропагандистом не был Константин Константинович Кузьминский. Кстати, познакомились мы и подружились то ли в 59-том, то ли в 60-том. С той поры уже не обходились без горячего ожидания очередной встречи, без обмена пухлыми посланиями в конвертах, потому как моя основная работа, по добыче средств к существованию, была связана с длительными командировками. Понятное дело, что к тому времени этот «провокаатор», этот сторонник аристократического отдыха на югах, этот тонкий специалист по нецензурной брани, этот высочайший авторитет в кругах питерского андеграунда, помнящий наизусть чуть ли не всех стихотворцев начала двадцатого века, блестяще знавший и любивший русскую классику, этот сероглазый и мохнатобородый мужик был уже для меня Костей, Костиком или просто Костакисом... Хотя бы потому, что именно он подарил мне четыре тома словаря Владимира Даля, которым я бредил и днём и ночью. В те времена Даль не был в чести у официоза. О нём помалкивали, не издавали. Достать можно было только через своих людей в

«старой книге», из –под полы. У Кузьминского такие люди были и в «Доме Книги», и в «Старой Книге» на Литейном.

Но вернёмся к Алупке, куда настырно звал нас Костик. Вернее, к тамошнему Воронцовскому дворцу. Ещё вернее к тому, что наш агитатор в этом дворце какая-никакая, но шишка. Экскурсовод. Экскурсовод звал и манил глянуть на него в деле.

И мы решились.

В Гурзуфе нашли за недорого пристанище.

В тот же вечер дня приезда, я был в Алупке. Довольно быстро нашёл хозяйский сад с домом, а в этом саду явный недострой: четыре глиняные стены. Без двери, но с дверным проёмом. И никакой крыши...

Посреди этого мелкого скотного дворика (вместо пола колосилась травка) стояла большая железная кровать. Она напоминала рыбацкую лайбу, выброшенную на берег, как давно отслужившую свой век. На ней, среди живописной горки тряпья, возлежал мой дорогой Константин Константиныч...

Он приподнялся. Увидел меня. Вскочил и мы крепко по-мужски обнялись.

После долгого молчания я наконец нашёлся:

– Слушай, чего с крышей?.. Куда уехала?..

Он улынулся.

– Да на кой хрен она нужна?! – вдруг оживился. – Да ты взгляни на этот небесный свод!.. На эти яркие звёзды – золотые россыпи света!.. Какая к чертям собачьим крыша?! Под крышей я и в Питере могу посидеть...

– А ежли дождь?..

– Пока не было.

– Ишь как небушко тебя уважает.

– А то... Видать, есть за что... – сказал он с обычным своим нахрапистым вызовом.

– Уж это верно...

За разговорами, за любованием фейерверком небесного свода, прошла ночь.

А с утра были мы в Воронцовском дворце.

Кузьминский повёл свою группу.

И приподнято зазвучал его рассказ о далёких временах, о личностях выразивших своими поступками и действиями не только само историческое время, но и неповторимые особенности человеческих характеров той эпохи.

Он погружал нас в стихию ушедшего. С этим ушедшим он был на «ты». Сочный его рассказ был настолько убедительным, настолько живо-интересным, что к нам невольно присоединялись экскурсанты из других групп. Другие группы, естественно, редели, а наша всё более разрасталась.

Я перехватывал взгляды этих менее удачливых экскурсоводов. Их глаза выражали жгучую неприязнь и обиду. Понятное дело...

Кузьминский всё это видел. Всё понимал. С лица его катились крупные

капли пота. Но с весёлой усмешкой он только «набирал обороты». Речь его звучала дерзко, вызывающе. Такое жёсткое парение ума и души не приняла когда-то Анна Андреевна Ахматова, но приняли Татьяна Григорьевна Гнедич, Давид Дар, Ася Львовна Майзель...

Да, он не был бы самим собой, тем самым известным суровым мэтром андеграунда, если бы опустился до здравого приличия, до снисхождения к слабакам. К этому его обязывала и гениальная память, хранившая столько высоких образцов, не позволявших опускаться до снисходительности. Между прочим, он мог запомнить чужое стихотворение, раз его услышав.

Однако вся его творческая жизнь проходила и прошла «на грани». Не потому ли он так часто повторял: «Слова когда-нибудь накажут...»

После этой стремительно пролетевшей экскурсии, я сказал ему:

– Слушай, а ведь могут и пиздюлей вломить?..

– Могут. Уже бывало. Но не здесь, а дома, в Питере...

Да это был он – Кузьминский. Всегда остававшийся верным своим принципам поведения. Эти принципы можно было не принимать, глубоко осуждать (так оно и бывало по жизни), но верность им, несмотря ни на что, достойна всё-таки уважения, ибо основой этих принципов было полное бескорыстие.

...А когда закончился рабочий день Костика, мы выкупались в море. Потом пошли по мелким пищеблочным заведениям. Тогда ещё слово «кафе» было редким.

И везде нас встречали весело и тепло. Угощали вином и закуской. Костя с гордостью говорил, что это его друзья. А любили они его за то, что он, владевший английским с девяти лет, так увлечённо вникал в смысл и в словесную вязь грузинских и армянских песен...

И вот такого мужика в конце концов выкинули за границу. В Америку. На родине он непременно угодил бы в тюрьму, потому как исповедовал Пушкинское:

«...Зависеть от царя, зависеть от народа –
Не всё ли нам равно?.. Бог с ними. Никому
Отчёта не давать, себе лишь самому
Служить и угождать; для власти для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам
И пред созданными искусства и вдохновенья,
Трепеща радостно в восторгах умиления –
Вот счастье! Вот права...»

Он и там, в Америке, не расставался со своими принципами. Он даже не принял американского гражданства. В то время как все «наши», переселившиеся за океан, норовили быстренько и безоговорочно встроиться в тамошние порядки, условия и законы.

Его верная подруга и жена Эммуля работала уборщицей, зарабатывая на хлеб, пока Константин «ваял» девятитомную энциклопедию андеграундной поэзии «У Голубой Лагуны». В этом кропотливом труде, по вечерам, ему помогала всё та же Эммуля...

К нему, в это сельцо Лордвил на берегу речки Делавер, служившей границей между штатом Нью-Йорк и штатом Пенсильвания, не забывали заехать Питерские художники «митьки». Прямо с работами, после какой-нибудь очередной выставки.

Вот была радость для Костика и Эммули!

Ребята, весело с шутками, выставляли свои работы вдоль перил моста.

Константин Константиныч, в обычном своём халате на голое тело, на ногах – стоптанные тапочки – садился в... обычную тачку, и кто-то из крепышей художников торжественно, с почтением провозил его вдоль выставленных работ.

Кузьминский величественным жестом указывал на приглянувшуюся ему работу (уж он-то в них толк знал!) и эта работа становилась «подарком друзей».

...И вот 2-го мая сего года, в 11.40 не стало Константина Константиновича Кузьминского. Инфаркт.

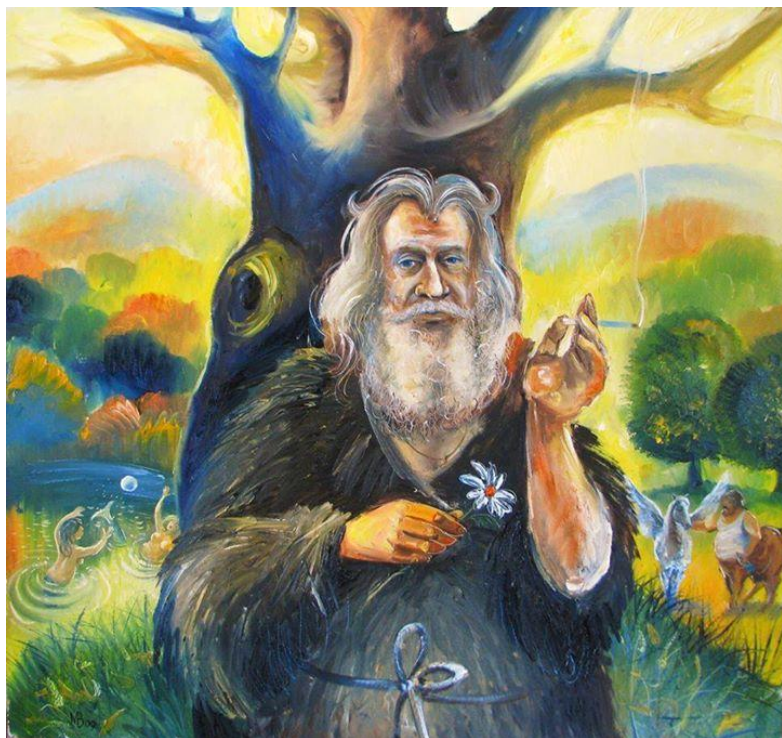
Не стало человека к которому по жизни тянулись молодые, творчески ищущие, поэты, писатели, художники и музыканты, самые яркие из которых получали от него не только сочувствие и понимание, но и поддержку. Порою суровый, но всегда искренний совет мастера. Он обладал тонким чутьём на любую фальшивую ноту. Он вспыхивал, загорался от соприкосновения с подлинным талантом. Правда, его критические замечания нет-нет да оказывались небрежно завёрнутыми в тонкую тряпицу не столько иронии, сколько беспощадной издевки... А как иначе? «Слова когда-нибудь накажут...»

Там в Америке, в одном из интервью, Кузьминский сказал: «...Мне кажется, я единственный тут «андеграунд» остался – и был, и есть, и буду...»

Он сгорел как комета, пробивавшаяся сквозь плотные слои атмосферы. Но духовная его ипостась осталась. С нами.

Он был, есть и – будет.

4 мая 2015
С-Петербург



ТРАХТАТ

(Из письма Эмме Карловне Подберёзкиной – жене
Константина Кузьминского)

Уважаемая г. Эмма Карловна!
Эммулечка!

Вы совершенно правы, касаясь отчества тётеньки по фамилии Керн. Урождённая Полторацкая. По второму мужу Маркова – Виноградская. А отчество: ПЕТРОВНА. Конечно! А я вот был глубоко не прав, в чём приношу своё глубочайшее извинение.

Перехожу к более серьёзному Вашему замечанию.

Вы настаиваете на том, что Александр Сергеевич (в дальнейшем – А.С.) сперва овладел тётенькой по фамилии Керн, оприходовал её, а потом написал незабвенный текст.

Я тоже так считал. Казалось бы, с чего бы ему насухую-то писать стих, верно? Мне-то думалось, что в моём освещении такой здравый порядок вещей чётко очевиден.

А между тем вопрос спорный. Одни учёные мужи и дамы считают, что сперва оприходовал, а потом написал. Другие же утверждают, что сперва написал, а потом подарил стих ей – героине. Она прочла и от восторженного ошаления – горячо возжелала сама. Но так как чего хочет женщина, того хочет... Словом, чуткий Александр Сергеевич расслышал это желание Господа, и не откладывая дело в долгий ящик, решительно полез под юбки.

Понятное дело. Настоящему мужику идти супротив Господа не пристало. А А.С. был мужик настоящий. Да и человеком своего времени он тоже был. С того, надо думать, Анна Петровна ему и дала.

Но вернёмся к учёным другим, кои настаивают на том, что сперва были стихи, а интим – потом.

Они раскопали, что вечером перед той ночью, когда и были сотворены стихи, А.С. гулял с Петровной по тенистому парку.

Погуляли, поэт пришёл к себе в келью и набросился на перо с бумагой для написания шедевра. При этом он положил на стол, рядом с чернильницей, камушек, о который (существенная улика) час назад споткнулась Петровна.

Положил и цветок, который ещё хранил тепло её рук.

Между прочим, эти-то предметы и создали ту божественную ауру, в которой родился стих.

На ту минуту Петровна ещё не была почата нашим поэтом, считают эти учёные.

И действительно, ежели уже почата, так какого рожна тащить домой камень, класть его на чистую скатерть?! И цветок помятый...

И потом, утрата некоей части физических сил, пошедших на процесс «оприходования субъекта», вряд ли позволило бы поэту до самого рассвета грызть перо, разбрызгивая в горячке чернила, лихорадочно отливая свои чувства в прокрустовость идеальной формы...

Не ближе ли к истине именно эти учёные, а? Как Вы думаете, Эмма Карловна?..

И ещё. Мы всё-таки слишком грубо, слишком прямолинейно называем случку кобеля с сучкой. Вам не кажется?

Вот пацаны-бандюганчики Архангельских лагерей выражаются куда интеллигентнее. Многие из них натуры одарённые, не произнесут примитивное: «грахнул, оттрахал». Они скорее выразятся куда тоньше и изысканнее. Скажем: «втюхал по самую сурепицу...», или «вставил клистир по самое небалуйся...» Вы не находите, что эти выражения и приличны, и выразительны? Я бы даже сказал: весьма поэтичны.

По существу, пожалуй, у меня всё.

Эммулечка, спасибо за замечания.

Костакису – привет!

Любви, Тепла, Добра и Света! Вам, и всем, кому есть до вас не только дело!..

Гиневский, он же – Михалыч с Северного.

15 февраля 2009



А. М. Гиневскому
от
К. П. Кузьминского -
поэта
переводчика
геолога
биолога
гидролога
техника-геофизика
экскурсовода
искусствоведа
и
психопата
с большой любовью
радостью
неисключительно
в ознаменовании
изрядной годовщины
встречи нашей.



Кузьминский в Риге, у меня в гостях.
Катаемся на лодке по Гауе. 1969



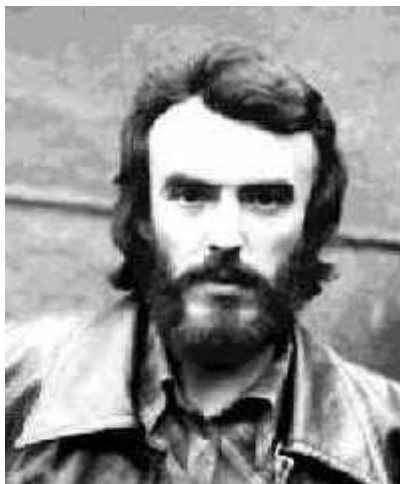
1970-й год

Владимир Лапенков

Андеграунд Аси Львовны

Форматирование андеграунда

ФОРМАТИРОВАНИЕ АНДЕГРАУНДА



Лапенков Владимир Борисович, г.р. 1951 – Ленинград, ученик Д. Я. Дара, работал трубочистом и кочегаром, примыкал к движению хиппи и рок-культуры в период их создания, входил в Клуб-81 и круг Малой Садовой, печатался (иногда как Игорь Непруха и Владимир Константиади) в самиздате 80-х гг. («Часы», «Обводный канал», «Метродор»), а также – «Эхо» (Париж). Писал прозу с 1969 до 1987 года, в дальнейшем увлекся культурологическими изысканиями. См. – «Самиздат Ленинграда». М.: НЛЮ, 2003 и в Интернете.

Портрет В. Лапенкова работы Б. Кудрякова

Андеграунд Аси Львовны

(от Св. Земли до «Божедомки» и от Брайтон-Бич до Царского Села)

Главный герой – питерский андеграунд (без претензий на всеохватность, мозаично, в немногих лицах, цитатах и документах).

Ася и Вася Филиппов



Несколько слов об Асе Львовне Майзель: энтузиастка, влюбленная в литературу, учительница, воспитавшая Гребенщикова и Жоржа (Анатолия) Гуницкого, «воспитуша-хлопотуша», по выражению Кузьминского. Курировала внучек ККК и поэта Васю Филиппова, опубликовала книгу его стихов, а также книгу писем (к ней) ККК и его же стихи, а в 2005 г. книгу «ДАР». С эмигрировавшим в Израиль Д.Я.Даром, которого она считала своим наставником, активно переписывалась в те баснословные годы, когда даже любимые ученики Дара, Емельянов и Любегин, послали ему письма с отказом от переписки, а первый, по настоянию известных органов, еще и с требованием «не мутить здесь воду» (правда, совесть после заела и дело закончилось онкологией). Сама Ася Львовна тоже всю жизнь писала стихи и лирическую прозу, в последние годы – довольно пронзительного свойства... Мудрость и детскость, строгость и темперамент, м.б. в чем-то излишняя правильность, но и необыкновенная чуткость к людям совершенно несхожим и с ней и друг с другом. Ее дом всегда был открыт для литераторов и для всех, кому требовались помощь и душевное участие.

Мы с Асей, как ученики Дара, слышали друг о друге давно, но очно познакомил нас поэт Гена Трифонов в 2002 году, когда речь зашла о составлении книги нашего учителя, и которая вышла к 25-летию его смерти. (Еще за 20 лет до этого подобная идея возникла у Игоря Ефимова в его письме к Довлатову, но так и не осуществилась).

К Асе мы еще вернемся, а пока перейдем к другим персонажам.

Мое попадание в андеграунд было неизбежным. Начиная с того, что был изгнан из школы и являлся, по факту, первым ленинградским хиппи (с самыми длинными патлами); отсюда – дурные компании, ночные сейшны, хич-хайк по СеСеРу... М.б., еще не всё было бы потеряно, но с юнейших лет попал в руки Давида Дара, и тот, вместо того, чтобы направить отрока на путь истинный, напротив, еще более поощрял в антисоциальных и анти-традиционистских взглядах. Поэтому и писал я (под псевдонимом Непруха) только иронические и пародийные, в современной терминологии – пост-модернистские опусы. Соответственно и приятели были авангардисты, пьяницы и антисоветчики. Впрочем, даже если бы Дар и попытался привить мне что-нибудь благолепно приличное, вряд ли бы это превозмогло тяжелую наследственность и отсутствие должного воспитания. Всё ж оба деда моих получили по “маслине” в затылок не в роли безвинных овечек режима, рукоплескавших стройкам и тройкам, а в борьбе обрели несчастье свое (эсер Иван в 37-м, а басмач Алекпер аж в 26-м; осина не родит апельсина). Так что тогдашнее концептуальное свое “отрицалово” я не из одних только книжек вычерпал. Но с годами, присмирив и обломав рога на дискурсивных полях, уже сам с исследовательским интересом обращаюсь к тому периоду на правах читателя и поминателя.

Мой первый мем андеграундера об андеграунде из самого центра событий – «Негативы», с каковой рукописи и надо мои мемушенья отсчитывать. А история с ней случилась абсолютно дурацкая, вполне в духе того времени. Некто из персонажей (писатель Юрий Гальперин), тогда уже эмигрант, нашел возможность навестить «альма матер» (1982 г.) и сделал попытку переправить рукопись на Запад. Он отдал ее небезызвестной «русофилке» Сюзанне Масси (в перестройку курировала Павловск, где я сейчас живу, в советские годы с мужем написала книгу «Николай и Александра») и издала на Западе первый неподцензурный сборник ленинградских поэтов – Бродский, Соснора, Горбовский, Кузьминский). А в упомянутый выше момент попала в Москве в заварушку (вроде бы в драчку с ментами), испугалась последствий и скинула рукопись Генриху Сапгиру. (Позже я сам это услышал от Сапгира, когда тот посетил Кривулина, у которого, кстати, ранее затерялся и пропал второй, и последний, экземпляр). Теперь, в принципе, *всему этому цена дерьмо*, как говаривал незабвенный трактирщик Паливец, но вспомнить приятно.

Что можно сказать о худописании как таковом? Таковое загадочно всё ж по сих пор по ранжирам своим. Кто худописен в хорошистом смысле и што должно художным считаться на гамбург-, а не чизбургерных калькуляторах-счётах?.. Многотиражные массолиты сразу оставим за скобками, но и узкоэстетский, университетский подход к долгожданному естеству универсум-консенсуса отнюдь не приводит. Даже и договоримся мы с вами, что Пушкин (Бродский, Шекспир, Вася Пупкин) «наше всё», но всё равно понимаем и ценим по-разному и за разное ж. Да сегодня и судьи-то кто, как не басмановы грозные? Нынешний сетевой хомячок и футбольный фанат сам себе культурный судья и дикий адвокат. Он помнит, конечно, что Гамлет заколол brutального тельца Полония, за что и получил в ответку... Хотя нет, это Гертруда выпила предназначенный ему отравленный чаёк. Это вам не 4-

хпроцентный «Туборг», а 100-процентный гроб! В общем, полный жмур и склейка ластов на литературной сцене.

Да что молодежь? Она хотя бы не строит из себя фельдфебелей от литературы, а ныне, когда в мире всё так смутно постмодерно, многие погоны примеряют, особо те, кто и в душе фельдфебель. Во всяком случае – отличник-медалист, или, на худой корень – бывший хорист, вроде Хомя Брута. Короче, образованы от пуза, открывают дома вузы, ну и глаза, в смысле – веки, на истину в вышней инстанции. Сие неизлечимо.

70-е моё любимое время, что, впрочем, не мешает ему оставаться «застойным» и выморочным. Но вспомним классику: «Когда б вы знали из какого сора...».

Из повести «Негативы»-1980-го года о Гран-Борисе (Кудрякове):

Гран-партизан, выглядывающий из чашобы своей прозы – не видать ли погони, не слышать ли овчарок. А писать пятую пьесу подряд без малейших надежд и расчетов даже на подпольный театр?... «Как же так? – хочу я его подколоть. – В чем же смысл, старина?». «Смысл всегда есть. Нужно только до него докопаться». Незаконнорожденный, пишущий тайно, анонимно печатающийся в нелегальных журналах (чей тираж можно пересчитать по зубам, из них половина уже конфискована), «шариковое» копьё, мозоли на ногах – Росинант, вместо пухлого Санчо – дошлый участковый, вместо мельничных крыльев – мельканье повесток из военкомата.

Гран (Б.К.): «Ваше место занято, товарищ Человек!». *Я:* Гран-горыныч из *оперной* сказки, рок-вокалист сюрреалистических мюзиклов, Беккет Обводного канала. *Цитата (Б.К.):* «Тебя, Жизнь, я заметил давно, был тогда слеп, чтобы заговорить с тобой, но как-то случилось, что не прошел мимо». *Я:* И куда же попал? *Он:* «Время гаечно-аграрных романов – проливной дождь, преимущественно без осадков». *Я:* Чему отдал силы? Свободе? *Он:* «Свобода есть выдумка реакционной пропаганды, доминанта антидемократических постулатов, денно и нощно замышляющих планы захвата». *Я:* Каков итог? *Он:* «На всякого мудреца довольно семи грамм свинца».

Далее из моих статей и трактатов:

Сегодня уже очевидно, что грусть-тоска нас съедала из ощущения непохеряемой вечности этой системы, навеки отделившей одну шестую от общей, выздоравливающей, палаты. Другой жизни не будет и потому пройти ее стоит гоголем, пляя на голимого голема. Способны ль неведающие путей и сроков предположить и неминуемый крах и неизбежную ностальгию?.. Былинная эпоха, когда хлеборобы и сталебары вызывали друг друга на соревнование по величине удоя и на скорость яйценоскости, а литературоведы писателей – по вескости томов и гемorroидальных шишек...

И возьмем только 1970-й год, когда утопизм-оптимизм шестидесятников уже полностью исчерпал себя и наступила «золотая осень застоя». Застой, да, но очень даже бурный.

Отставка Твардовского. Самоубийство Леонида Аронсона. Солженицыну присуждена Нобелевская премия. На экраны вышел фильм «Белое солнце пустыни» и умер актер Луспекаев. Заявило о себе рок-движение Ленинграда в русском звучании «Санкт-Петербурга». В СССР прибыл с дружеским визитом президент-людоед (в будущем людоед-император) Бокасса (успешно пройден ритуал поцелуев с генсеком). В стране – перепись населения и начало производства биологического оружия, в Астрахани – холера, в Израиле – первые эмигранты. Руководитель КГБ Андропов направил письмо в ЦК о борьбе с самиздатом. На праздновании своего 60-летия в гостинице «Европейская», перед собравшимся цветом питерской интеллигенции и агентов в штатском, Давид Дар прочитал собственную «Надгробную речь». Создан комитет защиты прав человека... А вы говорите!..

Что еще сказать о 70-х? Реально они начались сразу же после краха революций 68-го и закончились только в момент оборотных тенденций 86-го. Календарь событий не всегда совпадает с формальной сеткой. 60-е ведут отсчет от 56-го, да и сам XX-й век начался с опозданием на 14 лет... В каждом периоде были свои плюсы-минусы, только в разной консистенции. Вот реальный коммунизм 50х-60х, «который мы потеряли»: отвалился со звоном оттаявший обруч, язык почувствовал привкус свободы и Россия забила в литературной горячке. Трудно уже представить себе тот культурный взрыв – Биг Банг биг-бендов, мастер-класс (паблой буду!) Пикассо, стилиги и барды, Белка на Стрелке, стихи-«евтухи» собирают целые стадионы. А новый театр, а *saints go marchin' in* коммуно-рай без остановки и морщин!?!... «Когда же воз повёз Никита, чуть полегчала жизнь пиита: Андрей вознёсся и за двух драл глотку горлопан-Евтух...». А ведь всего лишь несколько лет как умер Хозяин, и «верный Руслан» ещё не успел почуять исторического ветра свежей «гексаграммы».

А как не вспомнить меломанскую сладкую младость?! Как эпатажная *хипаризма* манила эросом дульсинеи:

Хотя и не было свободы
особой, но прокралась моды,
пусть ухудшался вкус колбас,
но расползался рок и джаз.
<...>
...имелась хаза, то есть явка,
где по ночам курилась травка,
магнитофон, творец экстаза,
за сутки не смолкал ни разу,
соседи в заявленных перья
ступили, мент стоял за дверью,
а мы – в окно (второй этаж)...
Таков был раньше эпатаж!..

А вот красивые картинки из года 1974-го, прямо из плачущего чернилами февраля.

На моей свадьбе, в кафетерии на Староневском, где сейчас «Мама Рома», планировался сейшн с рекшановским «Санкт-Петербургом», но по причине невозможности перевозки аппаратуры, я ограничился магнитофоном, и первый танец прошел в модном свободном трясении под быстрый блюз «Crossroads» в исполнении Эрика Клэптона. А Гран-Борис, обещавший отснять всё на плёнку, недошёл и после сильно жалел об этом. Ну еще бы: вот прозаик Юрий Шигашов (наш местный Дост, с эпилепсией и с детским опытом Гулага; Вера Панова назвала его самым мрачным писателем Ленинграда)... он так напился, что упал, расскё себе бровь и стал заливаться кровью.

Мне пришлось взять такси и вывести его домой, на Фонтанку, где не смог отказать хозяину выпить за здоровье его «умирающего» маленького сына (ныне – практикующего психолога и виктимолога), после чего я затерялся в сарайных пристройках вечернего Апраксина Двора и на свою свадьбу попал уже после ее окончания. Пропустил, конечно, немало интересного. Так, один мой приятель, тогда еще физик и в душе анархист, позже – зэка, ныне – баптист и свободный бухгалтер, такую придумал веселую шутку: попросил подругу прислать мне поздравительную телеграмму от имени Солженицына, кою и зачитал на свадебной пирушке. Забавно, что буквально на следующий день Исаича выслали за границу, а ко мне на работу, в котельную, пришел интересный дядька в добротном габардиновом пальто, чином не ниже полковника, с помятой газетой в руке, где был напечатан огромный «подвал» с грозными инвективами по адресу мастера. Таких холёных породистых полковников ныне уже не производят (вспомните: совсем-совсем иные полковники пошли!), а он не погнушался вступить в диалог и прям там провести со мной душевную беседу на тему Великой Отечественной: мол, ну как же можно приписывать победу над немцами штрафным батальонам!?. Ну не гад ли этот Исаич?.. – О, my God!: мне по младости ума очень захотелось тогда его *перубедить*, ткнуть благородным фейсом в тьму низких истин Правдеца, но слава Богу – Бог не выдал. Впрочем, не столько наверное Исаич был виноват в визите высокого гостя, сколько глупая трепотня по служебному телефону с тем же шутковатым приятелем на тему о необходимости антисоветского террора и подпольной литературы. Там же писался мной – «в стол» – антироман, а на самом столе лежал том Достоевского с «Записками из подполья», конечно, и новеллой «Крокодил» – в рифму к событиям – о том как режим проглотил и выплюнул Чернышевского. А напротив моей подвальной котельной на Малой Садовой доживал последние дни



замечательный кафетерий (не «Сайгоном» единым!), где собирались отпетые поэты-формалисты, неформалы и нонконформисты. А сама андеграунд-котельная отапливала нехороший дом, в котором находилась еще более нехорошая квартира, где проживал, тогда еще философ-заочник, а в будущем берлинский галерейщик, Натан Федоровский, корефан Бродского и confident Шагала, приятель всех швыдких-катанянов, артистов-художников и прочих поэтов, где еще недавно я пил на его свадьбе, на которой молодой и красивый актер Тиличев сверзился с крутой лестницы и вышиб себе передние зубы, а в настоящий момент там сидел, развалиясь, натуральный молодой каскадёр Саша Невзоров, приставленный к Натану, возможно, тем самым красивым полковником, кушал бутерброды с красной рыбой фиш и честно ругал нехороших евреев... Не было тогда цифровой печати, четвертых айпэдов, 4Джи и Дэ, Винда 8-го... день был без числа, казался вечным, как Дао и Дэ, но скучать нам было некогда. Это хорошее и красивое время я уже описал в своих мемуарах...

Перепрыгнем в 2000-е. Из личной переписки.

Я по эмейлу Косте Кузьминскому о Шигашове:

«Дорогой ККК! был я у Мити Шигашова. С ним все в порядке. Марина, конечно, великая женщина – и с супругом таким управляться и ребенка вывести в люди. Дитё уже психолог и кандидат, пишет докторскую по теме виктимологии и даже триллер сварганил на сюжет о жертвах насилия. Тут, конечно, и папины гены разгулялись. С прозой отца все гораздо сложнее... У Мити... имеются будто бы... один-два рассказа и повесть – "Три черты". Роман "Остров" по-прежнему в том же архетипическом состоянии... Митя ...однако зело перегружен докторинными делами и я бы не сказал, что он так уж загорелся идеей проталкивания покойного папы в новую жизнь. ...А вообще препогано, что автор, на чтении которого Дар обливался слезами, и сам Веничка уважал, и о котором говорили (Панова)... как о втором Достоевском, остался при подобном корыте. Тут вышла энциклопедия Бориса Иванова – якобы обо всех, но Шиша и там нет».

Костя мне из Лордвилля («Божедомка»);(стиль, грамматика и орфография автора):

много чего было, мало чего стало

это я начал читать ваш трактат

и были это не “сборники стихов (как у вас), а полноценные антологии (ретроспективные подборки были одобрены 10-ю из 14 “младых”: залупался эрлюша, требуя включить “памяти дж.хендрикса” – от коей впоследствии отказался, гондона генделева я и не спрашивал...) и даже АСП-62 (антология советской патологии) – была таковой: по стишку, по два – был показан весь “спектр питерской поэзии”; первый Штат Делавер. Ранее – Брайтон-Бич, еще ранее – Остин, Техас, еще раньше – Галерная улица.

выпуск у меня замылили – некий “гуля” из кумпании молота, другой экз. пошёл в москву к алику гинзбургу (вместе с полным перво-бродским), третий экз. тоже пропал; от второго выпуска – осталось только оглавление... готовилась антология “юг” (алеиников, фальков и т.д.), но была оставлена в доработку пиздюлии (Вознесенской) и наталии (Лесниченко) – а те начали похабные лозунги на стенках писать (Петропавловка), вместо...

я бы определил – для исхуйства – / *продолжает ККК* / – три необходимые доминанты, ДДД: дом, доход и досуг

все 3 могли быть минимальными: койка, пельмени и свобода и все 3 имелись

до 30-ти я делил одну комнату с матушкой в коммуналке, а с 30-ти двухкомнатную на бульваре...

рабочего стажу на 35 лет – было, ну, менее 5-ти (в общем) остальное оставалось на поэзию и живопись

с голоду не помирили даже дворники драгомощенко и ю.дышленко

... вот первые книжки оси, бобышева, наймана, рейна – я делал с гришкой (Слепым) и боренькой (Тайгиным) в 62-64-м

Дима (Бобышев), кстати, написал блестящие мемуары в “октябре” и о даре – не чета парашам-попискушкам рейна и уфлянда...

... занялся я как-то статистикой «газаневщины», насчитал на питер 1975 – с сотен 5 пишущих-бренчащих-малюющих, да по 10 поклонников на рыло, итого: 5 тысяч, на 5-миллионное народонаселение питера... тот же процент: пятеро – на 5 тысяч брайтона – я обнаружил и тут – 0,1%,... и это ещё – много...

Я Косте Кузьминскому о Даре:

«Вы – интуитивист-нативист как и Дар, но тот принимал целиком, без нотаций, со всеми фенечками-прибамбасами – личность. Умел (от Бога, а значит, как Бог) любить, не деля по ранжиру, абсолютно несхожих...»

Тут вспоминается стихотворение Дмитрия Бобышева:

«Нет ни Дара, ни Глеба Семенова...
 А мы сами-то, разве мы есть? –
 От пасомого стада клейменого
 с вольнодумством отдельная смесь.
 Нас учили казенные пастыри:
 – Деньги-штрих, деньги-деньги, товар.
 Нам же – дай своего: хоть опасного,
 но живого, не правда ли, Дар?...»

Немного концепта (из моей статьи):

Последние десятилетия существования советской власти были своего рода рефлексом Серебряного века, особенно в поэзии несмотря на давящую силу тогдашней идеологии и цензуры, отчасти и благодаря ей – в эстетической

борьбе с нею. Это Бродский, Бобышев, Горбовский, Соснора, Кушнер, Британишский, Кузьминский, Кривулин, Елена Шварц, С. Стратановский, Ал. Миронов, В. Филиппов, Охапкин, Уфлянд, Е. Игнатова и целый ряд других. Метафизики, лирики, формалисты, барды... от державного верлибра до концептуализма, от религиозной поэзии до виртуозной зауми и «конкретной» поэзии. Все мыслимые и немыслимые варианты творческих поисков и достижений. И в этом эстетическом котле, в самом его центре находился человек, которого знали все, и который знал всех. Этот человек, Давид Дар, был живым связующим звеном между классиками нашей литературы (тогда еще далеко не полностью признанными или даже вообще замолчанными, как обэриуты) и талантливой молодежью, всегда окружавшей его и которой он помогал чем только мог. О его таланте слушателя, о его литературной интуиции, об оригинальности его мысли и всего образа жизни ходили легенды...



Цитата:

«Дар был — как Сократ — акушеркой, родовспомогательницей, помогавшей молодому писателю разродиться собой, своей эстетикой, своим мировоззрением».

(Владимир Британишский. Вопросы литературы, IV, 1995).

Костя Асе письмом (о составлении книги «Дар»):

«дара надо составлять — по частям, по кусочкам (методом д-ра моро): слишком двойная (тройная, четверная) жизнь у него была...

...а у деда было много чего всего невысказанного

да и круг его общения: абрамов, астафьев, не говоря — за веру панову, жену, сталинскую лауреатку... (а начинал ведь — при мандельштаме, при ахматовой... с пастернаком и зощенко, и чорт те кем...)

...но вы же ортодокс, ася вы и журнал «звезду»/«неву» и гордина — за ЛИТЕРАТУРУ почитаете...

Дар – не я
у старика СТОЛЬКО было в прошлом (до нас), да и прошлое-то было – не наше, ломлен-богемное, с выпивонами по кочегаркам и лодочным станциям...
у нас-то было всё – как на ладошке, однозначно
ну, пили-трахались, ну, писали – заведомо «в стол», для друзей
лишь дар был не разбери-бери: внешне советским-детским, внутри – кондово антисоветским, и антисоциальным даже
ему юродством – приходилось скрывать слишком многое
и опять же: если мы – своих стукачей – знали наперечёт...– то дар-то состоял в СОЮЗЕ СТУКАЧЕЙ поголовных
и сам, каким-то непонятным чудом, не сел...»

ККК о Даре (см. Антологию «Голубая Лагуна»):

«Чтил он – молодых и никому не известных, за что и был нам – больше отца.

А хулиган! Подходит к нему стукач, все в том же Союзе-Совписе: "Ну, как, Давид Яковлевич, вам понравилось собрание?"

На что Дед, яростно пуская клубы дыма – пуф! пуфф!

– "Ебал, говорит, я ваше собрание, ваш союз писателей и вашу советскую власть!"

Стукач, со сдвинутыми мозгами, уходит и начинает мучительно думать: доносить ежели, то – как? Кто ж в такое поверит?»

Еще немного концепта (из моей статьи «Форматирование андеграунда»):

Исходя из наиболее типологически общего, отметим, во-первых, что понятия «ядра» и «периферии» могут быть применены к любым объектам/ситуациям/отношениям, и в этом смысле какая бы то ни было «вторая культура» есть **вечный** исторический объект (ситуация); различия начинаются в деталях. ...

Нетрудно заметить, что сложившаяся в СССР система «универсального» народного образования, культ прогресса и знаний, а также акцент на воспитательную роль культуры (в частности, художественного слова) с логической неизбежностью привел к возникновению различного рода кружков, студий, объединений, т.е. к совершенно уникальной – на фоне других стран – культурной ситуации.

Из непритязательной лампы просвещения вылетел не спроектированный и своенравный джинн. То, что должно было играть прикладную и вспомогательную роль, «искусство – средство», оправдываемое более широкой, внешней – социально-устройственной – целью, выросло в «искусство – цель», оправдывавшее любые внутренние специфические средства. Искусство само стало социальностью, т.е. бытием, поскольку последнее не способно было стать искусством. В чем заключалась сущность этого «второго» бытия можно спорить, но самими творцами она чаще всего определялась как искомая и полная *свобода*. ...

Еще одна хорошая цитатка.

Ольга Бишенковская (Нева, 10, 1993): «свободно дышать, не сковывая себя никакой формой»; «дайте мне речь, а премию – Бродскому»... «божественный» «взгляд из сатанинской котельной».

Из моей статьи:

Но авторские я бывают разные! С плакатной ясностью психосоциотипы художников обрисовал в своей песке-скетче Владлен Гаврильчик: *мямлик, шустрик и гаденыш*. Пожалуй, это вечные типы.

Не будем пережимать: и «первая» (социально) культура тогда не столь уж космически-грандиозно «гуляла по буфету», и «вторая» не ходила с клеймом на лбу и колодкой на шее. Давно ли «первая» привыкла к тому, что можно спокойно засыпать по ночам, а «вторая» к тому, что вообще существует? Но – *πάντα ρεῖ...*, «все течет...».

Непроходимой пропасти не было, более того, андеграунд являлся неотъемлемой частью духовной жизни городских центров России. Не гражданская война, а показательный «спарринг» и взаимное волнение зрителей.

«Самая-читающая-страна-в-мире» не могла не породить внутри себя разнообразнейших вариантов классической игры в «казаки-разбойники», или «андеграунд и власть» (или, что то же – «сукины отцы и дети»). К середине 80-х гг. состояние подобных отношений приобрело тавтологический и инерционный характер; игра стала терять прелесть новизны, исчерпала свои эстетические и комбинаторные возможности. А необратимый крах сам ой «самой-читающей-страны-в-мире» сделал эту игру не актуальной и наивной. (Как писал Лев Лурье «победили фарцовщики, умело переведшие нелегальный бизнес в легальный... Семидесятники же (вместе с коммунистическим Ленинградом) пали в борьбе роковой...»).

Однако, умерев, андеграунд тут же воскрес. Поражение стало победой. Победил реальный (натуральный) андеграунд. Его язык стал языком массмедиа и общества (от «фени» до англицизмов и игрового языка «продвинутой» литературы). Все натуральные формы коллективного и самовыражения легализовались. Вчерашние завсегдатаи неофициальных выставок и черного рынка визируют документы в министерстве, качают нефть и спонсируют театры. Можно здесь вспомнить китайскую притчу о непобедимом драконе (регенерирующимся из своего победителя). А можно – непобедимого хама...

Я Косте эмэйлом о нынешнем:

«Вымирает-опадает мужейная косточка. Сие, конечно, очень по-русски-советски: неспособность объединиться, протрезвиться, скинуться, наконец. Андеграунд, блин! А кто сумел вылезти на свет баблOVO-тусовочный, тот сразу же ненужный прах с себя отрясает. То во времена былинные, даровы, считалось, что продаваться западло, а ныне инако. Напротив, выбить чегой-то из чьей-то мощны – числится за героизм и умственную адекватность.

Собственно, вся страна давно живет по лагерному принципу: ты умри сегодня, а я лучше завтра.

Мне тут, кстати, недавно попались любопытные документы – кто-когда-сколько-на что урвал, припав к сосцам щедрого Сороса. ...тут много знакомых имен, в частности – Бугаев-Африка (20 тыс. баксов), Флоренские (столько же на «создание пяти домиков-витрин с пятью чучелами животных внутри; временная установка в Летнем саду»), Белкин – 5 тысяч на создание «серии объектов, посвященных взаимоотношениям людей и насекомых» и т.п. Так что может я и поторопился мужей в культур-музеум сдавать: ще не умерла, не сгинула...».

Сегодняшняя притиска (2010 г.): А как не вспомнить сукачѣвское «Был бы рубль 47 – было клѣво бы совсем!». Перечеркиваем. Гарик Сукачев выиграл на своей яхте, длиной 18,5 метров, ежегодную регату Нидерландов и отметил победу в королевском доме. А чѣ? Клѣво. Андеграунд рулит. Особенно в условиях пут-феодализма...

В широком, философско-историческом, плане *всѣ* есть и некогда было, и когда-нибудь будет – андеграундом. Вероятностный победитель эволюционного процесса вырастает на *маргинальной* почве, формируется из неотформатированной хаотичной материи. Слабое и нежное побеждает заскорузлого дракона, Давид – Голиафа; свет приходит с востока, из «Галилеи». Правда, вечной юности (в одном флаконе) не бывает, вечны лишь перемены (см. «И Цзин»), жаль, что не все доживают. Хотя и дожившие на новом этапе могут узреть приметы «вечного возвращения». При новых технологических условиях и возможностях – в обе стороны, и свободы и подавления. Но мы отвлеклись.

Из другой статьи:

Отсвет некоторой «андеграундности» всегда лежал на питерской культуре, независимо от ее официального статуса: часть известных ее представителей перебиралась либо в столицу, либо на Запад. Реальная известность оставшихся «законных» деятелей литературы и искусства мало чем отличалась от известности их «второкультурных» земляков. Не произошло кардинальных изменений и далее: сегодня число читателей толстых журналов вряд ли превышает число читателей самиздатских журналов советского времени. А в целом количество активных читателей неуклонно приближается к числу самих пишущих; в принципе, это уже одни и те же люди.

А вот что означает преемственность в нашей культуре? Одно только «осеменение»/«опыления» старшими младших (либо «выживания» первых вторыми) недостаточно без реальной культурно унавоженной почвы. Эта реальная почва, «перегной», «гумус», не только «язык», но и «культурный слой»... правда, слабо отмеченный в биографиях «великих» и выпавший из исторических обзоров для широкой публики, но без которого городская культура была бы совершенно бесплодна. Это плохо различимая интеллигентская масса учительниц и библиотечарш, писателей и читателей, доцентов и дворников, гениев и графоманов.

Врезка из Антологии ККК:

«без таких людей, как Алексей и Марьяна Козыревы – литература наших дней в Ленинграде – немислима. Они – *среда* (что не означает посредственности). *Люди* они».

Продолжаю.

Любой такой «список» уникален и не поддается обычной классификации, напоминая этим знаменитую энциклопедию животных из рассказа Борхеса. Вот только несколько случайных персонажей из моего личного списка советского времени.

Рано умерший рок-бард, Сергей Журавлев, прямой предтеча Башлачева, Шевчука и Гребенщикова. Любительские магнитные ленты с его авторскими записями частью пропали, а частью пылятся у его родственников. Бывший инженер Водоканала, Виктор Навроцкий, автор написанной в жанре и размере средневековых религиозных поэм работы об основах языка и мышления. Туняец, англоман и диссидент, Илья Левин, автор неопубликованных статей о творчестве тогда еще неизданных обэриутов (сын малоизвестного члена Обэриу, ныне – американский дипломат в «Третьем мире»). Профессиональный туняец и бомж Гера (Герасим) Григорьев (не путать с Геннадием, Дмитрием и Олегом!), автор неопубликованных поэм и остроумной саркастической пьесы из жизни ленинградской богемы («Головоходы»). ККК в Лагуне упоминает его пьесы о древних славянах, но упускает указанную мной, возможно потому, что сам там был главным героем). Ну и Ася Львовна Майзель...

Дар Асе из Иерусалима (конец 70-х):

«Ваше письмо очень интересно. Вы верны своему стилю: и Ваши художественные произведения, и само письмо будто бы выгравированы тонким пером, похожи на легкую изящную гравюру, проникнуты артистизмом – Вы так сочетаете слова, что как бы создаете иную реальность, очень правдивую, но иную – как бы отражение в зеркале – обладающую тем обаянием, которое свойственно только произведениям искусства. ...

Если к Вам пойдет Вася, очень хотел бы, чтобы разузнали и затем написали мне, чем он сейчас увлекается, что читает, по-прежнему ли привержен теологии, что и как пишет сам? Я понимаю, что Вася очень скрытен и ничего рассказывать о себе не любит, но для меня он по-прежнему одно из самых беззащитных и уязвимых существ на свете, и нежная жалость к нему, и желание помочь, и отчаяние от того, что я не сумел ему ничем помочь... не дают мне покоя».

Вася Филиппов (отрывки):

Ася Львовна сшила мне костюм из крылышек стрекозы, В котором я могу показаться в обществе,

И ушла, завернув белую розу лица в сиреневый целлофан платья.

Ее любимый поэт – Бродский,

Архиепископ ленинградский и новгородский
 Поэтов. Охапкин конечно... Его нравственная позиция.
 Другие поэты, у которых слова,
 Словно шахматные фигурки у Карпова.
 ...Ася Львовна в восторге от стихов хлопала в ладоши
 И вызывала меня на бис.
 С губ падал ирис
 И цеплялся за подбородок-карниз.
 Ее собака, похожая на овцу, Жоли, вставала на задние лапы, И мне
 чудилось, что это переодетый Охапкин...
 ...День памяти Марии Египетской.
 Священник поздравил меня с выпиской
 Из больничных палат.
 Он говорил: "Мы – во зле",
 А я воспринимал все оптимистично по весне,
 Я пребывал в глубоком сне,
 Одетый церковью до пят.
 ...Потом я под дождем возвращался домой,
 Попирая землю стопой,
 Сам не свой.
 А дома меня ждала бабушка с иерихонской трубой,
 Сообщила, что звонила Ася Львовна,
 Я ее обидел кровно.
 Кроме Аси Львовны мне никто не звонит,
 Пришло время подставить губы иконе,
 Она меня похоронит
 На небосклоне. ...

Ася (из дневников): «Надо было сказать Филипповым (родителям):
 Понимаете, Анатолий Кузьмич, ваш сын имеет несчастье быть
 мыслящим человеком, но от этого нет лечения».

Костя Асе письмом (1999):

«...порадовали
 Когда книжка похожа на автора – это хорошо (ежели автор человек
 хороший)
 Автор и должен быть похожим на свое произведение – что бы ни
 рисовал художник: натюрморт, голую бабу, пейзаж – он рисует –
 автопортрет
 Вот и у вас он получился – От желтых одуванчиков еврейских до
 немецких детей...»

Ася (отрывки из ее книг в стиле дзуйхицу – «вслед за кистью»):

«...Как восхитительно наблюдать за мышлением ребенка! – ...когда один человек, ребенок, станет равен огромному народу... Позавидуйте мне: я учу читать ребенка.

...Я поняла, что народ – это каждый один. А язык русский это давно знал («Встали как один»...)... К. Кузьминский меня привлек тем, что что ему интересен каждый голос... каждый один.... Но как это уживается с тем, что другой у него отдалён?...

...Впущу-ка я в мои записи нежные, как молоко-молозиво, весенние краски Царскосельского неба. Впущу-ка я в мои записи еще не листья, но уже вылупившихся из почек младенцев, впущу весеннее солнце, впущу весенние дожди... Скоро-скоро! Многолиственный закрасуется бульвар.

...Но Жоли уже вырвалась на свободу, несется прочь... в темную глубь кустов... в прохладу одиночества и независимости... снова на солнце – взвить тело!.. К траве! Травинку в рот!.. Во тьму корней! К солнцу! О упоение радости жизни луга в июне...

...Я ходила по разноцветным листьям, кругом еще пламенели клены, желтели березы, но уже цветы с клумб были убраны, чернела земля... Воздух был теплым с чуть заметными толчками льда, смутно напоминавшими постукивание клавишей пишущей машинки. Вот таким был мой день, когда в 9 утра умер Борис Тайгин. ...

...три мои подруги ушли в тонкие миры. А я хочу еще задержаться на земле. Не насытилась...

...Смерть это не костлявая старуха с злыми глазами. Она железный агрегат, подобный семафору железной дороги. Семафор открыт – открыто движение ретроспекции – четко, ясно-зримо мелькают шпалы, мелькают шпалы... корю себя, удивляюсь себе, бичую себя, тоска невозможности гложет сердце. Так что же? А вот что: периоды жизни человека – младенчество, детство, отрочество, юность, зрелость, старость, предсмертие. Здравствуй мое предсмертие! Побудь со мной».

Костя мне (2003):

«...асенька львовна, трепетная – своекоштно тщится издать мои ей письма...»

ася – полагаю, и из юридических боязней, книгу мою не продаёт, а раздаёт лишь потому, что человек с полста уже готовы подать на меня (на асю!) в суд...»



Я Косте:

«В минуты редких просветлений почитываю кусочками написанную Вами Книгу писем. Есть своя сермяжно-запорожская завидная прелесть в вашем делаверском сидении (прилежании), угрей там давить-коптить и по пицце размазывать... да сирены в банке гундят... Лепота! Я раз в году тоже забираюсь в карельскую глушь на устатки тещиной дачки поматериться с природой. Друзьяв-учеников, правда, нет, также как денег и публикаций, зато есть, как писал Дар, полная свобода».

Наконец вышла наша книжка «Дар».

Костя мне:

«Спасибо вам за ДАРА! Асе – целование ручек».

Александр Гиневский Косте о вечере презентации в гостиной ж. Звезда:

«Ася Львовна говорила как трудно было, сколько сомнений пережито во время работы над книгой... Нина Катерли рассказывала, что знала Д.Я. с раннего детства, т. к. росла в семье профессиональных писателей. Что Д.Я. когда-то предсказал ей, что она тоже станет со временем

членом Союза, но это, мол, не есть карошо... И вот теперь она давно всё поняла. Вышла из Союза писателей... И как жаль, что нет уже на свете Д.Я. и некому сказать слова благодарности, за некогда обронённое и глубоко верное замечание... Борис Иваныч Иванов. Этот старец, выглядящий бойцово, произнёс большую речь. Он говорил о двух светилах того времени: о Д.Я. и о Кузьминском. Анализировал влияние того и другого на русскую словесность. Говорил об обоих в равной мере. Мол, неизвестно куда бы забрела эта словесность, особенно питерская, не будь на небосклоне этих двух светил... Во как».



Я Косте:

Только что получил отклик от Марамзина /писатель, издатель альманаха «Эхо», некогда опубликовал в самиздате полного Бродского/ (я послал ему книжку в Париж): говорит, что это «настоящий памятник Дару». Правда, обижен, что о нем самом там – будто бы – не слишком доброжелательно.

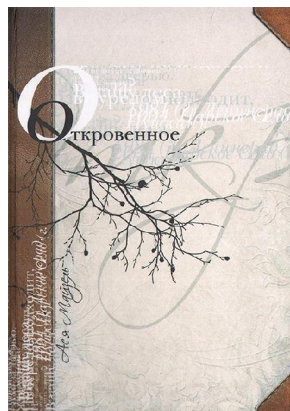
Стихотворение Геннадия Трифонова в честь Аси Львовны, прочтенное в июне 2005 года на презентации книги «ДАР» в гостиной ж. Звезда:

...Усталость. Вы знаете цену ее. Вы вполне
жизнь Вашей любви оправдали изданием Книги,
страницы которой бегут по горячей воде,
и пенятся в ней, и кричат, и срывают вериги.

В цепях невозможно, я помню, дышать, говорить
и даже страдать, потому как страдание длится
пока в вышине мы способны парить
и тем, кто нас любит причудливым облаком сниться.

Свобода нам надобна. Тонкий ее голосок,
ее волосок, рассекающий тьму городскую...
Я нежно целую Вас в ваш побелевший висок
и к вашей свободе свою несвободу ревную.

От ревности плачу в чулане и в чудном саду,
и стрелки часов поднимаю со дна циферблата
от зависти к Вам. И целую подругу-судьбу
за то, что мы плакали, плакали вместе когда-то.



ФОРМАТИРОВАНИЕ АНДЕГРАУНДА

История неофициальной литературы и «второй культурной действительности» столь же типична и, одновременно, уникальна, как и любая целостная историческая ситуация. Понятно, что «сколько людей, столько и мнений», но трудность даже не в этом: поскольку всякая историческая ситуация это еще и конкретика содержания, «неисчерпаемость бытия», так сказать. То и о том, какая именно выборка фактов может считаться концептуально репрезентативной, никогда нельзя будет окончательно договориться. Впрочем, событийную часть истории (питерского) андеграунда можно считать на сегодня достаточно полно отраженной в ряде разрозненных, но (фактологически) объективных газетно-журнальных публикаций. Некоторые, изначально субъективные, моменты в статьях, воспоминаниях и интервью, такие как чувство ностальгии по ушедшей эпохе, вполне объяснимое педалирование ее культурно-исторического значения и не до конца изжитые чувства обиденности, уязвленной гордости «непризнанного художника», в конечном итоге не ослабляют, а напротив, укрепляют ощущение подлинности, выстраивают реальную перспективу. Правда, это, скорее всего, побочный продукт на фоне общей «историцистской» установки на объективность.

Сегодняшний – вполне сознательный – акцент на «прохладное», отстраненное, отношение к прошедшему уже заметно далек от «горячей» тенденции андеграунда тех лет – оппозиции реальной («большой», «тотальной») истории, т.е. от тенденции острого противостояния господствовавшей социально-культурной действительности. Речь здесь идет не только о внешней оппозиционности и духовном эскапизме, но и – более широко – об ответном (компенсаторном и едва ли не манихейском) противопоставлении всему «историческому-и-социальному» «вечного-и-космического». Другой разговор, насколько генетически книжным, литературным, оказался сам этот «космизм». Но о последнем позже, а пока, основываясь на указанном ряде публикаций, попытаемся охарактеризовать и хотя бы частично подытожить т.н. эпоху «2^{-й} культуры». (Вряд ли стоит перекладывать эту задачу на более «объективное» будущее ввиду, якобы, его человеческой неангажированности и незаинтересованности, т.к. при действительной незаинтересованности не возникнет, скорее всего, и постановки самого вопроса).

Историческая *типичность* андеграунда, как социально-культурного явления, в целом достаточно очевидна и может быть из-за своей очевидности всерьез не рассматривалась. Подобная ситуация регулярно возникает там и тогда, где и когда главенствующая идеология подавляет все явно несогласующееся с ней, и /или потенциально в этом несогласии подозреваемое. Более того: со времен Платона эстетические воззрения и художественная практика, будучи по природе своей неоднозначными и

апеллирующими к чувствам, всегда находятся под подозрением у рационального разума. Этим очевидным и простым положением, однако, не исчерпывается характер общей картины. Исходя из еще более типологически общего, отметим, во-первых, что понятия «ядра» и «периферии» могут быть применены к любым объектам / ситуациям / отношениям, и в этом смысле какая бы то ни было «вторая культура» есть «вечный» исторический объект (ситуация); различия начинаются в деталях, в конкретике.

С другой стороны, приметы именно нашей ситуации 1950^х–1980^х годов (с пиком, приходящимся на 1970^е и первую половину 1980^х) уже настолько специфичны, что можно говорить об абсолютной *случайности* (и единичности) ее характера. В этом смысле наша «2^я культура» до такой степени уникальна, что вряд ли способна послужить полезным опытным материалом и уроком для будущего. И тем не менее... Смысл игры, как известно, в самой игре. Ничто другое не оправдывает дискурса (тем более, дискурса *о* дискурсе), кроме его собственного желания «быть». В то же время момент прояснения сущности и ценностного значения любого «случившегося» дискурса есть главная проблема для его участников («автора» и «потребителя»).

Приведенный выше пример «ядра» и «периферии» сам по себе находится *вне* ценностного поля (поля «валоризации»), хотя и не враждебен ему; можно взять здесь за метафору, скажем, орех с его съедобной внутренностью и несъедобной скорлупой, а можно – сливу или иной плод с выбрасываемой сердцевинкой. (Но можно сказать иначе: понятия «центра» и «периферии», будучи топологически взаимозависимыми, должны и ценностно играть на одном поле, обменивая – во времени – *плюс* на не менее «логоцентрический» *минус*). Хочу уточнить, что и термин «случайность» не носит уничтожительно оценочного характера, а лишь фиксирует неповторимость локального «хронотопа». Любая локальность исторически и физически специфична, т.е. случайна: сложись чуть иначе мозаика бесчисленных факторов и возникла бы иная, несходная, ситуация (не разрушающая общей «глобальности» – с ролью Бонапарта справился бы Бернадотт, службу Гаврилы Принципа исполнил бы другой принципиальный «гаврила»). Не имеет этот термин и никакого индетерминационного характера: не будем излишне много говорить об азах взаимосвязанности свободы и необходимости, причины и следствия, курицы и яйца.

Нетрудно заметить, что сложившаяся в нашей стране система «универсального» народного образования, вполне исторически релевантный культ прогресса и знаний, а также акцент на воспитательную роль культуры (в частности, художественного слова) с определенной логической неизбежностью привел к возникновению различного рода поддерживаемых государством кружков, студий, объединений и т.п., т.е. к совершенно уникальной – на фоне других стран – культурной ситуации. Позади осталась другая ситуация – высокая культура национальной элиты на фоне «неиспорченного» эстетизмом народа и последующая эпоха хаоса с идеологическими попытками заменить былой эстетизм индивидуалов «творчеством масс». Парадоксальным итогом этого периода стало как раз

появление «новых индивидуалов», но – появление *массовое*. Может быть непреходящая ценность последней эпохи, эпохи «2^{-й} культуры», заключается как раз в ее неповторимости, предельной уникальности, в особой ее остроте, выпукло и четко выраженной системности и самоестественности. («Парадоксальность» и «естественность», «неизбежность» и «случайность», как уже говорилось, процессуально дополняют друг друга). В данном случае процесс пошел по нарастающей: самодетерминация (объективная системная динамика), согласно научно постулированным принципам – принципу максимума взаимной информации, и экстремальному (оптимальному / вариационному) принципу – *изживает* внутренние (рамочные) возможности ситуации, доводя первичную тенденцию до ее логического конца, часто – до абсурда, из-за чего конечный результат вполне способен по всем параметрам отрицать и дезавуировать свое собственное начало.

Из непритязательной лампы просвещения вылетел не спроектированный и своенравный джинн. То, что должно было играть прикладную и вспомогательную роль, «искусство – средство», оправдываемое более широкой, внешней – социально-устройственной – целью, выросло в «искусство – цель», оправдывавшее любые внутренние специфические средства. Искусство само стало социальностью, т.е. бытием, поскольку последнее не способно было стать искусством. В чем заключалась сущность этого «второго» бытия можно спорить, но самими творцами она чаще всего определялась как искомая и полная *свобода*.

Ольга Бешенковская (Нева, 10, 1993): «свободно дышать, не сковывая себя никакой формой»; «неофициальное искусство – не продукт творческого труда, а его метод»; «дайте мне речь, а премию – Бродскому». Нетрудно подыскать этому исторические параллели в манифестах большинства известных литературно-художественных школ и течений. Например, можно вспомнить идеи средневекового китайского художественного движения *Фэн лю* – «Ветер и поток» (можно сказать – «Буря и натиск» даосского разлива). Или, ближе, ср. 168^{-й} «Атенийский фрагмент» Фридриха Шлегеля. «Какого же рода философия выпадает на долю поэта? Это – творческая философия, исходящая из идеи свободы и веры в нее и показывающая, что человеческий дух диктует свои законы всему сущему и что мир есть произведение его искусства». Есть и специфика – могучий (социально) противник, «социалистический реализм». Борьба не столько физическая, сколько духовная и даже метафизическая. Да и борьба ли, если полного вытеснения не предвидится? Скорее, некий тяжеловесный, вынужденный танец на тесном коммунальном пятакке. О. Бешенковская (там же; написано в 1980^{-м}): «поэты растут на погостах» (вспомним: «поэты – жида»). Но уничтожение паче гордости; О. Б.: «ясный», «божественный» «взгляд из сатанинской котельной», с социального dna (чу! во гробах шевеление: Мильтон и Байрон, Бодлер и Рембо...).

Ну, не всегда так мрачно и героично: «тиски цензуры», «фронт оппозиции режиму» и т.п. Юмор и самоирония так же имели место быть. К сожалению, мало кому известны текст пьесы Германа Григорьева «Головоходы» или

скетча-басни Владлена Гаврильчика «Гаденыш» (подзаголовок – «драма для мультфильма»). Прочитую из последнего (Лабиринт / Эксцентр, 1, 1991) о трех типах художников – Мямлике, Шустрике и Гаденыше.

«Жил да был художник бедный / с колоссальной бородой. / Видом сумрачный и бледный, / духом смелый и прямой. / Был он скромн, был он честен, / не ловчил и посему / совершенно неизвестен / был народу своему.../ Рисовал он что попало: / розы, рожи, даже кал / рисковал. Но генералов / никогда не рисовал». Шустрик: «– А вот Гаденыш рвет капусту. / И ты бы красил тупики...». Мямлик: «– Ты и Гаденыш говнюки». «(Вкатывается господин Аперитив. Он толстый и с сигарой в зубах). – О, русски пентерь! Ошень рада / я вас немножечко видать.../ Ес! Вы не рисовать парада. / Вы рисоват бога мать». Гаденыш: «–...Непонятен кто народу, / мы тому начистим морду. / Трепещите формалисты – / мы идем, бульдозеристы!»...

Простота плаката, но вся ситуация как на ладони. Историки и философы могут позавидовать. Однако продолжим.

Тип профессионального маргинала не мог возникнуть сразу и во всей красе, тем более – из ничего. Хорошо бы все свалить на тлетворное влияние «господина Аперитива», но, увы: язык новой культуры складывался на стыке блатного жаргона, официальных реляций и – взыскующей Эдема – отечественной литературы.

При ЛГУ, в Горном, ЛЭТИ, Технологическом уже с 1950^х гг. возникали Лито и студенческие театры-студии, в поэтических коллективах выращивались индивидуальности (М. Еремин, Р. Грачев, В. Уфлянд, Д. Бобышев, Л. Лосев и др.). В 1960^е подключился Дворец пионеров – клуб «Дерзание» (sic! менталитет эпохи «энтелехийно» проявляется в символах); результат: Е. Шварц, Е. Игнатова, Е. Пудовкина, В. Кривулин, Е. Вензель, С. Стратановский, В. Эрль, Г. Трифонов, Вик. Топоров, Лев Лурье. По словам очевидца (Британишский, НЛО, 14, 1995), «старшие [из поэтического поколения 50^х] боролись за самое отгепель, за право поэзии и искусства на существование. Младшие могли уже позволить себе просто быть поэзией и искусством...». В. Уфлянд (Петрополь-3, 1991): «Внутренняя свобода и презрение к догмам обеспечивали широту и разнообразие методов... Совершенствовались поэтические методы предыдущих эпох от абсурдизма до примитивизма со всеми переходными промежуточными градациями». (Но «эмпиреи» пока еще идеологически преобладали над грубой эмпирикой). Он же: «в моем поколении вряд ли кто-нибудь ставил себе абсолютной целью существование только в подполье и именно во второй культурной действительности. Все искали выхода за пределы самиздата... возможности опубликоваться здесь или на Западе...». И, тем не менее, тот же автор отмечает, что «кто-то путем компромиссов вступил в СП, кто-то, пища стихи, кормился различными специальностями... Но... постоянно появлялись поэты, не имевшие дара обзавестись каким-либо социальным статусом. Несомненно наступал *кочегарный и самиздатовский период русской культуры*» (курсив мой. – В.Л.). Короче, «мямлик», «шустрик» и «гаденыш» уже встали тремя мифомутантами на фронтире нашей ойкумены.

Родился новый тип поэта (художника, интеллигента), хотя в нем угадывался и Гаршин, и Рембо, и Аполлон Григорьев, «далее – везде», и – с другой стороны – Фома Опискин, кэп Лебядкин (далее тоже немало). Ср. слова А. Арьева о прозе Довлатова (Петрополь-3): «В рассказах Сергея Довлатова «лишний человек» проснулся после столетней летаргии и явил миру свое заспанное, но симпатичное лицо». Там же у Довлатова (рассказ «Лишний»): «Я выпивал, скандалил, проявлял идеологическую близорукость...». И суть даже не в том, что *этот* «новый русский» действительно был симпатичен и «безопасен», сколько в том, что *ситуация* позволяла ему быть таковым: бытие и сознание взаимоопределяются в «габитусе».

Здесь мы, конечно, крепки задним умом; оказалось, что изначально можно было много более(!) выжать набоковско-прустовского сладко-соленого солода во временах, где нас уже более нет. Впрочем, сие извинительно: устоявшийся социум легко начинает казаться природным явлением, а блага – скромным бесплатным к нему приложением. Сама экологическая ниша рутинных форм борьбы-выживания приобретает черты «вечного возвращения» в замкнутой системе («туда-сюда» в проруби). Суицидальные фигуры, такие как А. Морев и А. Башлачев, слишком серьезно воспринявшие свое время, все же не показательны (так же как и полуграмотные полубредовые «гении» вроде... но не будем о грустном). «Мягкий», «классический» (и стопроцентно нонконформистский) вариант новой культуры, «мэйнстрим» – «Кока» Кузьминский, «Веничка» Ерофеев, «трансфуристы», «поэты Малой Садовой», салоны Стерлигова-Глебовой, Давида Дара, Юлии Вознесенской.

Невозможно (да и не нужно) в краткой статье даже пытаться отобразить полный художественный (и концептуальный) спектр неофициальной литературы того периода, хотя и вовсе избегать упоминания о таковом было бы странным. Сошлемся здесь лишь на мнение критика, скрывшегося под пом.рго. «Ивор Северин» (ВНЛ 1, 1990), сделав к его схеме некоторые дополнения и уточнения. «Северин» подразделяет новую литературу на «канонически тенденциозную» (официальная и эмигрантская, из «2^й к-ры» – Бобышев, Охупкин, частично Кривулин), «неканонически тенденциозную» (Шварц, Миронов, Стратановский), «бестенденциозную» (Саша Соколов, Б. Кудряков, Е. Харитонов, Евг. Попов, Вик. Ерофеев[??] и мн. др.) и «металитературу» (в 1^ю очередь – московский концептуализм). Если пафосный, идейно озабоченный, канонический герой «шагает прямо», «открывая» для других ценности, то «неканонический» герой (он же автор) эксцентричен, рефлексивен и неортодоксален, он выбирает дорогу, «как бы завинчивающуюся вокруг этих ценностей, а не приводящую прямо к ним». (И здесь уже можно говорить об объективной эволюционной логике, о развитии и структуризации эстетического процесса, происходящего не только в историческом времени, но и в «микрофизике» духовного пространства. – В.Л.). Постмодернистской «бестенденциозной» литературе свойственны антипсихологизм и имморализм, но, в отличие от «металитературы», в данном направлении еще присутствует рефлексивный герой (пусть даже –

«анти») и авторская («демиургийная») позиция, плюс попытки построения некоего «синтетического», «универсального» «первозыка» (частица Джойса в нас заключена подчас...). Наконец, «металитература» это ощущение «конца литературы», ощущение «заворота литературных кишков» и невозможности самоценного словесного образа, отсюда – абсурдизация самого лирического героя, каталогизация абсурда и провокативные имитации.

«Северин» здесь вплотную подошел к пониманию объективной логики культурного процесса (дело ведь не только в том, что индивидуальные способности и склонности авторов изначально – т.е. случайно – разнятся), хотя и не обозначил ее с достаточной точностью. Данная «спираль» сама есть смоделированное выражение («синтез») ряда коннотирующих друг с другом классических оппозиций: «бытие и ничто», «*phusis* и *techné*», «природа и культура», «культура и цивилизация» и – более узко – «Греция и Рим», «символизм и концептуализм», «герм. экзистенциализм – франц. постструктурализм» и т.д. Новизна положения в том, что «рухнул» не только систематический, «телеологический», разум, или позитивистский *Aufklärung*, но и рефлексивная свободная критика, романтическая ирония замыкаются в тавтологии и более «не работают». Все ценностно уравнилось, т.е. обесценилось; не *человеческое* (слишком / не слишком) является агентом движения («вливания»), но «*вирулентное*» бесконечно самовоспроизводится, копируется и рассеивается (см. Бодрийара и С^о). Однако не это ли и называется объективностью? Роком, если хотите? А стало быть, и избежать участия и погруженности в деятельность ничему человеческому не удастся. «Уравненность» инициирует (точнее, имитирует) неразличность, но не является ею (некоторые всегда «равнее», чем другие); «неоднородностей», «специфичностей», пока еще слишком много, а ими-то и характеризуются «наличные» свойства процесса.

Иначе говоря, если бы Елены Шварц и Дмитрия Александровича Пригова, или Дмитрия Бобышева и Владимира Сорокина не было, их следовало бы выдумать.

Термин «бестенденциозность» не слишком точен (и даже вовсе неточен!), но, тем не менее, «работает», т.к. позволяет объединить модернистов и постмодернистов, авангардистов и «классицистов», лириков и эпиков, абсурдистов и сюрреалистов на почве «символологии» и культурной традиции, в том числе (и в особенности) – традиции авангарда. Отсюда, кстати, и объемная просветительская деятельность художественного самиздата, культуртрегерство, работа по «свиванию» прервавшейся связи и «славы» того-сего времени. Страна продолжала жить сразу во многих (если не во всех) временах; в этом аспекте и расхожий термин «застой» отвечал определенной реальности. Некоторые темпоральности были (а некоторые – казались) ведущими. Питер, в лице своих «символических» (во всех смыслах слова) представителей, тяготел к *до*-темпоральному, «вечному», принципу бытия (духовный Эдем), а Москва – к *пост*-темпоральному, что оказалось внутренне более «прогрессивным» (в силу так же и внешнего прогрессирующего паралича ее реальных «ведущих»). В результате первые три типа (по «Северину») литературы, в равной мере религиозный,

экзистенциальный и историко-культурный антиофициоз и псевдоактуальный официоз, оказались на обочине эстетических интересов общества, в отличие от металитературы, оторванной от «корней» и «кисотоков», и маргинальной уже по определению, т.к. последняя отвечала на актуальный (в связи с общей легализацией частного интереса) вопрос: «Что нового?». (Отсюда вполне естествен переход к общему, индустриальному, методу поточного производства и планового обновления культуры).

Сам андеграунд в определенной степени являлся для своего времени трагическим парадоксом, ведь в маргинальность была вытеснена эстетика высокой духовности и художественного разнообразия как таковая, хотя с официальной стороны этого не признавалось и в данном аспекте андеграунд мог считаться оболганным. Но вот «справедливость восторжествовала», мучеников восстановили в правах, а некоторых, наиболее скандально известных, канонизировали. Однако бывшие заслуги уже стали никому не нужны и неинтересны, а главное – еще один парадокс для «бойцов культурного фронта» – и сама ценность «духовного / вечного» перестала быть ценной и вечной. И в этом была своя логика: «вечное» в буквальном смысле не актуально!

Проблема вовсе не в том, что культуры может быть *много* или *мало*, и даже не в том, что произошла некая переоценка ценностей, суть и *pergno* *probandi* заключается в *синкретичности, универсальности*, самого культурно-социального облика «советского человека». Культурная составляющая здесь неотрывна от всех прочих элементов и функций, различие состоит лишь в определенной переакцентировке, в смысловом ударении на той или иной составляющей. В этом плане и самый малограмотный «работяга» не являлся антиподом «эстету»: он не мог правильно выговорить слово «экзистенциализм» и не читал ничего, кроме телепрограммы, но само *значение* Шекспира и Пушкина, а шире – образования и культуры, не ставилось (да и не могло ставиться) им под сомнение. Сомнения в обоснованности и онтологичности, значимости и действительности культуры как таковой могло зародиться только в ее собственных недрах. Идеи богоборчества и еретичества не возникают в *не-опытных* душах и невинном сознании. Иными словами, «синкретизм» был разрушен прежде всего изнутри, в результате объективного логического развития, в том числе в связи с ростом личного эстетического опыта художника, в силу его «защитленности» и сверхвнимания, пере- (здесь – сверх –) акцентировки на культуре, а так же благодаря познавательной-просветительской, культуртрегерской, деятельности (см. выше о принципе максимума взаимной информации). ***Воистину, знание – сила!..***

Но вернемся к «героическому» периоду андеграунда, к моменту, когда будущее еще было неизвестно, а настоящее казалось абсолютно незыблемым. Синкретичен («широкоформатен») был как каждый отдельный автор (он и филолог, и философ, и прозаик, и поэт, и критик, и лирик, и издатель и лит-агент), так и всё творческое общество. А последнее «не терпело пустоты»: здесь возникали (в каждом городе отдельно) свои «набоковы» (например, Михаил Берг), «селины» (например, Петр Кожевников), «беккеты» («Гран-

Борис» Кудряков), «дадаисты» (Сергей Сигей с супругой и сотоварищами), даже свой «данте» имелся (Дмитрий Бобышев из «ахматовских сирот»).

Особенность андеграунда сказывалась в том, что он представлял собой «литературу читателей», где читатели это, одновременно, писатели, а так же в том, что своей активностью и самим своим существованием он оспаривал привычную теорию ценностей, идею редкости исключительного (гениального; «не более одного-двух великих поэтов на эпоху» и т.п.). Нет, индивидуально, во мнении отдельно взятого представителя, сия теория оставалась неопровержимой, только вот гением здесь каждый считал лишь себя самого. «Коллективный гений» был (и признавал себя) «дилетантом», но – (цитирую О. Бешенковскую) – дилетантом «с большой буквы». Тут нет ни ошибки, ни даже снижения образа, т.к. дилетант в данном случае есть синкретический универсалист; значение термина снижается в эпоху узких специалистов-профессионалов, когда все в чем-нибудь (вернее, в большинстве вопросов) дилетанты, а само понятие гениальности становится терминологическим атавизмом.

Андеграунд это своего рода голографическое образование, с одной стороны воспроизводившее в сжатом виде эволюцию мировой культуры, а с другой – ее социальную инфраструктуру. Что касается эволюции, то момент «перезрелости» можно увидеть в возрождении эстетики архаического и мифологического; конец по-своему имитирует начало, пытается в нем почерпнуть недостающую потенцию и обосновать собственные выразительные формы. Супер-р-революционные и авангарднейшие «трансфуристы» обращаются не только к Василиску Гнедову, Хлебникову и Крученых, но и к древнейшему мифу. Вот, что пишет С. Сигей в предисловии к публикации дожившего до наших дней (1908 – 1996) обериута, легендарного И.В. Бахтерева (НЛО, 26, 1997): «Текучность манифестируют хтонические поэты через хтоническое: через фонетику и заумь... они пребывают подолгу в «подземном состоянии» (андеграунд), но и они же естественная и необходимая часть дуальной структуры мира... дуальной структуры литературной жизни... самой Поэзии... Космогоническая борьба продолжается... Искусство – это не только терапия (для потребителей), но еще и хирургия (для творца)... Такая хирургия... берет исток в ритуале и жертвоприношении...».

Другим («хирургически» еще более радикальным) творческим решением стал московский «неомифологизм». Борис Гройс (НЛО, 27, 1997) говорит о «реди-мейдной» работе с литературой, как с пассивной текстовой массой, о переходе от образа писателя-аристократа, инвестировавшего всю жизнь в искусство, к образу писателя-бюрократа. «Сорокин выживает в качестве автора-бюрократа, цензора, или текст-дизайнера, манипулирующего текстом извне, по ту сторону его... референциальности»; «автор-концептуалист добровольно жертвует своей индивидуальностью и совершает посредством этой жертвы символическое восхождение на бюрократический уровень власти». («Хилер» сделал свое дело).

У каждой группы был свой индивидуальный «ноев ковчег» ценностей; не мир, но меч скрывался за пазухой. Ср. у В. Кривулина (НЛО, 27, 1997):

«ложноклассическая шаль музыки Иосифа Бродского», его «неоклассицизм – «рыночный» ответ на «потребность общества обозначиться как целокупный трагедийный Космос». Впрочем, мелкие коммунальные склоки не мешали (и были вполне естественны) при организации пограничного коммунального «космоса», повторявшего основные социально-психологические черты своего «ядерного» собрата (или, м.б., «отчима»?); Квартирные и «ДэКашные» выставки, машинописные альманахи и журналы («Часы» – с 1976¹⁰ по 1990^с гг. – 80 №№ и 22 тома литприложений!), принципы отбора, отсева и награждения авторов (премия им. А. Белого; не будем уж об интригах и наказаниях), наконец, созданный в процессе муторной борьбы и согласований с властями «Клуб-81». Последний сразу начал активно дифференцироваться, стратифицироваться и раздуваться: появились секции критики, поэзии, прозы, театральная и музыкальная студии, «Регулярные ведомости» – орган правления клуба, «Предлог» – издание секции переводчиков, плюс журнал для детей и журнал сатиры («Красный щедринец»). Весьма скромным итогом, в сравнении с реальными творческими возможностями ленинградской «2^й культуры», стал сборник «Круг», изданный официально в «Совписе». Напршивается сентенция по поводу «горы», родившей «мышь»; слишком «горняя» цель оправдывала и необходимые средства-уступки, возможно, оказавшиеся недостаточно кардинальными ранее, в частности, в случае с невыведшей антологией «Лепта». Но поразительнее другое: каким образом в заведомом гнезде ползучей анархии, хтонической свободы и «зауми», возможен такой, без стыдливой самоиронии в качестве оправдания, рациональный и нахрапистый социо-прагматизм? (По стремлениям, разумеется, а не по призовому месту). Единственно возможным кажется ответ, что это никакое не «рацио», а именно естественная, прозорливая хтоника на свободе, нормальный – «папин» – ген дарвинизма в реальной космогонической борьбе. (С другой стороны, почему обязательно «или – или»?..).

Не будем пережимать: и «первая» (социально) культура тогда не столь уж космически-грандиозно «гуляла по буфету», и «вторая» не ходила в обносках, с клеймом на лбу и колодкой на шее. Давно ли «первая» привыкла к тому, что можно спокойно засыпать по ночам, а «вторая» к тому, что вообще существует? Но – *pánta reí...*, «все течет...». Непроходимой пропасти не было, более того, андеграунд являлся неотъемлемой частью социокультурного бытия, а его отношения с властью – немного специфическим, но вполне органичным фактором духовной жизни городских центров России. Не гражданская война, террор и горы трупов, а показательный «спарринг», взаимное волнение и переживания зрителей. Еще в 1973^м году Кривулин, Буковская и Охапкин писали письма в Секретариат ЛЮСП с жалобами на несправедливую изъятость из «нормальной литературной жизни города» «целого поколения писателей и поэтов». Письма рассматривались при участии приглашенных авторов на заседании Секретариата. Глеб Семенов, известный в те годы «пестун» поэтических дарований, не без резона заметил, что если вы «другие», то и живите по-своему, а иначе – принимайте существующие государственные и

издательские требования к текстам. В конце концов, стороны обиделись друг на друга и разошлись. (См. Э. Шнейдерман, Звезда, 8, 1998).

Характерно, что СП, в целом, занимал весьма инертную позицию, «официалы» более всего хотели бы не слышать, не знать и забыть; реагировали и вступали в контакт, по своему роду занятий, партноменклатура и спецслужбы. Это действительно была архетипическая ситуация, взаимный интерес искони был запрограммирован. Поэты и художники «хотели» читателей и зрителей помимо собственного *круга*, им казалось, что этот искомый возможный круг – серьезного восприятия и признания – очень широк. И обеспокоенность их деятельностью властей-от-культуры порождена была той же самой – утопичной – идеей. Т.е. общая форма социально-художественного бытия создавалась андеграундом и его антиподом *совместно*, в диалектическом со- и противодействии, чем, кстати, искусственным образом, на данном временном отрезке, и формировался этот «внешний круг» восприятия (очереди на первые разрешенные выставки, хождение по рукам самиздата и т.п.). Совершенно объективным образом возникла определенная атмосфера социально-художественной *игры*. Внимание к деятельности развивало (а то и инициировало) саму деятельность, происходила взаимоусиливающая детерминация. Духовная жизнь тех лет была реализацией модели «детской комнаты» (со всеми нюансами жалоб и нотаций, любви и ненависти, поощрений и наказаний). И каждый был на своем месте, назубок знал свою роль (перефразируя сразу несколько известных сентенций: наш мир-театр не велик, но это *наши* сукин театр!).

А. Басин свидетельствует (цит. по Л. Гуревич, Звезда, 8, 1998): «возник род выставок, обращенных не к зрителю, а к этим внешним силам. Выставка сделалась акцией – не в результате эстетического задания, а вследствие условий существования»; «концептуальная выставка самодвижущихся объектов на открытом воздухе», ...достаточно поговорить по телефону о намеченной выставке, и экспоненты в нужное время сами придут в движение: «по Иоанновскому мосту, как заводные, задвигаются желтые машины, по Кронверке, поднимая пену, полетит катер... придут в движение роты пехоты и моряков».

Нельзя сказать, что это преувеличение, миф. Вернее, это, конечно же, миф, но – с заглавной буквы; миф, изначально диктующий не столько восприятие, сколько саму форму действий, разыгрывающий межжанровую героико-ироническую «космогонию» руками «актантов», уверенных в том, что действуют по собственной воле. Ср. с этим рассказ Юлия Рыбакова из предисловия к автобиографической повести Юлии Вознесенской (Юность, 1, 1991) о листовках, расклеиваемых по ночам, игре в прятки «с хвостами» и уходах по крышам, о поисках тайников самиздата, о горящих в руках Юлии списках и адресах. Там же о «выставке» у Петропавловки: «Ю.Н. [Вознесенская] предложила: пусть экспонатами станут те, кто придет помешать нам... Самодвижущийся хэппенинг был велик и разнообразен, объекты ходили... хватали, разъезжали по Неве на милицейских катерах... Ю.Н., чтобы из дома вырваться, пришлось по водосточной трубе спускаться с

четвертого этажа да на пятый день голодовки... мы все-таки заставили ГБ и милицию сделать выставку...».

Не важно, как можно назвать этот эпос, «Илиада», «Батрахомиомахия» или «Троянский Рим – тюрьма народов». Ирония здесь неизбежна, но очень запоздала. Впрочем, никакой *другой* иронии в нашей Истории нет...

Собственно, ситуация в литературном «официозе» была, за вычетом технических деталей, абсолютно идентичной ситуации в андеграунде. (А разве на заводах, в колхозах и в армии ситуация была принципиально иной?). Тут непроизвольным образом вспоминаются известные положения историков (в первую очередь, западных) об издревле патерналистско-консервативном устройстве и духе российского общества. Менталитет, черт возьми, и только! (Можно, конечно, поспорить, в каком обществе активнее культивируется инфантилизм...). Однако в любом случае положения эти недостаточно конкретны. Рискну утверждать, что не архаическая изоляционистская парадигма явилась здесь основным структурообразующим фактором, а как раз напротив – исключения из нее. В этом плане гораздо большую роль сыграло наследие социализма, в его изначальном космополитическом и широком «научно-утопическом» виде. Именно влияние «европросвещения», элементы картезианско-руссоистско-сенсимонистского толка, оказались, на мой взгляд, решающими, ибо всплывали наверх всякий раз, когда общественная жизнь несколько успокаивалась, избавившись на время от настроений ежеминутной борьбы за существование и продолжение рода. Эта, фундаментальная Утопией, (а также реальным генетическим страхом перед лопатой с навозом), тенденция тяги к «свету», «культуре», «образованию», «лучшей жизни» («завтра будет лучше, чем вчера») развязывала скованные силы и способности народа, фантазию и «волну к игре».

Уже не раз указывалось (в частности, Ал. Зиновьевым) на факт *перепроизводства* у нас интеллигенции, на существование значительного слоя людей с универсальным, т.е. претенциозным, но непрактичным, образованием. Данная форма культурной «архаики» хорошо увязывается с глубинным социально-психологическим родством «верхов» и «низов», способных без заметного ущерба системе заменять друг друга («флюс» излишней специализации вреден организму здорового динамического противостояния). Естественные (т.е. изначально обусловленные) ограничения не мешают и даже провоцируют различного рода творческие микро-«эволюции» и микро-«сублимации». Нельзя было легально проявить себя, к примеру, на финансово-экономическом поприще, но зато можно было мечтать о «кисельных берегах», отдавать все свободное время «волшебному искусству», «играть в бисер» (в том числе и со «свиньями»). «Самая-читающая-страна-в-мире» не могла не породить внутри себя разнообразнейших дериваций классической игры в «казаки-разбойники», не могла не сыграть и в более специфические формальные игры, такие как «андеграунд и власть» (или, что то же – «сукины отцы и дети»). К середине 1980^х гг. состояние подобных отношений приобрело несколько тавтологический и инерционный характер; игра стала терять прелесть

новизны, исчерпала свои эстетические и комбинаторные возможности (и, видимо, не она одна). А необратимый крах самой «самой-читающей-страны-в-мире» сделал эту игру не только не актуальной, но и показательно наивной. Активный исследовательский интерес к ней (к ее *реальной* истории и объективным результатам) очень долго не сможет проявиться, пока жив хоть кто-то, кто ее помнит, т.к. серьезные «взрослые» (всячески подчеркивающие свою «взрослость») не любят напоминаний о некогда «запачканных штанишках».

Вот еще одно свидетельство очевидца, с хирургической точностью и безжалостностью препарировующего бытийную ситуацию творцов канувшего в Лету «ритуала». (Лев Лурье, Звезда, 8, 1998): «В брежневско-романовском Ленинграде существовали определенные правила игры, которые, в общем, соблюдали и власть и люди контркультуры. Нельзя было печатать антисоветские... тексты на Западе, заниматься политикой, ...совмещать контркультурную деятельность с иной недозволенной активностью» (наркотики, фарцовки, гомосексуализм); «При соблюдении этих условий власть оставляла возможность жить как хочешь: читать Солженицына, слушать «Свободу», ходить на квартирные выставки, ...носить джинсы, посещать церковь или синагогу и спекулировать пыжиковыми шапками»; семидесятники «сумели создать общество, независимое от государства. Тотальный контроль был и преодолен тотально. Произошла секуляризация культуры от государства»; «Семидесятники за редкими исключениями не боролись с советской властью, а игнорировали ее. Но и советская власть в целом игнорировала семидесятников. Отсюда их родовые черты: неумение работать в институционализованном обществе, пьянство, лень, фанаберия». [В.Л.: Иначе говоря, существовал социальный договор; государство-церковь нуждалось не только в примерной пастве, но и в таковых же еретиках, последние же, в свою очередь, не могли состояться без идейного (и вполне уязвимо) антипода. Отсюда, с другой стороны, программируемые и легко предсказуемые условия существования: всякого гения избалуем с младенчества, так, что он ни на что иное, кроме своей «гениальности» не будет способен; силы его тратились на борьбу с Органами и собственными органами профессиональной деятельности плохо формировались.] Далее – у Лурье – «Положение семидесятников в посткоммунистическом Петербурге печально. Их тихая битва с системой обернулась взаимным поражением и системы и ее оппонентов... И те, кто искренне отстаивал идеалы сталинизма, и те, кто им не подчинялся, оказались в дураках... Победили фарцовщики, умело переведшие нелегальный бизнес в легальный... Семидесятники же (вместе с коммунистическим Ленинградом) пали в борьбе роковой...».

Итак, полное поражение? Крах? Без сомнения. И без малейших надежд на реставрацию. Но в то же время – столь же полная, сокрушительная (для многого и многих) *победа андеграунда*. Главенствовавший, «ядерный», этос культуры давно стал внешней крепящей оболочкой; кора задубела, потрескалась и отпала. В древних мифах чудесные хтонические звери сами выкликают свои имена; мир устроет голос-логос, звучание магического

слова (~ внутреннего рыка). Со стороны внешнего соглядатая «нутро» маргинально и периферийно, но во всех случаях оно *реально*. Победил реальный (натуральный) андеграунд. Его язык стал языком массмедиа и общества (от «фени» и всех прочих видов сленга до техно-англицизмов и аллохонно-игрового языка «продвинутой» литературы). Все натуральные (хтонические) формы коллективного и само-выражения легализовались и институционализировались. Неформальные тусовки стали способом ритуальной демонстрации могущества и власти. Да и в области частных судеб не все так уж худо: кто-то неплохо «купился» на месте, кому-то помогла заграница. «Митьки», Курёхин, рок-команды это уже классика новой эпохи. Один процветает на «Свободе», другой в «Коммерсанте», третий оккупировал половину телепрограмм или не вылезает из «всемирной паутины». Вчерашние завсегдаити неофициальных выставок и черного рынка визируют документы в министерстве, а иные завсегдаити качают нефдоллары и спонсируют театры. Можно здесь вспомнить китайскую притчу о непобедимом драконе (регенерирующимся из своего победителя), а можно лозунг «пусть цветут сто цветов». Но мы вышли из темы.

Еще раз окинем взглядом картину, дабы убедиться, что все произошло закономерным и естественным образом. Крупномасштабно – теплое «застойное» *инь* сменило жесткое сталинское *ян*, чтобы после определенного периода неизбежного хаоса уступить место новому *ян*, уже иного свойства параметров жесткости. В нашем частном случае – микропериод «оттепельных», утопических, культурных заявок перешел в стадию формирования идейного ядра андеграунда как такового, чтобы последний, использовав внутренние потенции, завершился рефлексивным «снятием». В этом аспекте элитарная (концептуальная) верхушка культурного андеграунда, пресытившись собственно культурным содержанием, критически пересмотрела сам утопизм культуртрегерских посылок и оснований, освободив, таким образом, дорогу *транскультурной* (по Бодрийару) тенденции.

На этом коротком этапе происходили, кстати, весьма любопытные события. Еще неотрефлектированное (ни изнутри, ни «по жизни») массовое рабочее «тело» андеграундового «бессознательного», почувствовав ослабление внешнего институционального «сверх-я», ринулось наружу (в пределах всероссийской социо-ментальности). Мгновенно появилось бесчисленное количество обществ, движений, сект, клубов, кружков по интересам (как казалось тогда, совершенно разнообразных), все они потребовали гóлоса и права участия в формировании культурного и жизненного пространства. Романтическая по задумке «демиургия», а по сути и факту дублирующая во многом речь и деятельность героев Андрея Платонова. Можно даже сказать, что материализовалась литература, и гротесковые герои из произведений андеграунда вышли в жизнь, подтверждая тем самым идейную правоту Платона, Плотина, Гегеля, Гоголя, Уайлда и скромных тружеников сценарного цеха. (И, ясное дело, актуализация виртуального не могла не поспособствовать заметному сокращению материального базиса).

Вот краткий, но весьма характерный, перечень выразителей «нового логоса», взятый нами из библиографии самиздата за 1990³¹ год (Samizdat, 1990, № 28-31). Социал-демократ Украины, Киев, 1990. Адрес: Киев-154. До востр. Дикому И.Л. (Эпиграф: «Кто живет не по лжи, – возьмитесь за руки, друзья!»). /// Голос труда: Конфедерация анархо-синдикалистов, Томск / Новосибирск. (№ 0 – о первом совещании анархистов Сибири). /// Сиб. газета «За чертой гласности», ред. О. Галушкин. (В 3^м № публикуется интервью с членом АССА – анархо-синдикалистской свободной ассоциации – А. Глушкиным). /// Антикоммунистическая газета «ЛЮМПЕН», ред. А. Мазурмович, адрес: ул. Сантьяго-де-Куба. /// ИД: (Газета хиппи), ред. А. Беликов. – Новосибирск, 1986-1987, № 1-4. /// Мангуст: изд. общ-ва «Трезвость» (ред. не указана), Новосибирск, 1989, № 1-6. /// «Боевой листок» Бориса Сапожникова (Москва), цена 5 копеек. (Текст оттиснут трафаретом на тетрадной странице в линейку, содержание – информация о ценах на продукты и товары в США и сведения о зарплате рабочих; напоследок автор сообщает, что «по мнению мыслящих людей, советский народ достоин своего скотского положения»). /// Кроме того – газ. «Черное знамя» (Ленинград, Анархо-коммунистический революционный союз); «Колокол» (г. Ленск); «Справедливость»; «Свобода»; «Путь к свободе» (таких названий несколько); и даже – «Свободное падение» (изд. политклуба «Орбита» Моск. Авиационного инст-та, ред. Д. Басистый).

И все-таки унтер-офицерская вдова себя высекла! Не «взрыв», но предсмертный «всхлип», яркая вспышка перед окончательным угасанием; вся эта анимация успешно растворилась в потоке реального («конкретного») нового, не выдуманного идеологами-угопистами, бытия, растаяла в его «горячих точках», заполнивших весь жизненный объем...

В заключение следует признать, что у нас, собственно, ничего не сказано о литературных произведениях, не обрисованы их авторы, живые люди и индивиды-творцы. А помимо самих творческих личностей существовали еще люди с организаторской, «продюсерской», жилкой и даже люди, *создававшие* личности (не в последнюю очередь – Давид Дар). Но произведения пусть обсуждают читатели и литературные критики, а о личностях рассказывают мемуаристы. Что же касается вопроса происхождения и *форматирования* андеграунда, то он кажется в какой-то степени проясненным.

октябрь 2000 г.

ДО И ПОСЛЕ. (околосовременные размышления)

Кажется, уже все сказано о постмодернизме, ему посвящены сотни книг и статей, но стала ли ситуация ясной, если даже среди узких специалистов мы не находим согласия? Может быть, постмодернизм (далее также ПМ) принципиально не однозначен? Тогда какое право мы имеем обобщать разношерстных авторов или даже кого-то одного из них подверстывать к ПМ? Или следует выйти за рамки строгих дефиниций и рассмотреть вопрос в самом широком контексте, тем более, что существует тенденция обозначать этим термином не только «течение», «практику» или «дискурс», но сам «дух эпохи»?

Испытанным способом понять, что собой представляет какое-либо явление, является не столько доверие к «свидетельским показаниям» (к манифестам и самоидентификации), сколько сравнение от противного. Скажи мне, кто твой враг...

«Враг» в критической литературе обрисован достаточно подробно, выпукло, даже избыточно. В ближайшем приближении – модернизм, а фактически это вся мировая культура, но – в отличие от «почерка» футуристов, а la Стенька Разин – взятая здесь не как постылый «архив», но во всей своей мифологической мощи и динамизме. Более того: не в безвинных конечных продуктах кроется изначальная кашеева сила, но в моделях и аксиомах, кодах и принципах, схемах и категориях «буржуазного» разума.

Итак, в чем же замечен последний? Признаков более чем достаточно; пунктирно – онтологизм, иерархизм, антропоморфизм, лого- и фаллоцентризм (список можно продолжить), а главное – утомительный в своей серьезности исторический детерминизм с претензией на объективную истинность, проективный, склонный к идеальному преобразованию мира и, стало быть, чреватый террором. (Здесь я стараюсь в меру сил обходиться без хулы и хвалы, оставаясь на уровне «любезничества», хотя, конечно, и объективизм нам только снится).

Не нужно быть постмодернистом, чтобы признать историческую ограниченность *любой* концептуальной модели и точки зрения. Пускай «все действительно разумно», но переживший свое время пафос и мертвящая тотальная власть абстракций не могут не вызывать отторжения и справедливой иронии. Сам ПМ ловко ускользает от подобного отношения, так как и не претендует на абсолютную истину; но в этом плане он не является каким-то очередным, тенденциозным, «измом», действующим по принципу бинарных оппозиций (вернее – не только «измом»). Правда, не все постмодернисты об этом знают.

Положительная установка ПМ вторит лозунгу Телемской обители: равноправие всех культур и дискурсов, отказ от переделки мира, отмена дискриминации и стирание границ – между искусством и жизнью, сакральным и профанным, объектом и субъектом. В этом плане т.н. идейный «противник» и не противник вовсе, а просто плохо отрефлектированная (в

самой себе) форма бытия, часть «слепой» природной среды. Последний (модернист, конструктивист, и вообще – «ист») был полон грандиозных, истовых, утопических планов, результаты краха которых мы до сих пор наблюдаем. Наконец он узнал, что на самом деле тоже «говорил прозой» и успокоился (на уровне музея и хрестоматии).

Естественный закон смены поколений и культурных форм, мод, тенденций и интересов. Не поленись повторить ту банальную истину, что победившее «новое» музеифицируется (а то и мумифицируется) и требуется следующее новаторское предложение. Это наблюдается и на уровне психофизиологическом (невозможность долгой фиксации на предмете), и на культурном, и на социально-политическом (ср. старую китайскую притчу о победителе дракона, который сам в свою очередь превращается в дракона). Возможно, именно избитость, тривиальность подобных истин и делает их «невидимыми» для «замысленных» взглядов мыслителей, рассуждающих о современной им ситуации...

Но то, что «старое и крепкое погибает», не противоречит и даже предполагает, что некогда оно славилось свежестью и новизной. В лозунгах и деятельности модернистов мы найдем многое из того, что будет отстаивать ПМ (приписав, естественно, все заслуги себе). Именно модернизм первым вошел в открытый конфликт с «логоцентризмом» и субстанциализмом (архэ) консервативных «буржуазных» ценностей. И продельвали это модернисты не только с горящими взорами фанатичных преобразователей мира, но и со столь любимыми сегодня «отвязными» играми, с веселыми «подставами», провокативностью и в упоении современными (им) техническими новинками.

Вот типичный язык лозунгов той эпохи.

Андре Бретон: буржуазные художники – «поклонники руин, трупов и гнили», «хватит поклоняться плесени», новое – это «фото, кино, граммофон»; Робер Деснос создает великолепные тексты, «которые тут же и забываются, ибо у Десноса есть дела поважнее, чем их записывать»; мы – «скромные регистрирующие аппараты». Хуго Балль: «проклятый язык, липкий от грязных рук маклеров». Себастьян Гаш: «Нам выпало жить в прекрасную антихудожественную эпоху».

В лозунгах модерна хорошо просматриваются два момента, узко антибуржуазный революционный позыв (Маринетти: долой мораль, музеи, прошлое, синтаксис...) и актуальный, в духе современного концептуализма, методологический «позитив» (Бретон: и Парфенон был когда-то «новенький, как наши автомобили»; Дали: «О антихудожественное... искусство промышленной рекламы, окрыленное и пластичное!», «чудесны фотографии туфель»). Ср. у В. Курицына (2001 г.): «кастроля родственна алтарю и в каждой теплой домашней вещице дышит возможность чуда». Молодость и старость, отрицание и новый синтез, ультра-«ячество» и внеличностный объективизм, идеологизм и тяга к конкретному. М. Бонтелли: высший идеал художника – «стремление стать безмянным»; Бретон: отказ от термина «талант», «вы можете беседовать со мной о таланте вот этого зеркала, этой двери, этого небосвода»; Иван Голль: долой средства,

опирающиеся на абстрактные понятия»; Брехт: пора снести барьер между сценой и зрителем. Кстати, и культура абсента «проклятых поэтов» сменилась тогда культурой психоделиков и воспеванием галлюцинаций, что весьма актуально сегодня.¹

В то же время модернизм далеко не всегда был *брутально* новаторским: лучшие его представители прекрасно умели находить своих духовных предшественников. Бретон видит предтеч нового искусства в Свифте, де Саде, Э. По, Бодлере, Рембо, Малларме, что, конечно, понятно, но в этом же списке поражает наличие имен Б. Констана, Гюго, Шатобриана. (А мог бы вспомнить Рабле, Вийона, Блейка, Кеведо и многих других). Как это чаще всего и бывает, более одаренные художники скорее «исполняют» закон (заформализованный и ослабший), нежели отменяют все законы.

Сам факт нахождения предшественников можно понимать не только в плане частных «созвучий» тех или иных личностей, но и более общё: в каждом, даже крохотном, локусе имеются *свои* конфликты старого и нового, без которых никакое развитие невозможно. И художники, хотя бы интуитивно, обычно понимали значение *системы*, объективных законов развития. Томас Элиот, столь же новатор, сколь и традиционалист, подчеркивая приоритет не поэта, а поэзии, утверждал, что возникновение и внедрение нового изменяет положение дел, и сама традиция меняется вместе со всей системой. Но рассмотрим пример со взглядами автора абсолютно далекого от художественного авангарда, традиционалиста, целиком и полностью погруженного в проблемы абстрактных понятий и теорий. Вильгельм Дильтей (1833 – 1911) ратовал за создание новой науки о духе: в противовес обобщающему методу естественных наук она должна стать гуманитарной, стремиться к индивидуализированию и опираться на опыт живой человеческой природы.²

Нет, разумеется, ничто не повторяется в точности: как пишет наш современник (В. Шинкарев), «одинаковое одинаковому – рознь», но стал ли бы он так говорить (а Ж. Делёз посвящать этой теме отдельную книгу), если бы никакие обобщающие абстракции не путались бы вечно под ногами? Признавая ту истину, что все примеры условны, обратим все же взгляд в сторону дальних предшественников современного дискурса виртуальности, семиотичности и релятивности, в сторону не столько людей, сколько идей.

¹ В связи с этим невозможно согласиться с В. Курицыным («Русский литературный постмодернизм», М.: 2001 г.), отождествляющим модернизм с алкогольной культурой, навязывающей себя миру.

² С одной стороны, в его призыве слышна тоска по свободе («душевные процессы всякого рода... и все образы внешнего мира... могут становиться материалом для... творчества»), с другой, больше века назад, – он отмечает как раз отсутствие универсализма («анархия царит на поэтических просторах во всех странах», «нас теснит пестрое многообразие художественных форм разных эпох и народов, вызывая распад всех границ... и всех канонов»); цит. по «Зарубежная эстетика и теория литературы», М.: 1987, с 136.

Собственно, споры об идеальном и материальном, вечном и временном, пронизывают всю сферу традиционной культуры, задолго до нашей эры различные буддийские школы и многие греческие мыслители в свойственной им терминологии рассуждали о вероятности, об относительности, о бесосновности, о текстуальности, отрицали «тяжелые» субстанциальные сущности и недвижные универсальные схемы. В каждом подобном случае можно, видимо, говорить об эпохе обрушения единой ритуально-идеологической системы, но, может быть, точнее было бы просто отметить некий пульсационный ритм, смену взлетов и падений в конфессионально-ментальной области.

И тут вовсе не обязательно высокому служению жреца-пророка противопоставлять эпатурующее поведение киника; так, например, абсолютный в теории скептик Пиррон на практике сам состоял в служителях культя. Тимон Флиунтский, его ученик, пародировал всех философов, а Аркесилай видел критерий истины не в науке и философии, а в социальном успехе и практической жизненной пользе. (Может ли что-либо быть более современным?). Совершенно искреннее соблюдение ритуалов еще не гарантирует сознательной веры в первичные сущности, и хотя из последнего никак не следует лозунг «все дозволено», но потому, в первую очередь, что сам лозунг излишне абстрактен, а на практике далеко не «все» дозволяется. По Сексту Эмпирику, нам даны только явления, согласно наблюдениям которых мы и живем, сущность же не дана и мы (агностики, скептики) воздерживаемся от суждения о ней. Почти буквально то же говорили буддисты-мадхьямики, «знатоки бессамосущего»,³ но называть это нигилизмом не совсем верно, А.Ф. Лосев считал данный подход чистым феноменализмом.

Феноменализм и эмпирическое описание – основа науки, неудивительно, что в эллинистическую эпоху тон задавали описатели, компиляторы, добросовестные коллекционеры и систематики (Варрон, Павсаний, Плиний, Страбон и др.), а поэты часто были одновременно филологами. Идеи их уже мало интересовали. Можно также вспомнить произведения Марциана Капеллы – синтез античной учености в беллетристической форме, а огромный трактат Атеней «Софисты за обеденным столом» это уже окончательная резиньяция некогда высокой интеллектуальной культуры и в то же время шедевр «наивного» античного постмодерна.⁴ Любопытно, что и классические

³ Современный философ М. Рыклин: активное утверждение в концептуализме «наблюдения как пустого и пустотного акта, не относимого ни к какому возможному референту». Ср. у Нагарджуны: «все существующие вещи пусты, как и мое высказывание».

⁴ Эталонным представителем литературного античного «постмодернизма» можно считать Лукиана. Исследователи отмечают в его творчестве ничем не ограниченную цитатность, смешение всех стилей и жанров, анекдотичность, иронизм, натуралистическую детализацию, отсутствие каких-либо позитивных взглядов и заинтересованности в плане общих

софисты платоновских трактатов, приверженцы плюрализма мнений и релятивности истины, отнесены Платоном к творцам не образов, но призраков, т.е. к имитаторам. На сегодняшний взгляд это метадискурсивное, «репрессивное», утверждение, тогда как нынешняя «парадигма» состоит в том, что не бывает никакого «на самом деле», а есть лишь более контекстуально успешные, изящные и читабельные модели и менее успешные (Курицын, 2001, с 192).⁵

Эпоха, наступившая после античной, уже не принесла каких-то особых новшеств, а только акцентировала некоторые тенденции. Иоанн Солсберийский (XII в.): «грамматика – это колыбель любой философии» (ср. «всё есть текст» Дерриды); Монтень, прагматически настроенный проповедник релятивизма: «мудрец живет в настоящем, и настоящее для него – тотальность времени», «мы все пишем глоссы друг на друга»; Уильям Оккам (XIV в.) апологет метода пробабиллизма (вероятности): реально лишь индивидуальное, универсалии это всего лишь имена, вербальные формы, знаковые аббревиатуры, созданные для удобства ума.

Здесь мы вплотную подошли к проблеме симулякра. Согласно Эпикуру, атомы эмануруют *eidōla*, «видики», «призраки» (*simulacra* Лукреция Кара), а от тех рождаются сны и вообще они определяют сознание человека.

Прежде, чем кивать на уникальность сегодняшней ситуации, следует учесть то простое положение, что наш мир *изначально и тотально* семиотичен, т.е. виртуальность и текстуальность вовсе не выдумана на наше несчастье злым-коварным Дерридой. О том насколько продуманы, глубоки и богаты символические модели Вселенной древних обществ не стоит долго говорить (сомневающиеся да не поленятся заглянуть в книжки известных культурологов, того же Лосева или А.Е. Лукьянова, да любых иных). Вопрос не в наличии/отсутствии всеобъемлющего семиозиса, а в эволюционном

мировоззренческих установок. Его риторический трактат «Лишенный наследства», доказывающий права вымышленного лица – чистая «риторика ради риторики», фикционизм и формализм как таковой, речь «Похвала мухе» – имитация серьезной риторики и одновременно пародия на нее. Излюбленные темы других трактатов – развенчивание высокой мифологии и всех философских школ; все философы – шарлатаны, лстецы и паразиты, в полном соответствии с концепцией еще одного его трактата, «Паразит, или о том, что жизнь на чужой счет есть искусство». Кстати, сам Лукиан закончил свою жизнь имперским чиновником, восхваляющим и оправдывающим лезть и почести императорской власти. Ср. у В. Курицына (ук. соч., с 259): «Мертв текущий виртуальный постмодернистский Автор. Но жив автор, который расписывается в ведомости, который осознал свои частные и классовые интересы, который замыкает свой смысл в жанр, чтобы выставить его на рынок».

⁵ «...если мы знаем, что истины нет, мы можем запросто говорить об истине, проповедовать истину, ибо понимаем ее глубоко условную природу и можем в любой момент с ней расстаться» (Курицын, там же, с 259).

изменении его форм и в оценке нынешнего состояния «ноосферы», обусловленного невиданным ранее технологическим скачком. Нет спора, что ситуация обладает актуальной новизной (и постмодернисты, вне зависимости от собственного желания и способностей, объективные свидетели и репрезентанты ее, как бы ни изгалялись они над самими этими терминами).⁶

Революции случались и раньше: взять само возникновение языка, появление изобразительных символов, искусства, письменности, книгопечатания..., но теперь резко изменились *скорости* коммуникации, т.е. предельно увеличилась скорость *взаимозависимостей*. Все «былое», в принципе, никуда не делось, но размеренно спокойным процессам и предугадываемым отношениям (между любыми формами любых актантов и оппозиций) наступил конец. Усилилось материальное производство виртуального, виртуальное приобрело большую действенность и демонстративность, избыточность, «гучность», стало супер-, транс- и гиперреальным. Сама мерность потеряла привычную наглядность, став фрактальной, а информация перестала быть неким компактом, вмещаемым, укладываемым в отдельного человека или даже в институт, организацию. Вероятностность и иллюзионизм увеличились одновременно с катастрофизмом и принудительностью, т.е. рок, фатум в своей навязанности и неотвратимости на порядок превзошел потенции античной эпохи. Социальный и культурный утопизм более не работает, если нельзя сопротивляться, остается только «играть»; перефразируя греческую поговорку, можно сказать, что постмодерниста фатум ведет, а наивного архаиста – тащит...

Следует все же признать: нарисованная картина несколько идеализирована, как будто тенденция глобализации уже целиком восторжествовала во всем мире, что, как мы знаем, не совсем так. В этом плане существовали и существуют заметные различия на ареальном уровне, а также многочисленные нюансы внутри каждой культуры.

Для нас, разумеется, более всего интересно, как мы сами дошли до жизни такой, есть ли обходные пути и на чем сердце успокоится, когда прогресс неизбежен?..

Идеологическое соревнование двух типов тоталитаризма, традиционного, «восточного», патерналистского, основанного на социальной иерархии, человеческих связях и неписанных законах, и новейшего, «мягкого», юридического и технологического, в теории неизбежно должно закончиться победой последнего, но на практике ограниченность ресурсов, «несознательность» и ненадежность человеческого фактора никогда не позволят этому процессу до конца завершиться.

⁶ Разумеется, я не смею утверждать, будто сам факт репрезентации как таковой не стал первоочередной теоретической проблемой (эпоха надежных простых связок «означающее – означаемое» уже позади), но не вижу особого концептуального ретроградства в том, чтобы и в этом случае проблема формально считалась репрезентацией некоего положения вещей.

Чем сложнее технология, тем стандартизованнее произведенные ею артефакты (и наоборот). Отсюда стереотипность и предсказуемость поведения (проявление закона больших чисел), инструментализм, управляемость, «одномерность».⁷ Тотальность и микроскопическая разработанность права стимулирует богатейшие формы его применения – бесконечные суды, тяжбы, сутяжничество, встречные иски вместо архаичной личной совести.⁸ Технология уже не может быть идеологически нейтральной и становится элементом системы господства, проект рациональности поработает природу, а с ней и природное в самом человеке. С чем согласны все исследователи – произошел «безоткатный» сдвиг, перенос акцента от *содержания* коммуникации на «канал», на *средства* информационного обмена («The medium is the message»).

Соответственно, чем беднее общество присвоаемыми ресурсами и хозяйственной продуктивностью, тем замедленнее эволюционные процессы и тем «синкретичнее» его культура. Технически примитивная, пафосная, идеология, возводившая потребление в идеал (и, одновременно, в жупел),⁹ боролась за целостность социума прямыми реформами (репрессиями) «сверху», неосознанно пыталась загнать всяческую нестереотипность («крамолу») вглубь человека и мелких клановых групп и тем самым готовила свое падение. Синкретизм культуры породил уникального синкретического человека, рядовой советский инженер это, структурно, Леонардо да Винчи в миниатюре, «и швец, и жнец, и на дуде игрец», его типичные хобби – поэзия, живопись, театр, джаз, астрология, чтение запрещенной литературы, изобретение «вечного двигателя» и «философского камня».

«Культура дефицита» в равновесном своем состоянии характеризуется приматом идеализма («духовности») над обычным «здравым смыслом» и «репрессированным» бессознательным. Как долго могла система находиться в равновесии, вопрос, конечно, дискуссионный, но, с учетом того, что Россия не Папуа – Новая Гвинея, а религиозный ритуал не диктовал каждый шаг советскому человеку, вполне решаемый. Нет, культура дефицита и сегодня

⁷ По Г. Маркузе (1964; рус. пер. 1994) место подавления влечений заняло формирование ложных потребностей – «комфортабельная демократическая несвобода», а «удовольствие, формируемое с целью приспособления, порождает подчинение». Пьер Бурдьё («Социология политики», 1993, с 36) говорит о мощи этой новой тотальности следующее: «социальное пространство стремится преобразоваться в физическое».

⁸ Маркузе: «утрата совести вследствие разрешающих удовлетворение прав и свобод... ведет к развитию *счастливого сознания*, которое готово согласиться с преступлениями этого общества».

⁹ По Э. Фромму – анально-накопительский человеческий (социальный) характер в экзистенциальном модусе «иметь», по Ортега-и-Гассету – «кумулятивное» накопительское поколение с перверсивным «некрофильным ориентированием». В этом аспекте западный социальный характер более новаторский, «генитально зрелый», соответствующий модусу «использовать».

никуда не исчезла, лишь изменила конкретные формы, и российские методы социального устройства все те же: к капитализму-либерализму мы перешли хорошо знакомым ленинско-маоистским «большим скачком», как некогда к социализму. Однако «леонардо» уже более невозможен, да и невоскрытых нарывов и тайников бессознательного, кажется, уже не осталось.

В связи со всем вышесказанным можно теперь легко различить западную и отечественную формы ПМ. Западные постмодернисты в основе своей – левые интеллектуалы и, несмотря на видимую деконструкцию дискурса предшественников, продолжают критический модернистский антибуржуазный проект.¹⁰ Покойный Герберт Маркузе (в полном согласии, кстати, с советскими идеологами) считал подобный богемно-интеллектуальный протест всего лишь «церемониальной частью практического бихевиоризма, его безвредным отрицанием, частью оздоровительной диеты для общественного статус кво». В какой степени можно согласиться с объективностью этого мнения, дело вкуса, но в любом случае следует учитывать также и признания самих лидеров ПМ. Вот, что заявил Жак Деррида (цит. по «Деррида в Москве», 1993, с 35): «Я ощущаю волнение, когда слышу «Интернационал», я дрожу от возбуждения и всегда в таких случаях испытываю желание «выйти на улицу», чтобы бороться с Реакцией». Sic!

Противоречие не столько в том, что нам от таких слов нехорошо икается, а подобную «реку» мы уже давно «переплыли»... «Культура дефицита» способна либо на истерическое восхваление собственной бедности, либо на еще более истерическую «большую жрачку», но никак не на культурное противостояние «буржуазности». В этом смысле наш ПМ, в глазах западного, формально (социально-исторически) находится еще на до-модернистской стадии, хотя с другой стороны, *ценностно*, он уже целиком и полностью в стадии т.н. *постпостмодернизма*, «мирного», «постгеронического», по выражению В. Курицына, этапа ПМ. (Тоже своего рода ситуация «большого скачка»).¹¹

При новом качестве информационного обмена некогда маргинальные

¹⁰ Ж.-Ф. Лиотар: «Постмодернизм... это не конец модернизма, но модернизм в состоянии зарождения, и состояние это постоянно» (цит. по Ad Marginem, 1993). Т.е. речь, опять же, идет об «исполнении закона».

¹¹ Тут есть еще один тонкий нюанс. Сам философский дискурс, в отличие от интереса к литературе и искусству, за редкими исключениями мало свойственен нашей культуре, нет той, естественной для западных интеллектуалов, привычки читать, перечитывать, вчитываться в Канта, Гегеля, Фрейда и Маркса (да-да, в том числе!) не по служебной обязанности, а «по зову души», так сказать. Здесь у нас пустое место или, скорее, «дикое поле». Большинству отечественных интеллектуалов почему-то кажется, что философские вопросы давно решены, проблемы «изжеваны» и возможна (в данном случае, актуальна) лишь художественная, метафорическая и концептуальная, *комбинаторика*, бесконечная «игра в бисер».

языковые дискурсы (арго локальных групп и неологизмы литературных экспериментов) становятся общим достоянием, журналистика как губка впитывает эти новации и в свою очередь транслирует их на самую широкую аудиторию. Современные литераторы несколько нервически пытаются возглавить «эстетический прогресс», но чем больше они стараются удивить и расшевелить «массы», тем меньше это им удается. Сами они объясняют ситуацию неумолимым процессом *инфляции* слова (и смысла) и мало кто замечает факт своего положения в качестве объективно-бессознательного «репрезентанта» глубинного пласта общественного менталитета. «Отвязные» игры интеллектуалов это во многом лишь «супербложка» и «титульный лист» реального «почвенного текста» (в системе трудноуловимых обратных связей).

В терминологии Делёза и Гваттари под основой общественного «айсберга» (на котором паразитируют интеллектуалы) можно понимать бессознательные механизмы пульсирующего социального поля, регулирующего потоки «желания», с той коррективной, что поле пронизано не только «властью» и «либидо», но и ментальностью, естественной идеологией, т.е. как бы природной самоидентификацией социума. В этом кроется неуправляемая сила реального постмодернизма и натуральная жесткость вырвавшихся на свободу симулякров, смягчаемая только растущей апатией реципиента. Неудивительно, что никакая игра на искусственное повышение шокового воздействия, а la Сорокин-Ширянов-Осмоловский, никогда не достигнет уровня влияния (шоковой терапии) «дискурса» повышения цен, самовоздействия недовольной толпы или даже суггестии рекламы пищевых добавок и средств от пога.

Общественный менталитет не константа, он, пусть и неравномерно, но очень живо преобразуется в связи с технологическими, социально-политическими и экономическими сдвигами, в свою очередь, функционально влияя на них. Т.н. постпостмодернизм вполне отвечает этому эволюционному закону.

Определенная проблема сегодняшнего «верхушечного» постмодернизма состоит в избыточной элитарности его аллюзионного языка и специфичности культурных интенций, требующих, несмотря на все реверансы перед маскультом, достаточной гуманитарной образованности для своего понимания. Но сегодняшний зритель-читатель, не имеющий ни времени, ни желания копаться в смысловых контекстах («интертекстуальности»),¹² уже не реагирует на «деконструкцию» знаковых для интеллектуалов имен, слов и событий. С другой стороны, он легко – причаемый с детства – входит в новую технокультурную реальность, она же «виртуалистика», она же новый тотальный фольклор индустриально-информационного общества. Самые

¹² Уходит в прошлое сам тип интеллектуала-эрудита: какой смысл в многолетнем накоплении и систематизировании знаний, зачем загромождать мозг тысячами фактов, а квартиру тысячами томов, когда в любой момент можно «скачать» эти и многие другие материалы из Интернета?

«продвинутые» и передовые из поколения «отцов» не успевают приспособиться к последним вкусам и веяниям субкультуры «детей». Разумеется, так всегда и бывало, но «победителям», «постгероям мирного времени» весьма трудно к этому привыкнуть.

Оригинальным и показательным свойством «постпост»-поколения является сочетание интереса и навыка жизни в виртуально-галлюциногенных, отвлеченных и в какой-то мере сказочных пространствах с абсолютной конкретностью, трезвостью и прагматичностью мышления, для которого культура, политика и теоретизирования отцов и есть как раз наиболее отвлеченные от реальности утопии и «заморочки». (Причем, это не означает некоего сугубо умственного невосприятия: если «заморочки» приносят ожидаемую материальную прибыль, то такой ход им понятен, но он может быть все же крайне низко оценен в связи с какими-то другими критериями).

ПМ не умер, хотя «пахнет» уже иначе. Он меняется вместе с обществом, но на своем, «отеческом» (и символическом), уровне. Чистая ирония и игра слов, перешедшая из интеллектуальной прозы в журналистику, парадоксальным образом обогатилась путем редуцирования, появился «гармоничный» язык амбивалентных значений. Подпись под фотографией целующихся политиков – «имяреки от души поздравили друг друга с праздником» – может быть прочитана и в прямом и в саркастическом смысле. Но главное, сама игра становится все более серьезной, активно участвуя в «жанре» авторитарно ориентированного переустройства мира. Если система «вертикализма» успешно воссоздается по обе стороны Атлантики, то странно было бы и культуре здесь отставать. А кто, кстати, сказал, что «преобразованцы» первой половины XX-го века (Троцкий, Сталин, Мао и прочие) являлись всего лишь постными фанатиками и не ценили тонкой симуляции, провокации и доброй соленой шутки?.. Не следует сомневаться, что имеющие богатый опыт имитации и симуляции постмодернисты много успешнее, чем их предшественники, проявят себя в деле как лого-, так и всякого иного «центризма». Более того, им очень легко будет дезавуировать-элиминировать (и не только виртуально) своих менее изощренных коллег-конкурентов как какую-нибудь троцкистско-зиновьевскую группу...

ПМ рано еще хоронить, он далеко еще не исчерпал свой творческий потенциал.

12.06.2002.

МЕТАФИЗИКА ЖИЗНИ



АЛЕКСАНДР ГИНЕВСКИЙ

ТРИ ПРИТЧИ

КАК СОБАКУ К СЕНУ ПРИСТЕГНУЛИ

Накосил животный мир сена. Целую скирду. На всю зиму хватить должно бы. Вот только кому охрану доверить?..

Думали-рядили и выбрали Козла. Уж очень он положительно-рассудительным слыл. И степенностью своего вида внушал полное доверие. Особенно, когда подбоченится или обопрётся на скульптуру какую... А сколько учёной важности в каждой курчавинке-завитушке аккуратной его бородки?!. А вытянутое интеллигентное лицо?!. А глаза?!. Посмотришь в это лицо, в эти глаза и в первую минуту окаменеешь от невольного уважения. А во вторую минуту так и захочется выучить таблицу умножения. Наизусть и всю...

Кроме высоких достоинств Козла было учтено и то, что ему тоже не чужды слабости смертных. То есть, что и он не прочь зимой сенца пошамать. Словом, и в его интересах было, чтобы общественного сена оставалось побольше и на подольше...

Козёл отказываться от предлагаемой службы не стал. Попросил только, чтобы ему саблю на бок нацепили.

– Зачем? – спросили его. – При таких рогах и ножика перочинного не надо.

Слова эти Козла малость покоробили. От чего лицо его чуток перекошило. Но он сдержался и отвечал с присущим достоинством:

– Рога у меня для приличия сана моего. А также для умственной деятельности тоже. Так что, милостивые господа, как видите, роговые украшения моей головы к охране никакого отношения иметь не могут...

– Может, обойдётся все-таки без сабли? Всё-таки скирда у нас и пряслом обнесена...

– Настаиваю на сабле. Объясняю почему. Когда хотят понравиться, то одевают чёрт те что и с боку бантик. А когда хотят внушить смирение, то – саблю. Как же я смогу без сабли внушить смирение всякому, кто сначала позарится, а потом покусится на наше сено? Что же касается прясла пограничного, так такие вещи надёжными не бывают. Они имеют тенденцию под действием осадков и обстоятельств перепреть и валиться... Смотришь, а на месте прясла пограничного – давно одни опята произрастают...

Что тут возразишь.

Нацепили Козлу с боку саблю. Торжественно проводили на пост, сказали:

– Если что, помощь понадобится, звоните по красному телефону. А для связи с семьей и родственниками – зелёный.

– Благодарю за информацию, – сухо сказал Козёл.

Пошёл он в поле, забрался на скирду. Лежит-полёживается. Во все стороны света посматривает, на телефоны поглядывает, прилипчивую сладкую травинку пожёвывает.

Всякие научные думы на ум не шли, скука дрёма одолевать стали. Напялил наушники, врубил плейер. Послушал капустный краковяк в исполнении Валерия Леонтьева. Но ведь и от краковяка, если его не плясать, ноги изрядно затекают...

Раз-другой звякнул по зелёному домой: узнать, варятся ли там щи свежие, и кто ему из детей горшок с обедом доставит...

Несколько раз, гремя саблей, слезал со скирды. Ходил в соседнюю рощу размяться, рога почесать. Но веселее от этой почесухи не становилось.

Наконец звякнул родственнику жены. Мол, так и так... Занят важным государственным делом, охраняю общегосударственное достояние от посягательств... Приходи, мол, поможешь время коротать, а заодно поупражняемся в логике да риторике. А то тут от этой однообразной службы в мозгах уже роговые отвердения ощущаю.

Родственник жены не заставил себя ждать. Стали они упражняться.

Упражняются и, между делом, сладкое сенцо покусывают, в рассеянной сосредоточенности пожёвывают.

Наконец, как водится, когда одна из найденных истин начала двоиться, заспорили.

Охранник-сабленосец позвал на подмогу ещё трех родственников, для упрочения своих аргументов. Но спор только пуще разгорелся.

Родственник жены позвонил своим сотоварищам – бывшим однокашникам по высшим учебным заведениям. Мол, приходите не медля кое над чем покумекать...

Противная сторона тоже, разумеется, не дремала. Тоже давай нащёлкивать клавиши телефона.

В результате вокруг скирды собралось много народу, склонного к философским раздумьям и спорам в поисках истин различного достоинства.

Упражняются это они, упражняются, да вдруг как учинят кагал. Почище гусей на болоте в отлётную пору. Козлу то и дело приходилось со скирды слезать да саблей погромыхивать. Чтобы, значит, не шибко-то...

А родня вся эта дальняя и близкая, сотоварищи-однокашники – всей огромной кодлой ещё и сенцо сладкое пожёвывают. И это при том, что их отпрыски им в чугунках питание из дома подтаскивают, да салфетки под бородами только успевают менять.

День они пожёвывают, другой, третий...

Весть о научных баталиях у скирды докатились до тех, кто в торжественной обстановке Козлу саблю на бок вешал.

Пришли они, видят: сена три охапки осталось...

Смотрят в лицо Козлу и глазам своим не верят: на лице его всё та же аристократическая бледность, а вот учености и солидности явно прибавилось.

Стали с него спрашивать. А он:

– Ничего не знаю. У скирды чуждых нам инородцев не было. Просто плохо и мало заготовили сена. И, потом, лежал я на скирде сверху. Вот со временем сено и умялось. Комплекция у меня, сами знаете... А что до родственников, сверстников и однокашников, то все они занимались

исключительно научными аспектами тех или иных проблем. А каких именно – не важно, да и вам, простите, не понять...

На это одна овечка в простоте душевной тихо изрекла:

– Пустили козла в огород...

Кто – слова эти расслышал, а кто – мимо ушей пропустил. Пропущенные таким образом слова забродили по свету, пока не стали поговоркой. Так и бродят до сих пор в первоизданном виде.

Пришлось сабленосца уволить.

Козёл почёл это за глубокое оскорбление. От благородного негодования он даже шваркнул о землю саблю.

Те, кто ему когда-то на бок холодное оружие вешали, были страшно смущены. Были готовы сквозь землю провалиться от стыда. Посмотрят на три охапки сена оставшиеся и думают: может, нам это кажется. Может, там целая скирда и надо только очки должные из футляров достать. Стали доставать. То с такими стеклами, то с такими. То для дали, то для близи. Но сена не прибавлялось...

Стыдоба – стыдобою, а пришлось снова думать, кого в охрану назначить.

Предложил кто-то Собаку.

– Да в ней же никакой серьёзности! Одна поджарость да беспородная вислоухость, – было мнение.

– И, потом, ей наше сено до фени. Она же его не трескает! – было другое мнение.

Сама же Собака, между тем, была не прочь послужить. Уж очень низким было социально-материальное положение её семьи. А в потребительской корзине – лишь пара костей, обглоданных ещё дедами. Так что она даже от сабли отказалась как от ненужного атрибута.

Но тут раздался голоса:

– Слышали, ей даже сабля не нужна!.. Она и пугать-то не собирается потенциальных посягателей на наше добро. А ведь холода нагрянут, сколько всяких бомжей на скирду станет зариться...

Как-то все забыли, что добра оставалось не густо.

– Зачем ей сабля, у неё же клыки?! – горячо продолжали другие голоса. – И лаяться она умеет. Она со всей родней перелаялась, так что её уже никто от службы не отвлечёт.

– Да, станет она лаяться из-за чужого сена!

– У Козла, вон, рога – не чета собачьим зубам, а он саблю запросил, помните?

– А, может, рискнем. Возьмём на службу с недельным испытательным сроком. Тем более, что тут и охранять уже почти нечего...

Словом, много было возражений против новой кандидатуры, но в конце концов пришли к консенсусу и проголосовали за Собаку.

Спросили её в последний раз: согласна ли она послужить общему делу.

– Согласна, – отвечает, – если кормить будете.

– Приступай к службе, – возвестило высокое собрание. А само про себя подумало: собаки народ выносливый, долго могут довольствоваться своей

собачьей потребительской корзиной. Так что пока суд да дело, глядишь, испытательный срок кончится. А там уволим её, и с тем в дураках оставим... Вон ведь какая вислухая. Видать оттого, что всю жизнь ей что-то да вешали. Так что ничего, посторожит собаченция. Тем более, что и сена почти не осталось...

Не по этой ли причине о сене все вскорости забыли? И про Собаку тоже...

Не успела стриженная девка косы заплести, как подвалила зима. Попрыскало белый свет холодной крупой. Морозы хрястнули. Да так, что всякий нос норовит в родном хвосте отогреться, хоть иной хвост не пушистее коровьего.

Вспомнили про сено. Вроде бы скирда целая стояла когда-то. Что-то там вроде оставалось... И охрана ведь была когда-то приставлена...

Ринулись туда.

Мать честная! А охранник-то на месте. Только отошал нещадно. А сенцо драгоценное тут же, под сторожем... Чуть снежком припорошено, но в целости – сохранности.

– Вот это служба! – искренне и горячо удивились те, кто когда-то Козлу саблю на бок вешали и Собаку благословили на гражданский подвиг.

– Здравствуй, милая!.. – налетели, исполненные неподдельных чувств. – Охранница ты наша распрекрасная! Верная ты наша сослуживица!

– А не зря мы её к сену-то пристегнули!

– Дай обнять тебя и расцеловать, нашу дорогую подругу безсабельницу!

– По такому случаю позволь нам клочок-другой нашего общего сенца! За твоё здоровье, за твоё великодушие! За беспримерный твой подвиг!..

– Кыш-ш! – рявкнула Собака. – Не приближаться, разорву!

– То есть, как это не приближаться?!

– А так!

– То есть как?! Это же мы тебя к сену-то пристегнули. Пришла пора отстегнуть...

– А ну, кыш-ш!.. Сначала меня накормите.

– Да полно тебе! Небось бегала по округе, куски сшибала...

– С вами посшибаешь. Сена-то кот наплакал. Отлучись на минуту-другую, живо кто-нибудь смолотил бы. А вы потом меня уволили бы без пенсионного содержания. И вообще, заявили бы, что сена вовсе не было. А так – вот оно. Так что сначала меня кормите!

«Э-ээ, да она, оказывается, не такая уж вислухая», – подумали про Собаку оголодавшие.

Козёл, некогда саблей бряцавший, решил применить научный приём из высшей риторики. Простонародное дурачье, по темноте своей, называет этот приём «заговариванием зубов».

– А что же мэ-э-э ты, голубушка служивая, по телефонам-то нам мэ-э-э не звонила? – спросил он.

– Не звонила?! – затряслась в справедливом гневе Собака. – Вот трубку всю изгрызла! А ведь не кость сахарная, пластмасса вонючая!..

– Тэ-эк. Покажи-ка, голубушка, как ты номер набирала?

– А ну, кыш-ш! Назад!..

Пришлось Козлу попятиться.

– В конце концов могла бы научиться сено есть. Всё-таки пища. – Козёл ещё раз применил приём из высшей риторики.

– Пробовала, да в глотку не лезет ваше сено!

– Уважаемый Козёл, о чём вы говорите?! Каково-то было бы нам, если бы она научилась... Благодарите Создателя, что у неё в голове одна извилина и та – с одним изгибом, как у кочерги, – тихо заметил кто-то.

– Вот именно! – поддержали негромкое замечание.

– Слушай, мешок пыльный, – скрипуче и надменно промолвил Козёл, – дай нам хоть по клочку ущипнуть. Мы слегка перекусим, мозговые наши способности придут в норму, и тогда мы займёмся твоими проблемами. Кстати, у меня есть идея обучить тебя питаться сосновой корой. Кору этой в наших краях навалом, а вот обучить тебя будет не просто. Но я берусь...

– А ну, кыш-ш! – ответила Собака. – Знаю я вас! Сено долопаете, а тогда чихали вы на мои проблемы!

Озадачился животный народ. Стоит вокруг скирды, с ноги на ногу переминается. От холода да пустоты в желудке зубами клацает. Как быть – никто не знает. Одно видят: Собака с голодухи тоже не в себе, бросается как ошалелая. И никакие приёмы из высшей риторики её не берут. Только и слышно: «Кыш!» Прямо зациклилась.

А зима завернула на морозы да на промозглый ветер. Не на шутку разрезвилась. До печенок достаёт.

Стали звери по одному околевать. Кто послабее – тот в первую очередь.

В конце концов осталась одна Собака. Зарылась она в сено и думает: «Нет, дудки! Не проведёте!.. Ишь, разлеглись, будто в обморок попадали. Думаете, мол, собака – так в голове с извилинами не густо... Нет, не объегорите!»

Так и лежит она до сих пор. Все там же. Жива одной мыслью: «Какой там помереть, не задремать бы... Задремлешь, саранчой налетят. И травинки не оставят. Всё сметут, все смолотят. А меня покормить – и не вспомнят...»

О ЧИНОВНИКЕ И РЫБКЕ

Жил-служил в одном важном учреждении некто Михал Михалыч. Он служил, как и большинство в учреждении, чиновником. Вообще-то это раньше были чиновники, во времена Салтыкова-Щедрина. Теперь их называют служащими, а слово «чиновник» их почему-то огорчает. Хотя разницы никакой, и на наш взгляд ничего обидного в этом слове нет, если оно отражает истину.

Надо сказать, что с годами Михал Михалыч стал служащим не последней руки.

Однажды нашего героя вызвали высоко на верх и сказали:

– Служили вы, не нарушая инструкций и распорядка, а также субординации. Служили, как положено служащему. Покорно благодарим за это, но теперь мы в ваших служебных услугах не нуждаемся.

– Почему так? – спросил Михал Михалыч.

– Потому что такая теперь жизнь пошла. Иная, чем прежде. Так что извольте получить в кассе пособие по вспомоществованию.

Михал Михалыч подумал-подумал, ничего не понял, но потянул со стола свой портфель с важными деловыми бумагами. Ему говорят:

– А портфельчик оставьте.

– Портфель мой, личный, – отвечает. Мне его сотрудники с прежнего места службы к круглой дате подарили. Вот и номограмма: «Дорогому незабвенному Михал Михалычу...»

– Да, – говорят ему, – видим, портфель ваш, личный. Тогда оставьте бумаги. Они казённые, очень важные, сами понимаете.

Михал Михалыч понимал. Но уж очень не хотелось ему расставаться с казёнными бумагами. И не потому, что они были такие важные. А потому, что когда Михал Михалыч нёс портфель, да ещё с этими бумагами, он чувствовал себя Человеком. Он давно знал, что чувствовать себя таким дано не каждому. И что жизнь у такого человека совсем не такая, как у какого-нибудь бомжа или ханурика от пивного ларька.

Странно, что когда Михал Михалыч остался без бумаг, но со своим портфелем, он сразу же почувствовал себя ну, не тем хануриком, а существом, которое спихнули с лестницы в низ, в темноту, образно говоря, подвала. Спихнули с лестницы не простой, а социальной. И, конечно, вышел он из высокого кабинета не очень-то размахивая портфелем, но очень огорченный. Не столько тем, что его спихнули с лестницы, сколько тем, что вышел он с пустым портфелем. Почему? Будь у него в портфеле важные бумаги, он бы прямоком пошел бы в соседнее высокое учреждение и, глядишь, был бы принят в чиновники средней руки с окладом, согласно штатного расписания. И жизнь бы продолжилась без дурацких катаклизмов.

Ноги привели его к окошечку расчётной кассы, а потом вывели на улицу.

Михал Михалыч шёл по тротуару, рассеянно размахивая пустым портфелем, раздумывая над тем, как и что он скажет жене. Новость эта могла

не просто её огорошить, а сбить с катушек. Поэтому Михал Михалыч не спешил.

Шёл он, шёл и вышел к близлежащему морю. Уже смеркалось. Море только чуть бормотало, на что-то жалуясь. Кой-какие вечерние звездочки вздрагивали на горизонте.

Михал Михалыч было по рассеянности присел на камешек, но тут же вскочил, вспомнив, что от камешков бывают радикулиты. Ему бы на портфель сесть. Но вспомнилась номограмма от незабвенных сослуживцев – можно было погнуть, поцарапать. А главное, он забыл, что в портфеле уже не было важных бумаг и, собственно, мять-то нечего. Словом, сел он на древесный обрубок, выкинутый прибором, хоть и пропитанный нефтью, но обветрившийся настолько, что чиновнику с любым задом можно было посидеть толику времени, ничем не рискуя.

Сел Михал Михалыч. Положил на колени портфель, на портфель – локти в нарукавниках заматеревшего служащего и посмотрел в беспробудную даль. Море показалося Михал Михалычу скучным, не интересным и даже лишним по причине своего неумолчного ворчания. Тем не менее Михал Михалыч как-то машинально открыл рот и:

– Рыбка, рыбка! Золотая ли, серебряная, выплыви-ка поближе для важного делового разговора.

Присмотрелся, прислушался Михал Михалыч, никто не выплывает, не откликается.

– Зря ты, рыбка, чванишься, – спокойно продолжал Михал Михалыч. – Я вот тоже – не какой-нибудь учрежденческий курьер или ответственный за чёрную кассу взаимопомощи. Я, милая, служащий промежуточного звена средней руки. С собственным чувством ответственности перед вышестоящими...

Не успел Михал Михалыч договорить это, как выплыла к нему рыбка. Ни златом, ни серебром не сверкала она: одежка на ней – цвета хаки. Была она чуть больше номограммы на портфеле Михал Михалыча. И тощая, как вилка в учрежденческой столовой.

– Ну что тебе, Михал Михалыч? – устало, слабым голосом простонала рыбка.

Михал Михалыч недоверчиво покосился на рыбку. Подумал было, что это ему подсунили такую недоброжелатели из учреждения, из которого его только что выпихнули. Но потом вспомнил, что так скоро у них не реагируют. Пока нужные бумаги заготовят, пока отошлют куда надо (если не перепутают), пока дождутся ответов, пока подготовят ответы на ответы...

Михал Михалыч успокоился и разговорился с рыбкой. Всё ей выложил, всё рассказал. А главная у него просьба была: чтобы в портфеле появились важные бумаги и инструкции. Сам он их выдумывать был не очень-то горазд. А вот подать их наверх или спустить в низ – тут он специалист. Не всякий чиновник сравняется с ним в этом деле.

Подумала, подумала чудная рыбка, зашепелявила, загундосила по причине тяжкого недомогания:

– Эх, Михал Михалыч. Отчего ж и не услужить тебе. Дело возможное. Но и у меня есть кой-какие условия.

– Какие же? Если в письменном виде, то номер входящий поставлю, дату, печати, где надо, и ход дам пренебреженно. Впрочем, печатей у меня уже нет. Поставишь сама в водно-морской канцелярии.

– Что ж, – старчески и болезненно вздохнула рыбка. – Будет в твоём портфеле лежать и такая бумага.

– Вот и договорились.

– Хоть бы спросил, в чем просьба.

– А что спрашивать, в бумаге будет указано.

– Не в бумаге дело, а в просьбе.

– Бумага важнее, ну да тебе рыбьими мозгами не понять это. Ладно, освети просьбу свою. Покуда устно.

– А просьба такая. Пока вы там в учреждениях с бумажками кувьркаетесь, моря совсем запоганились. Совсем дышать нечем стало даже планктону. Так вот, обещаю тебе пробить это дело с очисткой морей.

– Я для такого дела человек маленький. Но всё же попробую передать твою бумагу куда повыше. Оттуда спустят решение.

– Решение... – вздохнула рыбка. – Ладно. А пока я у тебя поживу, здесь мне совсем невмоготу.

«Вот бабья причуда», – недовольно подумал Михал Михалыч, а вслух сказал:

– То есть как у меня?

– Так. У тебя дома, в ванной.

– А жена что на это скажет?

– Жена... Ладно, ступай к ней. А я уплываю.

– Да постой ты. Вот заспешила... Как же я тебя до дому донесу?

– Очень просто. Там у тебя в портфеле полиэтиленовый мешочек есть. Тебе в него жена каждый раз пару яблок кладёт, когда ты утром на работу собираешься.

– Ну.

– Вот в нём. Я уж как-нибудь потерплю до твоего дома. Только воды морской поменьше прихватывай. Она давно уже не морская, а чёрт знает какая.

Запрыгнула рыбка в мешочек, понёс ее Михал Михалыч домой. В одной руке – мешочек, в другой – портфель. Вскоре он почувствовал, что портфель стал прежним: расплел от важных бумаг. Тут он ощутил в себе полное присутствие духа.

Принёс Михал Михалыч чудную рыбку домой. Рассказал всё как есть жене. Та сначала испугалась, потом обрадовалась, а потом снова испугалась. Теперь уж от одного вида чудной рыбки. Словом, испытала целую гамму чувств.

Выпустили они рыбку в ванну.

– А кошка её не сожрёт? – спросил Михал Михалыч.

– Она у нас от судака морду воротит, а тут, прости Господи, такая страхолюдина. Глянь только на неё.

Михал Михалыч взглянул, но как-то ничего особенного не увидел, так как мысли его были заняты завтрашним днем.

Утром, как ни в чём не бывало, пошёл он со своим верным портфелем на службу. Правда, не в то учреждение, где его так опустили, а в другое. Причём оно было ближе к дому и не менее солидным. И лишь переступил порог этого учреждения, как ему сказали:

– Михал Михалыч, срочно занесите главному управляющему документ с входящим № 0001708101936. Главный вас ждёт.

– Есть! – бодро, по-военному ответил Михал Михалыч, направляясь к скоростному лифту. Предстояло подняться на верх...

Вскоре Михал Михалыч совсем забыл про тот досадный случай, когда его спихнули с социальной лестницы. Служба как бы и не прерывалась. Снова плыл он по реке размеренной жизни: дом, служба, дом, мелкие хождения по мелким бытовым, но приятным пустякам. Михал Михалыч даже про чудесную рыбку забыл, хотя видел её каждый день. Вернее каждое утро и каждый вечер: когда брился перед службой и когда чистил зубы перед сном. Он смотрел на рыбку, слушал, как она на что-то жалуется, но при этом в упор не видел её и не слышал. Потому что всецело был предан службе и не мог себе позволить отвлечься на что-то постороннее.

Вполне возможно, что Михал Михалыч так и не вспомнил бы про рыбку, но тут жена стала ворчать. По той причине, что как мыться, так надо рыбку отсаживать в кастрюльку. Добро бы просто отсаживать. А то ведь после неё и ванну и кастрюльку с трудом удавалось отмыть. К тому же её и кормить надо. Хоть крошками со стола, но всё же. А ведь такая непростая рыбка могла бы питаться и святым духом. Словом жене это всё надоело и она стала изредка включать пилораму, подступая к мужу с распиловкой. Под действием женой распиловки Михал Михалыч в один прекрасный день всмотрелся в рыбку и вслушался в её сетования. А рыбка спрашивала:

– Как там обстоят дела с морями?

Когда до Михал Михалыча дошёл вопрос, он ответил:

– Пока никак. Исходящая бумага от тебя ещё не получена.

– Как так не получена? – удивилась рыбка. – Да это бумага была у тебя в портфеле, ещё когда мы встретились впервые.

– Разве, – не удивился Михал Михалыч.

– Да ты поройся в своем портфеле!

– Странно, странно, – сказал Михал Михалыч и полез в свой портфель.

– Нашёл?

– Кажется нашёл.

– Так в чем дело? – сердито спросила рыбка.

– В том, что вышестоящее руководство ещё не потребовало этой бумаги.

– Да как же оно потребует, если не знает о её существовании. Если ты её до сих пор не удосужился положить руководству на стол? – возмутилась рыбка.

– Верно, верно, – рассеянно сказал Михал Михалыч, внимательно просматривая бумагу: все ли печати, все ли подписи. К его огорчению

бумага была в порядке. – Но это, – сказал он, – будет большим дисциплинарным нарушением с моей стороны. Прямо и не знаю, что с твоей бумагой делать?

– Что делать... Дать бумаге ход! – сказала рыбка.

– Кого ты учишь? Был бы я мало-мальским начальником, а не служащим средней руки. Это там – наверху дают ход бумагам. А мы только предъявляем по требованию.

– Эх, Михал Михалыч... А ведь как обещал. Я-то твою просьбу уважила.

Нашему бы герою ударить бы себя в грудь кулаком. Забросать бы рыбку извинениями, но увы... Он искренне забыл, каким образом и почему у него в квартире поселилась рыбка. И хотя рыбка напомнила подробности их знакомства, он так и не мог вспомнить. Но тут жена Михал Михалыча. Она ни о чём не напоминала, а только включала пилораму в том смысле, что надо с этой рыбёшкой что-то делать. И Михал Михалыч наконец решился: выложил вышестоящему начальству рыбкину бумагу.

Вышестоящее долго вертело бумагу, не понимая, что к чему, так как этот документ от Михал Михалыча оно не востребовало. Пока оно вертело, Михал Михалыч робко умалывал вышестоящее дать документу ход. Вышестоящее снисходительно пошло на это то ли из уважения к рачительной службе Михал Михалыча, то ли из своего благодушного настроения на ту минуту.

Прошло время и Михал Михалыч получил спущенную сверху исходящую по рыбкиному делу. Из документа следовало, что даны необходимые указания в кратчайшие сроки по очистке рыбкиных морей.

Михал Михалыч отнёс эту исходящую (копию) домой и вручил ее рыбке. Сказав при этом, чтобы она оформила бумагу у себя как входящую, по всем правилам ведения дел.

Пробежала рыбка бумагу глазами, спрашивает:

– А когда закончатся кратчайшие сроки? Мне бы к себе пора. Да и стесняю я вас. Жена твоя вон как недовольна.

– Кратчайшие сроки истекают в кратчайшее время, – ответил Михал Михалыч, вздохнув. – А тебе и впрямь пора воссияти.

Михал Михалыч ждал, когда придёт бумага сверху о том, что кратчайшие сроки истекли. Но документ что-то запаздывал, а жена пилила и пилила.

Пришла наконец и эта бумага. К тому времени Михал Михалыч был почти перепилен. Поэтому один вид бумаги привёл его в административный восторг. Разумеется, жена отключила свою пилораму и поделила радость мужа. Лишь рыбка оставалась безучастной к семейной радости.

После ужина Михал Михалыч пересадил рыбку в полиэтиленовый мешок с водой и понёс к морю.

– А море действительно пригодно теперь для моего проживания? – в который раз спросила рыбка у Михал Михалыча.

– Да вот же удостоверяющие бумаги! – возмутился Михал Михалыч. – Как можно, имея их, ещё сомневаться?

– Ой, Михал Михалыч... Я, конечно, верю твоим бумагам, только не в них мне плавать, а в море.

– Без должной бумаги не то что плавать, а и дышать не будешь.

С этими словами Михал Михалыч выпустил аккуратно рыбку в море и вручил ей гарантийные входящие, чтобы она потом оформила их у себя в морской канцелярии должным образом.

Михал Михалыч помахал рыбке на прощание и пошёл домой с глубоким чувством удовлетворения.

Шло время. Жизнь Михал Михалыча катилась по бесповоротной колее ведомственных установок.

Но однажды его вызвали на верх очень высоко и сказали:

– Служили вы, не нарушая инструкций и распорядка, а также субординации. Служили как подобает служащему, но...

Словом, пошёл домой он с пустым портфелем, изрядно огорчённый. Всякий чиновник знает, как тяжело идти домой с легким портфелем. Потому что означает это всегда одно и то же: служащего столкнули с уже известной лестницы.

Не удивительно, что ноги привели Михал Михалыча к известному морю. Это указание ногам было дано подсознанием обиженного служащего. Там, в подсознании Михал Михалыча, хранилось кроме прочего и это: пустой полиэтиленовый мешочек под рыбу лежит у тебя в портфеле.

На дворе была осень.

Смеркалось, накрапывал дождь.

Михал Михалыч стоял под зонтом. Усталое тело требовало сидячего покоя. Он устроился на что-то мягкое, подстелив под ягодички полиэтиленовый мешочек. Мягким оказался поролон от автомобильного сидения, выброшенный прибоём.

Стал кликать Михал Михалыч рыбку. Сначала в умяляющем тоне и голосом незаслуженно обиженного.

Ветер над волнами крепчал. Крепчал и голос Михал Михалыча. Тон его выкриков становился всё требовательнее, пока не дошёл до приказного.

Голос садился, а рыбка все не появлялась.

Под утро понял Михал Михалыч, что никто к нему не выплывет. Была мысль самому прыгнуть в море. Но тут же эта мысль была отброшена по причине своей вздорности. Попробуй, разыщи рыбку в таком скопище воды. Только простынешь напрасно. Да и номограмма от раскисшего портфеля отлететь может. А в случае утонутя и сам портфель не понадобится.

Что-то шевельнулось в воде у его ног. Охрипший Михал Михалыч было встрепенулся. Преждевременно. Оказалось, что это была старая рваная галоша времён Очакова и покоренья Крыма. Михал Михалыч с досадой швырнул галошу подальше в морские волны. Невольно поднёс к носу мозолистые от бумаг пальцы и понюхал. Пальцы пахли мазутом. Михал Михалыч брезгливо поморщился.

Михал Михалыч был не столько раздосадован, сколько сердит на рыбкину неблагодарность. Все-таки поили, кормили, в тепле и чистоте держали.

Пребывая в такой меланхолии, он побрёл домой.

Жена была огорчена столь долгим отсутствием мужа. Своё огорчение она выложила в повышенном тоне тут же у порога. Разумеется, ничего эдакого о

муже у неё в голове не было. Что-нибудь такое: «Шерше ля фам»? Что вы? Ни-ни-ни! Причина была одна: столь долгое отсутствие само по себе, то есть нарушение распорядка жизни семейного служащего.

С порога продрогший Михал Михалыч был препровождён в тепер уже в не захламленную ванную.

Отогреваясь, приходя в себя, Михал Михалыч поведал жене о чёрной неблагодарности белого света. Имелась в виду неблагодарность вышестоящего руководства и рыбки. Больше всего сетований ронялись на голову рыбки. «Совсем заелась, негодная», – ворчал Михал Михалыч.

Огорчений жене прибавилось и изрядно. Тем не менее, она пришла в себя и посоветовала супругу не падать духом, не терять надежды. Она намекнула на то, что море никуда не денется, к нему, мол, можно придти ещё раз. А рыбка ведь могла и прилететь, и слегка оглохнуть от громких волн. Словом, мало ли?..

Михал Михалыч согласился с женой. Выдал ей ежедневно-премиальный поцелуй за совет и отправился отдыхать.

Когда он открыл глаза, то увидел на тумбочке у кровати официальную бумагу. Как потом объяснила жена, её доставил курьер с последнего места службы Михал Михалыча. Убедившись, что печати и подписи документа в порядке, он углубился в суть бумаги. Бумага гласила, что истечение кратчайших сроков, указанных в исходящей за № 002091964561978, переносятся на более поздние, но кратчайшие сроки».

Не сразу сообразил Михал Михалыч, что совершил непоправимую ошибку. Непростительно опрометчивую для него – для служащего средней руки. А ошибка была в том, что он не дождался этой исходящей. Впервые за свою чиновничью жизнь Михал Михалыч так оплошал. Думать же, что это ему подложили свинью вышестоящие после того, как спихнули с лестницы, было бы неверным. Он хорошо знал, что как только он потянул со стола свой портфель, все вышестоящие и нижестоящие учреждения напрочь забыли о том, что есть на свете такой Михал Михалыч.

Но нет худа без добра. Михал Михалыч понял, что не всё ещё потеряно. Что стоит только хотя бы издали показать рыбке эту бумагу, как жизнь его благополучно покатится по бесповоротной колее ведомственных инструкций и установок.

После ужина Михал Михалыч пошёл к морю. При нем был его портфель. Шёл он уверенно, потому что портфель был не пустой. В нём лежала казённая бумага. С печатями, где надо, и с подписями, где надо.

«Уж теперь-то ты ко мне выплывешь...» – подумал Михал Михалыч, рассеянно оглядывая захламлённый берег, подыскивая не очень-то грязный предмет, на который можно было бы присесть.

СВЯТАЯ ПРОСТОТА, или ПОИСКИ ИСТИНЫ

Блохи закусывали собакой.

– До чего надоело, сказала одна другой, – на завтрак – собака, на обед – собака, на ужин – тоже собака. Умереть можно от такого однообразия. Интересно, чем она сама-то питается?

– Кто? – спросила блоха, которая была настолько погружена в кормёжку, что не расслышала вопроса.

– Я спрашиваю: чем питается наша собака?

– А-а... Вчера она имела остатки супа. Сегодня – пару костей. Словом перепадает ей с хозяйского стола. Да она и сама кое-что находит.

– Вот-вот!.. Так я и знала. Живётся ей куда сытнее, чем нам. Я уж не говорю о разнообразии меню.

– Вы думаете?

– А вы присмотритесь!..

– Странно. Тогда чем объяснить то, что она съела мою первую любовь, друга далекой юности. Уж верно не от приличной жизни...

.

III. НАЕДИНЕ С СОБОЙ

Светлана Лисицына
ОНА НАС ЛЮБИЛА



Ирбит. Я с мамой

У нас во дворе ближе к вечеру собирались женщины – кто выгуливал собачек, кто – детишек, а кто просто выходил подышать свежим воздухом, пообщаться с соседями. Мама выходила с нашей собачкой, и обычно возле неё собирался круг спорящих людей. Спорили о политике и активнее и громче всех была мама. Она читала газеты, подшивала из них самые ей интересные и не только скандальные статьи и в спорах считала себя единственной грамотной и правой.

Однажды ко мне подошла женщина из соседнего подъезда и сказала:

– Света, ты не обижайся, но я буду избегать встреч с твоей мамой. Она доводит всех до истерики, а у меня большое сердце. Она сжимает кулаки, топает ногами и кричит: «Вы все готовы меня сожрать! Готовы сожрать!». С ней разговаривать невозможно.

Домой мама обычно приходила в хорошем настроении и ничто не напоминало о всём ещё гремящей в ушах канонаде кровопролитного сражения.

Но однажды она заявила мне:

– Я стала старая, страшная и больше выходить на улицу не буду.

Это была неправда. Она всегда выглядела приятной и даже симпатичной пожилой женщиной, но кто-то, видимо, обидел её. Она перестала выходить из дома и накрепко привязала меня к себе: я никуда не могла поехать, так как три раза в день должны была выгуливать собачку, по причине и без причины водить её в ветлечебницу, выполнять все уличные дела. Я писала картины и продавала их на улице недалеко от дома. И всё бы ничего, но тут я узнала, по чём фунт лиха.

На маму, с периодичностью примерно раз в месяц, стали нападать истерические приступы. Я заранее чувствовала приближение грозы: мама на кухне начинала ворчать, ругаться с кем-то воображаемом, бросать об пол крышки и ложки, а потом находила повод или без повода набрасывалась на меня с обвинениями, жестоко и несправедливо. Только доведя меня до слёз, она вдруг успокаивалась и становилась даже весёлой, как будто ничего не произошло. Я как-то сказала ей:

– Мама, да ты же энергетический вампир, ты отбираешь у меня скандалами все силы, – на что она, к моему большому удивлению, ответила:

– А как же иначе? У кого же ещё старики должны черпать энергию, как не у собственных детей?

Я была беззащитна, потому что всегда жалела её. Жалела не по воспитанию, а по своей природе, жалела просто от души и за её неудавшуюся жизнь. Ведь она была рождена актрисой, в детстве играла в драмкружках. Она была обидчива и честолюбива, ей требовалась большая аудитория, море цветов и аплодисментов. Она страдала без признания и почестей. Она постоянно играла в жизни и иногда доводила себя до иступления. Она умерла хотя и в очень преклонном возрасте, но не от стари, а от аневризмы своего измученного сердца.

2

Мама попала в больницу с болью в позвоночнике. При малейшем движении она кричала от боли на всю больницу, пугая и будоража других больных. Врачи ничего не могли с ней поделать и мечтали избавиться от такой пациентки. Ко мне подошёл лечащий врач хирург Александр Юрьевич Чавокин и сказал:

– Мы могли допустить, что у Вашей мамы декомпрессионный перелом позвоночника, но посмотрите на эти рентгеновские снимки: вот между позвонками тёмное пятнышко. Это опухоль. У Вашей мамы рак и, скорее всего, она проживёт не дольше месяца. Сейчас мы выпишем её домой и передадим медицинские документы в онкоцентр.

Странное дело, в моей душе ничего не дрогнуло, я осталась совершенно спокойной. Непонятно, откуда, но я точно знала, что у мамы рака нет.

Забрав её домой, я первым делом поехала в онкоцентр и стала умолять врачей не приезжать к нам домой и не сообщать маме диагноз. Я убеждала их, что у неё – декомпрессионный перелом позвоночника, что она очень мнительна и что её их сообщение убьёт. Врачи поиздевались надо мной: «нашлась лекарка!», но, хотя и с большим трудом, согласились какое-то время подождать, а потом всё равно сообщат, это их обязанность.

И я ещё не знала, что я буду делать дальше.

Я ехала в метро на Арбат, чтобы забрать у торгашей свои нереализованные картины (мне было теперь не до них). На переходе станции «Площадь революции» я подошла к книжному лотку. Прямо с края лотка на меня смотрели две тонкие книжки в бумажных переплётках из серии «Народная медицина». Я их купила и ещё в дороге, «не отходя от кассы», тут же прочитала. Вернувшись домой, я уже знала, что я буду делать дальше. Я связалась с автором одной из книжек и купила у него его «зелье». Методика лечения по второй книжке не требовала денежных затрат.

Я безбожно маме врала, что больница, где она лежала, открыла отделение народной медицины и, поскольку стационара у них нет, я буду лечить её дома под их руководством. Чтобы усыпить мамины сомнения и недоверие, я через знакомую наняла женщину, которая согласилась за деньги сыграть роль медсестры. Она приезжала через день, одевала белый халат и, оставив в прихожей свои медицинские причиндалы, намыливалась в ванную мыть руки. Я давала ей записку, где слева были мамины вопросы, а справа – мои ответы. Внимательно их прочитав, она выходила к больной, мерила ей давление, трогала больные места и, повернувшись ко мне, строго спрашивала, чётко ли я выполняю предписания врача и нет ли у меня вопросов. Когда она уходила, мама недоумевала:

– Первый раз в жизни встречаю такую грамотную медсестру...

Я делала маме процедуры и говорила:

– Ты даже не представляешь, какие у тебя красивые ноги и руки! А кожа от растираний стала такая упругая и гладкая, как у ребёнка.

И, выслушав мои комплименты, мама просветлённо улыбалась.

Я поставила маму на ноги за десять дней. Неожиданно из больницы, откуда маму выписали умирать на дому, позвонил хирург, и на вопрос «Как дела у мамы?» я ответила, что она ушла на рынок за продуктами. Он был потрясён и тут же сообщил, что сейчас он к нам приедет – не поверил.

И с тех пор наш ясноглазый доктор Александр Юрьевич Чавокин стал частым и желанным гостем, другом нашей семьи.

Перед его приездами мама очень волновалась и, приготовив ему свои самые любимые блюда, красиво накрывала стол.

3

В память о маме скажу, что у неё было много раскрытых и не раскрытых мною достоинств. Она великолепно, без единого узелка, шила одежду, со вкусом одевалась в изящном английском стиле, что подчёркивало её прекрасную фигуру. Она была в душе художник и так оформляла свои любимые блюда, что их красоту жалко было нарушать. Но ни одно из её призваний так и не нашло дорогу в большую жизнь, так и не насытило её честолюбивую натуру. И в результате в старости это вылилось в раздражительность, в обиду на судьбу и в ностальгическую зависть к порхающей по жизни молодости. В сердцах она постоянно повторяла: «я всех ненавижу, никого не люблю».

За десять дней до смерти она сказала: «Я умираю» – и села за работу.

Она успела связать мне и Лёше по два роскошных свитера и по джемперу.

Она нас любила.

А. Афанасовский

История Серебряного Полтинника



**ТРИ БРАТА ИЗ ДЕРЕВНИ КОЖЕМЯЧКИНО
(слева направо: Артём, Владимир, Александр)**



Я держу в руках старенький серебряный полтинник 1924-го года выпуска и чувствую ниточку, тянущуюся в прошлое моей семьи. Тянущуюся далеко в прошлое и подрагивающую от бурных событий прошедших времён.

Один полтинник, всего 50 копеек. На ободке написано, как мне всегда казалось, с грамматической ошибкой – "*9 грамм чистаго серебра*". На одной стороне монетки изображён рабочий. Он стоит, широко раздвинув ноги, в кожаном переднике, замахнувшись на наковальню большим молотом-кувадой. Кажется, что он сейчас ударит своим молотом по наковальне, и монетка зазвенит в руке. На обратной стороне – герб с надписью прописными буквами – РСФСР, имя молодой Советской России. Узкий мостик в далёкое уже прошлое моей семьи и России. Достался полтинник мне от моей матери Зои Александровны. Эти монетки были мне знакомы ещё с детства. Мне было тогда лет семь. Монеток, как мне говорили, было десять штук, но я играл только с шестью. Остальные четыре куда-то давно закатились. Несмотря на то, что они все были серебряные полтинники, они всё же отличались друг от друга, прежде всего годом выпуска и гербом. Самая старшая была 1923 года, а младшая – 1926-го. Принадлежали они тогда моему деду, Сорокину Александру Григорьевичу¹³. На мои расспросы, откуда они у него, попучал я всегда уклончивый ответ: "Не помню уже... ". Что тогда уже казалось мне странным.

«Григорий! Царь землю даёт!» – Марфа вбежала в дом раскрасневшись, со сбившимся синим в мелкий цветочек платком на голове. «Ну и какая сорока это на хвосте принесла?» – иронически произнёс Григорий Исаакович¹⁴, намекая на фамилию жены и поглаживая густую коротко подстриженную бороду. Он сидел за широким и чистым крестьянским столом, отдыхая после работы по укреплению погреба. «Прасковья, налей матери квасу! Гляди, запыхалась вся!» – сказал Григорий своей старшей дочери – «Небось полторы версты за один присест отмахала!», покачал головой он, (глядя на округлившийся уже в шестой раз животик жены). Марфа Семёновна была в услужении у барыни из соседней деревни Поварни, но, несмотря на беременность, ходила в барскую усадьбу каждый день. «Барыня очень любит, когда ей пятки чешут» – говаривала Марфа. «Барин сказали, что закон приняли и кто хочет, может жить отдельно на хуторе!» – сказала Марфа, делая большой глоток из поданной Прасковьей тяжёлой глиняной кружки. «Землемер из Невля будет у нас, в Кожемякина, уже на следующей неделе». «Добро» – ответил Григорий – «по весне тогда успеем в саду ещё деревьев пятьдесят посадить. Гирша сказал, что наши яблоки и дули хорошо в Невле идут.

Дулями называл Григорий груши. А с жившим в уездном городе Невель семейством Гершеля были у Сорокиных давние связи.

¹³ 1899-1978 гг

¹⁴ 1867-1948 гг

Невель был тогда город торговли. Из 17 тысяч невельских душ 70%¹⁵ составляло еврейское население. Торговали там всем. А если нечем было торговать, то делали деньги из воздуха. Так свидетельствовали современники.

«Артём! Дай поросёнку хряпы, раскричался что-то, голодный небось! Да смотри, чтоб Сашка руки к нему не совал, шустрый он больно!» Пятилетний Сашка, размахивая руками, подпрыгивая, побежал впереди брата в хлев.

В свои сорок лет был Григорий Исакович уже крепко стоящим на ногах крестьянином, жившим в доставшемся от отца лет пять назад построенном новом добротном бревенчатом доме, разделённом просторными сенями на две половины. Правую занимал он, с женой Марфой и маленькой Матрёной, переехав туда год назад после смерти отца. На левой половине жили подростки уже дети. На каждой половине у входа стояли сложенные из кирпича широкие русские печи, на которых всегда было тепло в самый лютый мороз.

В прилегающем к дому саду росло около двадцати яблонь, груш и несколько вишнёвых деревьев. Жена его Марфа Семёновна, в свои тридцать два года родила ему уже шестерых детей: Прасковью, Татьяну, Артёма, Фёклу, Александра и Матрёну, которая уже могла сидеть в подвешенной у печки люльке. Вторая дочка Татьяна, будучи ещё маленькой, имела несчастье упасть с телеги под колёса, которые переехали её правые руку и ногу. Фельдшер из Поварней скрепил сломанные ножку и ручку как-то, как умел. С тех пор Татьяна сильно хромала на правую ногу. Сломанная же в нескольких местах правая рука и кисть срослись в согнутом состоянии намертво и не могли уже больше разгибаться. Землемер из уездного города Невель приехал в деревню Кожемякина в конце ноября до первого снега. Нарезал крестьянам землицы и уехал дальше по деревням. Григорию Исаковичу Сорокину досталась десятина (примерно 110 соток) за огородом. И вовремя. Наступил 1905-й год, с его поражением в русско-японской войне, с Первой Русской Революцией, бунтами и убийством в Киеве революционером-недоучкой царского министра-реформатора Петра Столыпина, основателя подобия американских ферм – «стольпинских хуторов».

Царя от инспекционной поездки по югу России удержал „старец” Григорий Распутин, обладавший, как сейчас говорят, феноменальными экстрасенсорными способностями. Инспекцию вместо царя возглавил Столыпин. После смерти Столыпина и последовавшей за ней волны гонений на "бунтовщиков" реформы Столыпина были свёрнуты. Через пять лет, когда страсти немного поутихли, родила Марфа седьмого ребёнка – сына Владимира. Несмотря на обилие детей, жили Сорокины хотя и трудно, но без нужды. Приусадебный сад и огород давали достаточно продуктов, излишки которых довольно выгодно продавались в Невеле.

¹⁵ Невельский уезд был границей оседлости для евреев.

Подросткового Сашку отправили в 1910-м в Петербург, подучиться жизни. А чтобы не ел хлеб даром, работал он там на Васильевском острове помощником истопника. Однажды в ясный солнечный день услышал Сашка шум и крики. Выбежав на набережную вместе со всеми, увидел он кавалькаду едущих через мост сияющих карет и шлемов кирасир. "Царь! Царь!" – кричал народ.

Но нерешенные проблемы в стране и бездеятельность власти вели к ещё большим проблемам. И не только в России, а и в мире тоже. Нерешение проблем европейскими монархиями и отсутствие реформ в быстро развивающейся и изменяющейся структуре общества накаляло ситуацию. В 1914-м году началась Первая мировая война, а у Сорокиных рождается восьмой ребёнок – София. Война пожирала ресурсы страны. В 16-м стали забирать в армию молодёжь из деревень. Взяли и Артёма.

У Сорокиных рождается их последняя дочка – Мария.

В феврале 1917-го года отрёкся от престола теряющий контроль над страной царь.

А в октябре большевики совершили в Петрограде переворот, выпустили Первый Декрет, что всё принадлежит рабочим и крестьянам и одновременно выпустив из тюрем всех сидевших без разбору. Страна погрузилась в хаос и бандитизм. Наступили голодные и тревожные времена. Даже в Кожемякино чувствовался голод! В марте 18-го на Псковскую землю ступил немецкий сапог. Царская армия больше не существовала, и Артём вернулся домой. Прошлись немцы и по деревням, забирая свиней и кур в пользу немецкой армии, щедро раздавая расписки с обещаниями о компенсациях, которые можно получить в штабе. Тех, кто приходил в штабы с расписками, отсылали назад, «до лучших времён», презрительно посмеиваясь над крестьянской наивностью. Доходили немцы почти до Невеля. Но пробыли они на псковской земле недолго. Оставили ровные ряды новых немецких кладбищ, с похороненными в полной форме с островерхими касками солдат. И в ноябре 18-го быстро и организованно укатили назад, через Польшу в Германию, где уже светилась красная заря Веймарской республики.

1919-й год начался в Невеле с экспроприаций большевиками всего, что можно было забрать: конфискации и национализации самых крупных фабрик Невеля: щетинного и кожевенного заводов. После поражения армии Юденича под Петроградом и заключения мира с немцами судьба Советской Республики решалась на юге России. Белополяки же заняли почти всю Белоруссию. На западе фронт подходил к Витебску.

19-й год явился Сорокиным полный событий: голод, холод, дезертиры, бандиты и просто шайки всех цветов бродили вокруг. Старшей дочке Прасковье давно уже приглянулся свой же деревенский парень Иван Пеньков, и летом они повенчались. Гуляла вся деревня. «Исачёнков» и Пеньковых было в деревне больше половины.

По деревням носились продовольственные отряды, отбирая «излишки» и не только излишки у «несознательных» а заодно и у «сознательных» крестьян. «Революцию нужно защищать!» – сказал Ленин. – И кормить. Продразвёрстка была в действии. Стало голодно.

В конце лета 19-го года в Поварни приехал из города агитатор в кожанке в сопровождении трёх красноармейцев. На митинг около бывшего уже барского дома собрались крестьяне с окрестных деревень. Сам барин со всей семьёй ещё в 18-м сбежал в Польшу.

«Товарищи крестьяне! Мы, рабочие Питера, передаём вам пламенный революционный привет от вождя партии большевиков товарища Ленина! Долой помещиков и капиталистов! Защитим нашу революцию! Записывайтесь в нашу рабоче-крестьянскую Красную Армию! Да здравствует Советская Власть! Да здравствует мировая революция! каждый, кто запишется, получит по буханке хлеба и новое обмундирование!» – выкрикивал агитатор с наспех грубо сколоченной трибуны. Собранные на митинг крестьяне стояли молча и слушали. Некоторые перешёптывались друг с другом.

«Сашка, пойдём скорее, пока хлеба ещё дают! Жрать охота – подохнуть можно!» – дёрнул за рукав приятеля Ванька из деревни Точино. «Ох, батя осерчает» – сказал Александр – «Ну да ладно, Бог даст – пронесёт! Один раз помирать! Так хоть с сытым пузом!».

И записались Сашка с Ванькой в красноармейцы, в части Красной Армии товарища Тухачевского, получившего мандат Революционного Военного Совета на формирование новой Западной армии для Польского фронта.

Иван Пеньков записался в Красную Армию тоже, но был отправлен на Восточный фронт против сибирской Белой Армии адмирала Колчака.

Осенью 1919-го года прокатились по деревням утюгом продовольственные отряды.

«Ну, Григорий Исаевич, нужно помочь Советской Власти!» – сказал председатель сельсовета. «Грузите всё на подводы!» – приказал начальник продотряда сопровождавшим его красноармейцам. Те вытаскивали из закровов мешки с зерном, салом, солью и кое-какой одеждой. "Господи

помилуй! Побойтесь бога! Как мы жить-то будем? Дитя малое пожалейте!" – запричитала Марфа. "Не реви, бабка! Бога нет! Проживёте! – ответил весело конопатый в веснушках красноармеец, отгаскивая один мешок с зерном в сторону – Вон тебе мешок зерна оставляем! Как семье красноармейца! На посев хватит!" "Ах-ти, на посев, так-то ж весной будет! Мы ж зимой помрём все!" – продолжала причитать Марфа. «Не помрётё, земля прокормит!» – произнёс начальник продотряда, глядя из подлобья на Григория и придерживая правой рукой кобуру с наганом.

"Ну, будь здоров, Григорий Исакович! – сказал председатель сельсовета, когда нагруженные продуктами подводы тронулись с места. – Спасибо тебе от Советской Власти!

– Ноо! пошла старая!" – весело ударил кобылу по спине кнутом конопатый красноармеец. "За спасибо сыт не будешь!" – проворчал Григорий, когда обоз с мешками отъехал от хаты. Сорокиным ещё повезло, никого не тронули. Другим повезло меньше – многие лишились всего, и жизни в том числе. Продотряды с возражениями и сопротивлениями не церемонились: стреляли на месте и без разборок. Провозглашённый Лениным и Свердловым Красный террор набирал обороты.

К первым заморозкам терпение крестьян лопнуло. «Долой Советы! Бей комиссаров!» В 22-х из 24-х уездов вспыхнуло крестьянское восстание, которое в Невеле назвали «белопольским-кулацким мятежом» и попросили помощи. И помощь пришла в виде отрядов Красной Армии. Благо Западный фронт был недалеко. Побили многих. Оставшиеся в живых мятежники были загнаны до весны в леса.

А в это время на польском фронте происходили события прямо-таки невероятные. Немцы, опасаясь внутренних волнений и последователей самопровозглашённой Веймарской Республики, быстро отводили войска с территории Польши. Польская армия генерала-националиста Пилсудского, несмотря на то, что только начала формироваться, оккупировала почти всю Белоруссию и подошла к Витебску. Страны Антанты ввязываться в польскую авантюру с непредсказуемым исходом опасались. Ленин же, воодушевлённый идеями мировой революции, успехах на южном направлении и слабостью Польской армии, убедительно настаивает на наступлении на Польшу и взятии Варшавы, чтобы создать Польскую Советскую Республику.

Пополнившись новобранцами, после коротких, но ожесточённых боёв к лету 20-го года армии Ворошилова, Тухачевского и Будённого соединяются и совместными усилиями прорывают польский фронт, устремляясь ко Львову и Варшаве.

Наши удалыцы Сашка с Ванькой едва успевают нагонять со своими обозами стремительно наступающие передовые части Красной Армии. В августе их дивизия доходит до Вислы и останавливается перед широкой

рекой. Соседняя же дивизия поворачивает на север и устремляется к Варшаве. Городишко Радимин, от которого до Варшавы остаётся всего 23 километра, в начале сентября с ходу берётся Красной Армией.

А летом 20-го года у Григория появляется первый внук. У Прасковьи рождается сын, которого называют Василием.

«Лександра вернулся!» – влетела в хату с разбурявшимися щеками Матрёна. «Ахти, господи! Где он? Живой?» – заволновалась Марфа. «У Пеньковых, у Прасковьи сидит! Живой и здоровый!» – Матрёна сияющими глазами смотрела то на мать, то на отца – «Бойтся домой ийти!» «Где Артемий?» – спросил Григорий у Матрёны. «Там же, в Ивановой хате» – ответила она. «Скажи им, чтобы не заставляли отца ждать!» – сказала Марфа Матрёне. Матрёна метнулась в сени – Идут уже!

Александр, слегка наклонившись, чтобы не задеть головой дверной косяк, вошёл в комнату. Следом вошёл Артём. Григорий сидел на лавке у стола. Молча встал, подошёл к двери, снял со стены небольшой кнут и, размахнувшись, огрел им Александра по спине. Марфа вскрикнула – «Гриша!». «Ничего!» – сказал Григорий – «Умнее будет!». Григорий повесил кнут снова на стену, подошёл к столу и сел на своё обычное место во главе стола. «Ну, садись, рассказывай» – кивнул он Александру. «Ой, голодный небось» – захопотала у печи Марфа. Александр посмотрел на отца. «Ешь!» – разрешил тот. Марфа достала из печи чугунок, наложила полную миску картошки и поставила её перед Александром. Девчонки, сгорая от любопытства, постоянно то вбегали, то выбегали из дома. «Скажи девкам, чтобы скотину напоили. Володька может остаться. И дверь закрой!» – приказал жене Григорий. Поев, Александр начал рассказ.

– В Невле, на приёмном пункте, записали нас в отряды, загрузили в теплушки, закрыли и мы поехали. Поехали недолго, на запасной путь! И там встали. На три дня! Теплушки не открывали, ни есть ни пить не давали! Мужики уже бунтовать начали, пытались двери ломать, но не получилось. Через три дня вагоны открыли. Мы из вагонов повыскакивали, смотрим, а напротив стоят шеренги красноармейцев с пулемётами. Нас построили. Комиссар стал ходить вдоль рядов и показывать пальцем – этих, этого, этого и этого – налево! Он ходил и ходил, а мы боялись смотреть ему в глаза. «Остальных – построить!» – наконец приказал он. Этих, которых отвели налево, мы больше не видели. Уже потом мы узнали, что такое "налево", или же "огородная команда" – "в расход"! Оставшихся обрили, дали штаны, гимнастёрку и сапоги, и шапку. Такие островерхие шапки-ушанки с пришитыми большими синими суконными звёздами. «Будёновки!» – воскликнул младший Володька. Григорий строго глянул на Володьку и тот, ступившись, придвинулся к Артёму. «Да, будёновки» – сказал Александр – Говорят, что это шапки ещё со складов царской армии.

Потом погрузили нас опять в те же теплушки и отвезли в Опочку. Там нас месяца два готовили и формировали, учили стрелять и ползать. Меня с Ванькой записали в артиллерию, в обоз. Главная наша задача была управляться с лошадьми и вовремя доставлять полку амуницию. Ну, то есть всё, что нужно армии в походе!» – гордо пояснил Александр – Оружие, снаряды, патроны и всё остальное. А потом мы пошли на Псков. Пскова взяли, но наш артиллерийский полк остался на окраине стоять. Когда с Украины подошла армия Будённого, нас к нему сразу и присоединили. А дальше мы пошли на запад, на Польшу. «Сильные бои были?» – спросил Артём. «Стреляли много» – ответил Александр – Но продвигались мы быстро. Иногда едва поспевали за передовыми частями. Поляки сопротивлялись, но не очень. «А люди как там?» – спросила Марфа. «Люди как люди. Разные были. Но паненки у них дюже пригожи!» – сказал, улыбаясь, Александр. Его глаза свернули. Григорий нахмурился. – «Нее, они сами к нам липли, пока мы по Польше шли» «Ну и куда вы дошли?» – поинтересовался Артём.

– Дошли мы аж до самой Вислы. И остановились. Делать было нечего и все пили. Пили почти неделю. Все пьяные были. – сокрушённо покачал головой Александр.

«Брат! Быстро и немедленно брать Варшаву! – горячился Ленин на очередном заседании Реввоенсовета.

– Владимир Ильич, – отвечал Троцкий – сил не хватает! Фронт на сотни километров растянулся. И моральное состояние армии оставляет желать лучшего. Мы же 20-го августа решили, что южный фронт является сейчас наиважнейшим! И направили даже на его поддержку 6-ю кавдивизию товарища Будённого!

– Ну и где эта дивизия? Что говорит представитель Реввоенсовета Юго-Западного фронта товарищ Сталин?

– Товарищ Сталин говорит, что, взяв Львов, мы сможем взять и Варшаву. Кстате 6-дивизия состоит почти сплошь из крестьян-новобранцев с мелкобуржуазным мышлением. И поэтому с её отправкой на южный фронт возникли проблемы.

– Товарищ Троцкий! Поймите! Политический и военный центр белополяков концентрируется сейчас именно в Варшаве. Если генерал Пилсудский получит поддержку Антанты, то только через Варшаву! Сейчас мы ещё имеем возможность нанести упредительный удар по этому гнезду шпионов и предателей, пока белополяки ещё в растерянности, взяв Варшаву! Второго шанса у нас не будет!

Из «Краткого курса истории ВКП(б)», созданного частью лично Сталиным, частью под его редакцией:

«Что касается войск Южного фронта, стоявших у ворот Львова и теснивших там поляков, то этим войскам „предреввоенсовета“ Троцкий воспретил взять Львов, и приказал им перебросить конную армию (...) далеко

на северо-восток, будто бы на помощь Западному фронту, хотя не трудно было понять, что взятие Львова было бы единственно возможной и лучшей помощью Западному фронту. (...) Таким образом, вредительским приказом Троцкого было навязано войскам нашего южного фронта непонятное и ни на чем не основанное отступление – на радость польским панам. Это была прямая помощь, но не нашему западному фронту, а польским панам и Антанте»

«А потом нам кааак дали! Бежали – только пятки сверкали! Некоторые бежали в одних подштанниках! Как мы бежали ...! – протянул, мечтательно покачивая головой, Александр. – За две недели до Пскова добежали!

– Вся Красная Армия? – спросил, ахнув, младший Володька.

– Ну, не знаю, как вся, но наша дивизия бежала быстро.

– А командиры? – спросил опять Володька.

– Командиров я не видел – ответил Александр. – Только у Пскова новые части красных смогли остановить поляков. Бежали ... 66 тысяч красноармейцев было при отступлении взято в плен ... И бежали ...

Из рассекреченного «Дела 1-й Конной»

СЕКРЕТАРЬ Военкома 6-й Кавдивизии Хаган, Рапорт

«...я, Секретарь Военкомдива и Военкомдив 6 тов. ШЕПЕЛЕВ остались в Полонном с тем, чтобы выгнать из местечка отставших красноармейцев и прекратить грабежи над мирным населением. В версте от Полонного расположено новое местечко, центр которого населен исключительно евреями, когда мы подъехали туда, то из каждого дома почти доносились крики.

Зайдя в один из домов, перед которыми стояли две оседланные лошади, мы нашли на полу старика, лет 60-ти, старуху и сына, страшно изуродованными ударами палашей, а напротив на кровати лежал израненный мужчина. Тут же в доме, в следующей комнате какой-то красноармеец в сопровождении женщины, назвавшей себя сестрою милосердия 4-го эскадрона 33-го полка, продолжали нагружать в сумки награбленное имущество. При виде нас они выскочили из дома. Мы кричали выскочившим остановиться, но, когда это не было исполнено, военкомдив тов. ШЕПЕЛЕВ тремя выстрелами из нагана убил бандита на месте преступления. Сестру же арестовали и вместе с лошадьёю расстрелянного повели за собой.

Проезжая дальше по местечку, нам то и дело попадались по улице отдельные лица, продолжавшие грабить. Тов. ШЕПЕЛЕВ убедительно просил их разехаться по частям, у многих на руках были бутылки с самогонкой, под угрозой расстрела на месте таковая у них отбиралась и тут же выливалась...

В это время подъезжает тов. КНИГА, вместе с арестованной сестрой, которая успела передать по полку, что тов. ШЕПЕЛЕВ убил бойца. Тут только поднялся шум всего полка, с криком во что бы то ни стало расстрелять военкома, который убивает честных бойцов... Не успели мы отъехать и 100

сажен, как из 31 полка отделилось человек 100 красноармейцев, догоняет нас, подскакивает к военкому и срывает у него оружие... Раздался выстрел из нагана, который ранил тов. ШЕПЕЛЕВА в левое плечо навывлет... Нас снова окружает толпа красноармейцев, отталкивает меня и КНИГУ от тов. ШЕПЕЛЕВА, и вторым выстрелом смертельно ранили его в голову. Труп убитого тов. ШЕПЕЛЕВА долго осаждала толпа красноармейцев, и при последнем вздохе его кричала «гад, еще дышит, дорубай его шашками».

В ПРЕЗИДИУМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ КОМИССИИ. РАПОРТ

«...ВОРОШИЛОВ, самодур по натуре, решил, что дальнейшее усиление Особотдела может иметь скверные последствия персонально для многих высоких «барахольщиков...»

Началась демобилизация. Создалось особое триумфальное, демобилизационно-праздничное настроение, вылившееся в повальном пьянстве и полном развале работы Штаба и учреждений, дошедшего до того, что когда МАХНО был в 20 верстах от Екатеринослава, и только случайно не завернул пограбить, в городе не только не было никакой фактической силы, но не было принято положительно никаких мер предохранения...»

Начособотдела (Зведерис).

Судьба особиста Зведериса, который в своем рапорте попытался открыть глаза на легендарного полководца, показательна: рапорт приобшили к делу, а самого Зведериса устранили. Действительно, не героя же Гражданской Ворошилова устранять?!

«Как тебя отпустили? – спросил Александра Григорий.

– Демобилизация, в связи с формированием новых частей. Вот, и бумага есть – ответил Александр, протягивая отцу демобилизационное удостоверение.»

Григорий, взяв бумагу, посмотрел её, и вернул Александру. «Спрячь и береги её – сказал он. – И ещё, помалкивай о своих похождениях, не то нас всех под монастырь подведёшь! Где Ванька? – Домой поехал, в Точино. – И Ваньке скажи, чтобы язык за зубами попридержал, если жить хочет!

– Батя! Не маленькие!

– Маленькие не маленькие – время лихое! ...»

До конца Гражданской войны оставалось ещё больше года.

Беспристрастный хронограф

Как следует из рассказа, жили были в бывшей Полоцкой, потом Витебской... губернии недалеко от Невеля три брата...

Артем Григорьевич погиб в 1935 в ГУЛАГе (сосед по коммуналке донес его фразу: *Голосую, а не знаем, за кого.*)

Владимир Григорьевич сидел в лагере в 1932-1934, за то, что по просьбе отца Григория спросил в сельсовете «за что раскулачили, батраков не было?». Его спасла гармошка, он был лучший гармонист в округе, а жена начальника лагеря очень любила музыку и помогла выйти из лагеря.

Третий, Александр Григорьевич, дошел до Варшавы, из Варшавы добежал до Невеля (полторы тысячи верст), жил в деревне, хозяйство раскулачили, он, ни о чем не спрашивая, бежал в Ленинград, работал на фабрике, пережил блокаду, выжил... Да и народ в целом как-то выживал, не все спрашивали, поэтому не всех и расстреливали. А выживали так же, как и во все времена:

Исаак родил Иакова. Иаков родил Сару... и так далее...

Сегодня не расстреливают – но и не рожают...

Невель принадлежит ныне Псковской области, население ее сократилось в пять раз. Деревень этих, которые изображены на карте, нет так же, как нет уже и трех братьев, переживших Революцию, Гражданскую войну, Коллективизацию. Уцелевший потомок оставил о них бесхитрое свидетельство, весьма скупое... Страх сидит глубоко в генах...

Бежал из Варшавы Александр Григорьевич с товарищем, около Невеля они разошлись. Через шестьдесят лет поехал он с сыном лес покупать, чтоб сарай починить, в какой-то деревушке пришлось заночевать, хозяйка посадила ужинать, насыпала горячей картошки – и тут свешивается с печи худлатая голова:

Ляксандра! Никак это ты!?

НЕВЕЛЬ. ... В XVIII в. жители города сильно пострадали от введения унии. После окончательного присоединения к России (1772) Н. сделан уездным городом Полоцкой провинции Псковской губернии, в 1777 г. – уездным городом Полоцкой, в 1796 – Белорусской, в 1802 г. – Витебской губернии. Следы замка и вала сохранились до сих пор. В 1780 г. в Н. было 835 купцов и мещан, 123 еврея, православный монастырь, униатская и католическая церкви. К 1 января 1896 г. жителей 9062 (4485 мужчин и 4577 женщин): православных 3467, раскольников 185, католиков 596, протестантов 142, евреев 4587, магометан 15, прочих исповеданий 70; дворян 140, духовного сословия 85, почетных граждан и купцов 248, мещан 6875, военного сословия 1093, крестьян 525, прочих сословий 96. Церквей православных 3, костел, синагога и 3 молитвенных еврейских школы. Уездное 2-классное училище (учащихся 85), приходское училище с женской сменой (109 мальчиков и 39 девочек), еврейское училище с женской сменой (57 мальчиков и 68 девочек). Библиотека при общественном собрании, книжный магазин, типография, фотография. Фабрик и заводов 20, с 43 рабочими и производством на 14620 руб.: кирпичных и гончарных заводов 11, 1 мыловаренный завод, 4 суконных, 2 мукомольни, 1 завод искусственных минеральных вод, Исинильно-набойная мастерская. Всех торговых документов выдано 444, в том числе на мелочной торгсвидетельств 324. Городских доходов (1895) 12986 руб., расходов 12675 руб., в том числе на городское управление 2350 руб., на народное образование 485 руб., на благотворительность 250 руб., на врачебную часть 764 руб.

VI. ЖИЗНЬ КАК СВЕТ И ТЬМА

В. И. Чернышев

КРИТИКА как ИСКУССТВО

ГУНКА

(рассказ)



В. Чернышев. КРИТИКА КАК ИСКУССТВО

2 декабря 19. Читаю выдающийся роман современного английского писателя, страдаю, восхищаюсь, негодую, разочаровываюсь, изредка отваживаюсь на споры. Автор показывает почти бесконечную галерею самых разнообразных мужчин и женщин, преимущественно молодых, принадлежащих чуть ли не ко всем народам мира и живущих в Индии и сопредельных странах – но упоминаются или участвуют в событиях при этом и Россия, и Англия, и Новая Зеландия, и Австралия, и даже страны Ближнего Востока, Европы и Африки...

Что меня поразило, помимо высоких литературных достоинств романа? Поразило то, что автор показывает и доказывает изменчивость, неопределенность человеческого характера и души, показывает на примерах, что человек может не только пасть в бездну греха, преступления, растрения чуть ли не с небесных высот, но может и подняться с самого дна жизни и падения, низкий и жестокий может раскататься и вступить на лестницу, ведущую наверх. Я всегда любил слушать романс «Жили 12 разбойников» в исполнении Шаляпина, но я никогда не верил в то, что «вдруг у разбойника лютость совести Господь пробудил» – что это когда-нибудь и в самом деле случилось. Точно так же я, разумеется, читал и роман Достоевского «Преступление и наказание» и не сомневался в том, что Раскольников покаяться в своем преступлении – но дело в том, что он и не был преступником, он не был жестоким человеком и не был убийцей. Он не способен был убить во имя власти, богатства, честолюбия, во имя наполеоновских амбиций, он не был способен убить и во имя «идеи» – к чему призывали и герои другого романа Достоевского – «Бесы» – это всё были условные, воображаемые истории, своего рода сны наяву или даже математические условности. Некоторые теоремы доказываются «методом от противного»: мы предполагаем, что верно нечто неверное, *невероятное*, например, что два треугольника с соответственно равными сторонами не равны, накладываем один на другой и получаем очевидно абсурдное следствие, так и в случае с Раскольниковым, допустив, что он совершил убийство, мы следим за следствиями, которые бы он при этом претерпевал, и видим, что в этом случае он претерпевал бы невероятные мучения, не позволяющие далее жить – в силу исходного устройства его души, характера, его личности, исключающих возможность убийства. Другой человек (например, известный нам Усатый, мог истреблять людей миллионами и при этом не испытывать никаких мучений ни в то время ни позже. Но мог ли вдруг чудесным образом покаяться в убийствах, испытать пробуждение совести Кудеяр-разбойник, атаман разбойников? Если наши поступки, наши побуждения и переживания не предполагают *органически сообразных им следствий*, то, вероятно, что будущая жизнь наша не предсказуема, и совершая зло, мы пожнем добро или наоборот – но если все же **следствия** поступков и событий так же детерминированы вызывающими их причинами, как и «при нагревании газы расширяются», то как долька лимона вызывает ощущение кислого, так

Кудеяру-разбойнику нет причины почувствовать «сладость раскаяния», если только не произойдет нечто непредвиденное, экстра-ординарное, в череде житейских событий, не требующее такого воздействия Господа на человека, о каком рассказывал апостол Павел и что случилось с ним по дороге в Дамаск, где Христос предстал перед ним в блеске молнии. (И точно то же самое произошло однажды с рядовым, хотя и жестоким конвоиром, который на узловой станции перегружал заключенных из состава в состав и ударил прикладом замешкавшуюся пожилую эзчку: *Ну, старая бл...дь*, – заорал он на нее, – *пошевеливайся!* – и услышал в ответ: *«Сыночек, а это ведь я, твоя мать!»*)

Но тем не менее, читая роман английского писателя, героями которого являются бандиты, наркоманы, сутенеры и проститутки, мошенники и воры, но одновременно и полицейские, следователи, судьи, тюремщики, политики, богатеи, чиновники и журналисты, нищие и обитатели трущоб, я верю писателю, который показывает, что и у преступников часто еще почти неиспорченные почти детские души, способные к преображению, в то время как законопослушные преуспевающие граждане, правители и бизнесмены, а в особенности те, кто призван охранять закон и устанавливать порядок, настолько пропитаны адскими испареньями, настолько погрязли во зле, что уже не способны ни к чему человеческому. Корысть, мздоимство, страх и злоба сопутствуют им во всей их жизни, от необеспеченной (часто) юности до обрызгшей старости. И на вопрос, кто управляет этим миром, всем худшим в нем, автор отвечает: миллион правителей-негодяев, десять миллионов исполнителей-трусов и сто миллионов подвластных им тупиц и глупцов, мелких чиновников и журналистов.

Нет, не пробуждает совесть Господь ни в Кудеяре-разбойнике, ни в сыщике Видоке, ни в Торквемаде ни в Кальвине, ни в пламенных революционерах, – Марате, Робеспьере, Ленине и Троцком, ни в тиранах, – Грозном, Петре и Сталине; не пробуждает и не делает «совершеннолетним» и ум блаженных но нищих духом, вроде той старушки, о которой Ян Гус сказал: *Святая простота!* Но святая ли? А не дьявольская?

Погромы и избиения невинных как лесные пожары прокатываются по всем странам мира, и по Индии, стране чудес – избиения сикхов, избиения тамилы, и по Пакистану – резня в Бенгалии, и по Турции – армянская резня, и по Франции – Варфоломеевская ночь, и по Испании – сожжения ведьм, и по Германии – преследования евреев (Холокост). Уничтожение целых классов на совести и древних кхмеров в Камбодже, и русских революционеров в России, и якобинцев во Франции, и маоистов в Китае... впрочем, рука уже устала писать...

Пробуждает ли Господь коллективную душу народа, ответственного за убийства? НЕТ. И если коллективная душа не раскаивается в своих злодействах, то и действительный Раскольник не мучается и не возрождается к свету, а только вымышленный литературный герой, *условное допущение в математической теореме*.

2. Муза критики

Разочаровался я в собственном художественном таланте – хотя и предчувствовал это разочарование, даже точно знал, что **музы** в конце концов сойдутся в своих представлениях обо мне – человеку суждено либо *почти безотчетное художественное творчество*, либо *размышление о творчестве*, его философский анализ. Не это ли имел в виду Пушкин, когда написал Вяземскому, что его стихи слишком глубокомысленны, а поэзия должна быть глуповата? Впрочем, даже неважно, это ли он имел в виду, достаточно того, что эти Пушкинские слова поддаются именно такой изящной интерпретации, и не случайно поэты становятся критиками, исследователями и историками искусства, когда музы их покидают, и священный огонь, зажженный ими и горевший в их душах, перестает поlyphать, и начинает *светить* ровным *лунным светом* – *отраженным светом*. **Селена – муза критики**.

Но все же я сначала спросил у сведущего народа, не знают ли они, кто *муза критики*, и в меня полетели камешки. Если народу поверить, то можно подумать, что критика, то есть размышление над произведениями искусства – шарлатанство, но это, разумеется, не так, в широком смысле этого слова критиком являлся Аристотель, Менипп, Платон (ну, правда, этот являлся дрянным критиком), да и всякий философ в той или иной степени – критик.

Всматриваясь в себя самого как в автора, я хорошо увидел, что пока у меня были художественные задатки, пока еще я мог что-то лепить свое, я не в состоянии был подняться над творчеством как целостной областью духа, и лишь когда умения ваятеля исчезли бесследно, я стал видеть литературные и музыкальные произведения так же, как мы видим здание, находясь вне его.

Пока я писал стихи, я был глуповат, перестав их писать, я наконец поумнел. Не так ли мы глупеем, когда нами овладевает страсть к единственной, и в то время, как всем разумным нашим друзьям видны недостатки нашей избранницы, мы слепнем и не видим ни одного. Либо любовь и священная слепота, либо ясное и зоркое зрение, но равнодушие и спокойная дружба.

Вот почему поэт становится литературным критиком – он устал стоять на коленях перед Музой, и вышел из ее храма, освободился от ее магических чар – освободился и от дара священного бормотания.

Пушкин стал издавать журнал, написал Историю пугачевского бунта, Путешествие в Эрзрум, наконец взял и застрелился рукою Дантеса; Вяземский начал писать критические статьи; критиком стал Ходасевич; перешла к прозе Марина Цветаева, редактором журнала стал Твардовский....

Но все же, нельзя ли поумнеть, оставаясь поэтом? И в противоречие сказанному (чтобы его подтвердить, ибо некоторые учения настолько многогривы, что мы не только не в состоянии понять, верны ли они, но и сообразны ли здравому смыслу – и именно поэтому они претендуют на истину в последней инстанции) – я замечу, что иные поэты достигают «акме», переходя в область *интеллектуальной поэзии*: таковы Бальмонт и Максимилиан Волошин ... Кажется, поумнел и я, становясь семь лет назад философом и поэтом.

3.

Но, наконец, я стал в достаточной степени **критиком**, чтобы поверить, что могу поучать других... или, по крайней мере, поучать наивных читателей, еще достаточно стихийных, чтобы переживать искусство, как и любовь, чувственно или сверхчувственно, но не интеллектуально. (Впрочем, моя жена уверяет, что в норме у человека развита только одна половина мозга – и поэтому он руководствуется либо логикой либо эмоциями, либо внушениями со стороны; или ни одной – и только тогда он *блаженный*, согласно христианской классификации, то есть вполне зауряден, «таков же, как все» – и только некоторые отвечают замыслу Демидурга, и одновременно и мыслят и чувствуют, посему с опаской прислушиваются к чужим мнениям, в том числе и к тем, которые якобы внушены богом толпы или последними открытиями науки, – посему я постоянно спорил со всеми, несущими прямолинейную чушь. Одни, как большевики, уверяли, что бога нет, и с помощью расстрелов и тюрем успешно доказывали сие в течение 70-ти лет; другие, как христиане, уверяли, что их (и наш) Бог распят, и с помощью аутодафе и пыток (которые, оказывается, по их вере, были самым успешным методом обретения и доказательства истины) навязывали нам свою веру даже в течение девятнадцати столетий; третьи пошли «третьим путем», они тоже не сомневаются, что бог есть, верят в него, поклоняются ему, призывают и нас ему поклоняться, и наконец и меня поставили в тупик, и я уже не знаю, как возражать их вере.

Вера же их состоит в следующем. Они называют себя христианами, но священных текстов они не читают, зачем приходил Христос и зачем придет снова, и спас ли он уже нас или спасет чуть позже, не знают тоже. Они думают и утверждают, что Христос пришел, чтобы сообщить людям, в чем состоят правила добра и добронравия (будто народы, жившие уже несколько тысячелетий в развитых государствах, в рамках культуры и цивилизации, этого не знали, в то время как в Риме, например, римского гражданина нельзя было подвергать телесным наказаниям, и об этом рассказывает апостол Павел в своих посланиях; и в то время как после победы христианства над язычеством все народы средиземноморья буквально на тысячелетие одичали, пропали библиотеки, пропали лица и школы, пропали даже физические упражнения и олимпиады, культивирующие телесную красоту... в то время как и у иудеев были уже правила добра, которые были уже изложены в Библии (Десять Заповедей Моисеевых), среди которых, правда были заповеди не убивать и не похищать чужое имущество, но не было заповеди любить труд и *трудиться*, не было заповеди любить родину и защищать ее, не было заповеди ЛЮБИТЬ женщину и детей ее... Но они думают, что *Христос пришел, чтобы проповедовать людям любовь*, что **христианство – это религия любви** – любви людей друг к другу и к Богу. И они поклоняются такому проповеднику, который, по их мнению, Сам был сыном Божиим, строят храмы в его честь и ходят в эти храмы молиться. Правда, они не помнят, зачем ранее сторонники их Бога устраивали крестовые походы и разрушили Александрийскую библиотеку, а книги сожгли.

Одновременно многие другие или даже некоторые современные христиане говорят, что коммунистическое учение проповедует, что *человек человеку друг, товарищ и брат*, и народы тоже братья, что все люди должны иметь все общее и всего поровну, и мы сообща должны построить справедливое общество, в котором все будут счастливы.

И кажется очевидным, что и это учение верно и добродетельно, и нет различий между коммунистами и христианами, и они не пытаются объяснять, почему под влиянием этого учения коммунисты в Китае во время Культурной революции перебили сто миллионов человек, а в Камбодже его сторонники перебили половину своего маленького древнего народа, а в России во время Гражданской войны уничтожили часть образованного общества, других изгнали, потом был голод и уничтожение священников, потом коллективизация, раскулачивание, Большой Террор (и до сих пор спорят, пятьдесят миллионов тогда перебили или только половину пятидесяти), потом Всемирная война, потом война за мир во всем мире, и вот я читаю книгу о тех и других, и там в частности рассказано, что один афганец ненавидит всех русских за то, что во время советской войны в Афганистане они уничтожили его деревню, мужчин и женщин, стариков и детей, всех до единого – и я знаю, что это правда, так было, потому что и в 1920 году во время восстания на Тамбовщине газом травили крестьян как мышей.

Буржуазная революция во Франции в 1789 году провозгласила в качестве своих основных принципов Свободу, Равенство и Братство (что тоже кажется хорошим и не противоречит ни Евангелию ни Моральному Кодексу строителей коммунизма), и воздвигла в центре Парижа гильотину, которой отрубали головы тех, кто был против.

А Константин Леонтьев в 19-м столетии создал **Теорию цветущей сложности**, которая объясняла, что люди не равны и равными быть не могут, и что восемь веков от десятого до восемнадцатого в Европе были наилучшей исторической эпохой, а теперь наступило растление (не буду объяснять азы его теории, как и азы марксизма и учения о диктатуре пролетариата и азы христианства, читатель – которому угораздило в данный момент читать мою статью, – надо не полениться и прочитать **Новый Завет, Капитал**, один том из сочинений **Леонтьева**, его письма к **Розанову**, его рассуждения о **Страхе Божиим**, лежащем в основании **любви к ближнему**).

Надо также прочитать книгу *Шафаревича «Социализм как явление мировой истории»*, в которой показано, что сущностью **социализма**, то есть **регламентированного общества**, является **воля к смерти**.

Но у меня возникло такое странное представление о современном словно бы образованном человеке, словно он полный невежда и почти ничего не читал кроме романов Дюма, и его представления о христианстве и социализме туманны и обрывочны и дают ему понятие о действительности такое же, как если бы он пытался читать книги, зная из тридцати знаков азбуки только десять. Я не говорю, что надо прочитать Монбланы книг, но хотя бы несколько указанных мною книг надо прочитать, и только после этого между мною и читателем возможен диалог.

4. Искусство суждения

Культура и Искусство, говорят историки, на первых порах **синкретичны**, то есть соединяют в некую целостность разные их виды, история неотделима от мифологии, медицина неотделима от магии и шаманства, география неотделима от сказок и легенд, так же синкретична и поэзия, в которой содержится почти все что угодно, и судьбы героев и история народов, и философия, как, например, Илиада и Одиссея Гомера.

Развиваясь, Литература разделилась на Поэзию, Художественную литературу, Историю, Философию, Литературу научную. С возникновением философии возникло противоборство и исследование противоборствующих мнений, их анализ и оценка, так появилась **Критика**, являющаяся необходимой составной частью всякой философской системы взглядов (от греч. *krítike* – **искусство суждения, оценка**).

Естественным образом такая критика, соединяющая в себе и искусство суждения, и оценку того явления, исследованием которого занимается данное развернутое "суждение": статья, роман, поэма, философская система – оказалась в центре "суждения", стала его **методом**, то есть осью статьи, романа, поэмы, философской системы. Условно говоря, критика вынудила писателя создавать вместо художественного произведения того или иного жанра "философский роман", хотя бы он был по объему равен статье или рассказу, ибо по методу его представления он должен был быть всемирным, давать оценку не только частному явлению, но и той системе, к которой это явление принадлежало. Не фабула, не сюжет, не силлогизм и образ, не повествование или воспоминание стали главенствующей формой произведения, но *Критика стала его формой (формой Романа)*, одновременно и Роман преобразился, он стал синкретичным, вернулся в зарю своего происхождения, включил в себя Миф, Эпос. Мемуары, легенды, философствование, анализ и **оценку**. Важнейшей частью нового философского романа стало рассмотрение различных религиозных и научных учений и философских систем.

Неизвестный автор пишет, что «суммирование сущностного содержания различных учений стало способом познания Мира и путем познания Истины. Одновременно возникла догадка о том, что Критика – не только средство на пути к истине, но что сама истина "полемична" по своей природе» – что, конечно, являлось абсолютной противоположностью тоталитарного миропонимания и христианства и марксизма, утверждающих, что вся истина содержится в их учениях.

Но таким образом оказывается, что начинаясь как **искусство суждения**, то есть как *искусство критического анализа и рассмотрения* чужого произведения, *критика* превратилась в форму нового произведения "автор-критика", то есть сама стала искусством, наряду с литературой, зодчеством, музыкой и метафизикой, и отныне надо вести речь и иметь дело с новой не только равноправной с другими областью искусства, но и претендующей на главенство. Начинаясь с анализа, Критика стала Новым Синтезом, родилось не только искусство критики, но воистину **Критика как искусство**.

5. Критика как *Искусство*

Я начинался как поэт, еще в семь лет я пытался подражать Пушкину в его сказках в стихах, потом пытался писать рассказы и повести, первое достаточно существенное произведение (Боль и любовь) я написал в возрасте "второй молодости", в пятьдесят семь лет, перенеся почти смертельную болезнь. Игорь Ростиславович Шафаревич сказал, что не будет давать оценку его художественности, но в моем романе *всё правда*. (И я горжусь его отзывом, он сыграл важную роль в моем становлении как философствующего писателя.)

В шестьдесят два года я написал (в тюремной камере) философскую критику христианства и "христианской философии" (существование которой я отрицаю), роман «Записки на пальме», в который были включены даже отрывки из моих математических изысканий – он явился дальнейшим шагом на пути к Новому синкретическому роману, Саша Михайлов оба моих произведения оценивал как Мениппею.

Затем потянулись годы учения и поисков, в 2015 году я снова пережил серьезное испытание, в результате которого во мне **прорвало шлюзы** (по выражению моей врачихи – девушки-доктора), и я написал в течение двух лет несколько книг: Записки редактора, Любовь как всемирное притяжение, Поиски длиною в жизнь.

Не знаю, какое испытание я переношу ныне, что мучает и грызет мою душу, но я нахожусь в глубокой депрессии и словно пытаюсь пробить стену тюремной камеры – камеры, в которой заключено мое тело. Правда, одновременно я переживаю удивительно плодотворный период, который, казалось бы, должен был бы меня наполнить отчаянным счастьем – или я и подлинно счастлив, только по своему неразумию этого еще не понял?

За последние полтора года родились «Встречи на дорогах» и «В погоне за временем» – первые две книги «Исповеди пасынка века» – в них уже окончательно сформировался новый жанр философского романа – **Критика как искусство**.

Однако, разве не прочитал я более пятидесяти лет назад у Оскара Уайльда его эссе «Критик как художник», в котором Уайльд уже сказал нам что-то подобное о предназначении критики и о ней как особом жанре литературы?

«**Эрнест**. И все-таки, серьезно говоря: зачем нужна художественная критика? Почему не предоставить художника самому себе, чтобы он создавал, буде к тому стремится, новый мир или отображал мир, который нам известен и которым, полагаю, мы бы все пресытились, если бы Искусство, с его тонким даром отбора и отточенной способностью подмечать существенное, не очищало для нас этот мир, придавая ему, пусть на мгновение, вид совершенства. Мне кажется, воображение создает – или должно создавать – вокруг себя сферу уединенности, ибо оно всего привольнее чувствует себя среди молчания и одиночества. Что за дело художнику до крика и брани критики? **Отчего же, кто сами не способны творить, берут на себя смелость суждения о творчестве?** Что они могут об этом знать? Если созданное художником просто для понимания, объяснения не нужны...»

Я ведь и сам сознался в том, что художественные произведения создавать не могу, и если когда-то пытался писать стихи и рассказы и даже написал два философских романа (но все же не совсем художественных), то в настоящее время я умею только читать чужие романы, но не писать их. Что же касается живописи, зодчества и музыки, то в этой области творчества я был нулём от самого рождения, хотя и бываю в музеях и рассматриваю здания на улицах, когда по ним прохожу, а на музыкальных концертах иногда даже проливаю слезы. Но разве этого достаточно, чтобы сметь судить об искусстве, не умея его создавать? Но посмотрим, однако, что об этом пишет Уайльд.

«Эрнест. Я этого не говорил.

Джилберт. Но должны были сказать. В наши дни осталось мало вещей таинственных, и нельзя позволить, чтобы отбирали еще одну. Члены браунинговского общества, подобно теологам из числа приверженцев широкой церкви или авторам, печатающимся в вальтерскоттовской библиотеке великих писателей, как мне кажется, все свое время тратят на то, чтобы внушить публике мысль о своем избранничестве, пока в него никто не перестанет верить. Мы полагали, что Браунинг был мистик, а нам толкуют, что он попросту не умел связно объясниться. Мы воображали себе, что он стремился нечто скрыть от чужих глаз, а нас уверяют, что ему почти не с чем было предстать перед публикой. Я говорю только о его сбивчивых произведениях. А в общем и целом он был великий человек. К сонму олимпийцев он не принадлежал, но, как настоящий титан, во всем был недовершен и несовершенен. Наблюдательностью он не отличался, а поэтическое вдохновение посещало его лишь изредка. В его поэзии чувствуется борьба с самим собой, усилие и добровольно наложенная узда, и идет он не от переживания к художественной форме, а от более или менее определенной мысли к полному хаосу....»

И далее в том же духе, не ясно, издевается ли автор над поэтом, о котором пишет, или его защищает. Но все же, оправдана ли критика, мы пока не узнали, посмотрим дальше... [...]

Джилберт. Критик воздействует самим фактом своего существования. ...В нем культура эпохи находит свое высшее осуществление. Нельзя требовать, чтоб он ставил перед собою иные цели, кроме самосовершенствования... У критика вполне возможно желание влиять непосредственно, только тогда уже не на отдельную личность, а на все свое время, которое он будет стремиться пробудить к сознательной жизни и тем самым к творчеству, воплощающему в себе новые устремления и запросы, которые критик глубже всего постиг благодаря особой остроте своего зрения и тонкости своих переживаний. [...]

Эрнест. А вы не допускаете мысли, что лучшим судьей стихов будет поэт, как живописец – лучшим судьей картин? Всякое искусство должно ориентироваться прежде всего на художников, которые ему служат. Их мнения наверняка должны быть самыми ценными.

Джилберт. Всякое искусство ориентируется лишь на художественный душевный склад. Оно не обращено к собственным профессионалам. Само себя оно считает универсальным, и во всех своих проявлениях оно едино.

Художник не только не может быть в искусстве лучшим из судей, – если он истинно велик, он и вообще не может судить о произведениях, созданных другими, да навряд ли способен судить и о собственных работах. [...]

Эрнест. Так вы считаете, что великий художник не может оценить красоту произведений, не им самим созданных?

Джилберт. Он просто лишен такой возможности. Прочитав «Эндимиона», Вордсворт нашел в нем всего лишь живость языческого мироощущения, а Шелли, который не выносил будничной, повседневной обыкновенности, остался глух к стихам Вордсворта, раздражавшим его своей формой, Байрон же, этот великий страстотерпец, не сумевший до конца осуществить самого себя, был не в силах по достоинству оценить как поэта, воспевавшего облака, так и того, кто восхвалял озера, и ему осталась недоступна магия Китса. Еврипид со своим реализмом внушал отвращение Софоклу. Эти потоки горячих слез не пробуждали в нем никакой музыки. Мильтон, наделенный особым чувством возвышенного стиля, ничего не понял в методе Шекспира, как и сэр Джошуа в методе Гейнсборо. [...] истинно крупный мастер не способен представить себе, что можно показывать жизнь и творить красоту не теми способами, которые он избрал для самого себя. Творчество целиком поглощает и растворяет в себе критическую способность, ему отпущенную. Оно не оставляет ничего, что пошло бы на суждение о других. **Лишь по той причине, что человек сам ничего не может создать, он может сделаться достойным судьей созданного другим.»**

Итак, Оскар Уайльд **оправдал критику!!!** Он доказал, что истинное восприятие того, что создано мастером формы, принадлежит читателю, зрителю, слушателю, но **не творцу.**

Однако я развил его идею **оправдания критики** до совершенства (для чего мне понадобилось пятьдесят лет), я утверждаю, *что только человек, не способный к художественному творчеству* в поэзии и литературе, *может создать особую новую форму литературы, в которой восстанавливается исходный для культуры синкретизм искусства слова*, создать новый синтетический жанр литературного искусства, соединяющий в себе драму, философию, поэзию и критику. К этому новому жанру как раз и принадлежат мои книги, написанные в последние двадцать лет (а то, что я писал ранее, слишком беспомощно, чтобы его перечитывать).

Я плохо помню содержание драмы Уайльда, а теперь прочитал в ней только отрывки, но уже чувствую, что по существу из нее должно было следовать и все то, что я пишу сам в настоящей статье. Ну, что ж, если нечто замечательное, что не слышит публика, уже было сказано и прежде, это не умаляет того, кто хотя бы повторил гениальную идею – тем более что сегодня общим местом является преклонение перед особым **профессионализмом знатока** – в театре, в концертном зале, в музее, в библиотеке. Я к ним не принадлежу, да и они обо мне ничего не знают – и слава богу! Но по крайней мере мы уверены в том, что, во-первых, я вправе писать свои новые книги и, во-вторых, вправе судить об игре музыканта не менее **профессионального знатока.** Вправе судить и музыкант (*например, Полина*), хотя Уайльд и сомневается в способности поэтов слышать чужие стихи.

Кстати, однажды я тесно соприкасался с молодым композитором, с которым мы вели пространные беседы о музыке; в том странном заведении, где мы тогда прозябали, было все таки пианино, проигрыватель и грампластинки для двух избранных, но и само заведение предназначалось для «избранных», это был тюремный сумасшедший дом, композитор находился в нем за ужасное преступление, а я – за то, что осмелился написать статью против коммунистической тирании. Композитор был психически болен, хотя к тому времени, как мы с ним встретились, был относительно здоров (прошла ли его болезнь вполне, я сказать не могу). Ну а о собственном помешательстве не премину похвастаться: в семидесятом году весь советский народ, по крайней мере 117 процентов этого народа (а поелику у него были "социалистические таблицы логарифмов", "историки-марксисты" и "историки-христиане", то наличие у них 117 процентов голосующих за их тиранию меня не удивляет) поддерживал родную коммунистическую партию и только семь человек евреев и один русский, то есть я, были против нее, то естественно, что они сошли с ума и были заключены в «спец-больницу»; но в 2002 году понадобилось меня посадить в обычную тюрьму, так как в это время уже правили аллигархи, бывшие коммуняки, считавшиеся уже антикоммунистами, то я и провел целый месяц в подобной же тюремной больнице, и три медицинских светила постановили, что я совершенно психически нормален, в чем мне и выдали справку. И такая справка о **психической норме** есть у единственного человека в бывшей советской России – то есть у меня. Все же остальные не имеют права стукнуть себя кулаком в грудь и потребовать, чтобы его уважали. Дело в том... (да, сложно со мной читателю... Но потерпи, голубчик, будешь меня читать усердно, когда-нибудь получишь и ты такую же справку.) Итак, дело в том, что эти медицинские светила прониклись ко мне таким уважением, что даже предложили на выбор: дать ли мне справку о том, что я сумасшедший, чтобы *отмазать* от «срока, который уже светил», или дать справку, что я нормален, и обречь на тюремное заключение. Я предпочел сесть в тюрьму, ибо хотя, сказал я, "Брянский волк мне и товарищ", но "*истина мне дороже*" (хотя в этой стране, в России, вздохнули светила, ты *единственный ненормальный*, предпочитающий истину!) (Солженицын и Шафаревич были еще двумя русскими, не поддерживающими в 70-м году советскую власть, но Солженицына вскоре изгнали, и русские его до сих пор ненавидят, причисляя к евреям, а Шафаревича подвергли травле, что равносильно тюрьме. Браун же, еще один НЕ советский, уже благополучно сидел).

Возможно, читатель уже забыл, о чем мы только что говорили? А говорили мы о праве судить о произведениях искусства, не принадлежа ни к числу критиков-профессионалов, ни к числу творцов. И я хорошо помню, что мой юный сумасшедший товарищ сетовал, что занятия музыкой часто притупляли его восприятие музыки. Завидую я тебе, говорил он, звуки, которые ты слышишь, доносятся к тебе как слова стихов на чистые листы бумаги, мои же уши заполнены таким количеством звуков, что даже я часто не отличаю мелодию от будничного шума.

6. Критика как особенная форма духовной жизни

Теперь уместно привести стихи, написанные о музыке. Пятнадцать лет назад они были написаны для юной пианистки, которая испугалась нашей странной дружбы. И вот я включаю их в статью, посвященную **искусству суждения**, но не **искусству любви**.

Концерт для фортепиано и виолончели

Как жаворонка песня с высока,
Как солнечные брызги в день пригожий,
По клавишам скользит твоя рука,
И легкий холодок бежит по коже.
Всё – в будущем, мне прошлого не жаль.
Отныне книгу жизни пишут звуки.
Я полон обожанья; как рояль,
Когда его твои ласкают руки.
И тают и тоска и суета
В предчувствии безумного порыва.
И мир воскрес, и вдохновенье живо,
И с истиною слитна красота.
Но – стихло всё. Погас последний звук.
Боюсь вздохнуть, как дух, почти бесплотен.
Ты к нам сошла с Поленовских полотен,
И клавиши целуют кисти рук.
... Мы падаем, как горная река.
А дни бегут, и жизнь тихонько тает...
По клавишам бежит твоя рука,
И музыка смеется и рыдает.

* * *

Шел лёгкий снег. Кружился, танцевал.
Мир стал так чист, вокруг всё побелело.
Не в нашу ль честь был дан прощальный бал,
И музыка неслышимо звенела?
Я умолкаю. Легкое перо,
Уже с трудом, дописывает строчку.
Все кончено... Постой, поставлю точку,
И подпись: *Твой несбывшийся Пьерó*.
Нет, погоди... еще какой-то звук...
Как будто струн ... Как будто лист... из рук...

Если **критика** – это **искусство суждения**, то она не относится только к литературе и к произведениям искусства, ибо наша деятельность не отделима от мышления, состоящего из суждений, и сколько мы дышим, столько же и мыслим, даже во сне, следовательно, суждением пронизана жизнь, наша собственная, и жизнь народа, и всеобщее бытие, насколько оно входит в нашу жизнь, пронизано *суждением, анализом и оценкой*, и сравнивая способность критического мышления (которое и не может не быть критическим) с бытием мира, мы приходим к выводу, что выдающиеся произведения Канта: «Критика чистого разума» и «Критика чистого опыта», составляющие учения о нашем мышлении, и не могут не быть Критикой, и художественное произведение, не являющееся критикой – это частное высказывание об отдельных вещах и явлениях. Критикой человечества являются Христианство и Марксизм, Ислам и Буддизм, изложение научной теории является критикой сопоставимых с нею теорий, геометрия Лобачевского – это критика геометрии Евклида (ибо содержит целостное суждение о ней, оценку ее и сумму возражений), но чтобы не запутаться в определениях, будем говорить о **критике** в собственном смысле слова, когда исследование посвящено преимущественно возражениям другим учениям, и будем говорить о **Критике** как о *цельном изложении новой системы взглядов*, оспаривающих устоявшиеся мнения. Но если критика – это искусство, то необходимо еще помнить, что **не** критика, – то есть не возражение и не опровержение являются содержанием нового учения (или нового произведения искусства и литературы), но само новое искусство составляет это учение. *Важно в критическом исследовании, в статье, в рецензии, в отзыве, в филиппике и в остроте не сколько в нем критики, а сколько в нем искусства!*

Не следует забывать и другое, что в таком расширенном употреблении термина КРИТИКА мы этим словом называем *учение о преодолении*, изменении того, критика чего содержится в этом учении. **Мир необходимо изменять к лучшему**, успешнее всего этим занимаются Наука, Философия, Литература и Искусство – значит, они и призваны изменять мир. Уайльд говорит, что *искусство* не приносит пользы, что оно *бесполезно* – и это справедливо в том смысле, что его нельзя сравнивать с земледелием и строительством, плодами которых являются хлеб и жилища – но *искусство не ничемно*, вроде игры в карты, а имеет такое же важное значение в жизни, как труд по производству полезных вещей, а иногда даже более важное значение, искусство воспитывает, изменяет, преобразует человека и мир, спасает его душу, оно способно иногда даже лечить человека.

Каждое явление в мире связано с другими, и если говорить о литературе, то **творчество**, то есть создание литературных произведений, не отделимо от издания книг, от **редактирования** их, от анализа и оценки, то есть **критики**. Редактируются и чужие книги и свои, но редактируются не только книги – пропальывая огород, мы его *редактируем*. Следовательно, *критика* (оценка) и *редактирование* (то есть исправление) неотделимы друг от друга, вот почему новая философская форма моих романов является **редактированием мира**. И в этом отношении я не противоположен Христу и Марксу, которые пришли **спасти** или **изменить** мир, хотя каждый его по своему и объяснял.

7. Культура и жизнь. Критика и культура

Все, что мне хотелось сказать об отношениях между критикой и искусством, прозвучало у меня невнятно и неубедительно, и приходится вновь обращаться к Уайльду. Вот как заканчивается у него диалог, повествующий о превосходстве критика над творцом:

«**Эрнст.** Сегодня я услышал от вас много странного, Джилберт. Вы утверждали, что говорить о созданном труднее, чем создавать, [...] что все Искусство аморально, и что всякая мысль таит в себе опасность, и что **критика в большей степени творчество, чем само творчество**, и что *высшая Критика та, которая находит в произведении вещи, отнюдь не подразумевающиеся художником*, и что **истинным судьей становишься именно потому, что ничего не можешь создать сам**, и что настоящий критик не бывает ни справедлив, ни искренен, ни рационален. [...]»

И это именно то, что хотел сказать и я, но мне мешала двойственность и противоречивость второй моей мысли (которую тоже высказал еще раньше за меня Оскар Уайльд), а именно то, что критик и сам становится и должен стать художником, а его критика – искусством, если она чего-нибудь стоит. Таким образом, он должен совместить в себе две ипостаси художественного творчества: его **изобразительность** (которая принадлежит художнику) и его **рефлексивность** (принадлежащую критику), и создать творение, которое будет и искусством и философией, **образом и суждением**.

Но всякое утверждение не тождественно самому себе, оно себя и утверждает и отрицает одновременно, соединение же двух противоположностей в нечто взаимно единое нелепо как мечта об *андрогинности*: мир и человек не цельны, и не снимается противоречивость сознания за счет размышления, как математическая неопределенность типа 0/0 снимается при сокращении числителя и знаменателя на общий множитель. Есть ли общий множитель у мужчины и женщины, приводящий к неопределенности их отношения, или оно более глубокой природы и не снимается математикой?? Да. Впрочем, не будем отклоняться в сторону, речь не об этом...

В теории «**цветущей сложности**» Константин Леонтьев доказывает, что общество не должно стремиться к равенству, что оно необходимо много-сословно, и только за счет неравенства сословий и многообразия условий их существования достигается его развитие, как и РОД существует только за счет того, что человек разделен на два пола, и красота существует лишь потому, что существует и противоположность красоты...

Так это или не так (ибо сторонники социальной справедливости все еще надеются на осуществление идеалов *свободы, равенства и братства*), но пока мы исторически существовали только в условиях **неравенства**, и рассуждения об искусстве и критике должны исходить именно из этого.

Золотой век русской литературы был в 19-м столетии, и литература была преимущественно дворянской. Содержится ли в культуре образ мира или нет, но во всяком случае *в русской литературе содержится образ дворянского мира*, как в европейской – образ мира феодально-буржуазного.

Современная *критика* (т.е. *философия культуры*) создает образ европейской культуры всех трех тысячелетий, вот почему так подобны мои рассуждения о критике и художнике рассуждениям Оскара Уайльда – мы отталкиваемся в наших рассуждениях от одной и той же культуры. Почему мое внимание привлекает Константин Леонтьев и его теория «цветущей сложности»? Потому что и в советской России я родился среди *колхозного крепостного права*, и сегодня царствуют те же монархические начала и тот же феодализм, что и в Петровской Руси. Почему **Критику** я противопоставляю **Искусству** (вслед за Оскаром Уайльдом) и ищу в ней более глубокую философию всемирного (тем более русского) бытия? Потому что **феодалная культура** не отвечает на мои вопросы, человека двадцатого столетия, она исходит из узкоклассовых интересов и классового мировоззрения, к тому же она привязана к христианству, привязанному к феодально-рабовладельческому устройству мира. В марксистском обществе тот же феодализм (как и в современной) – но оно не обладает «цветущей сложностью», а является **вырожденным феодальным обществом**, своего рода "огибающей" семейства "феодальных кривых". Мои статьи о театре и литературе – частные случаи моей *особенной критики*, они мало апеллируют к содержанию художественного произведения, к формам его исполнения, к формам и содержанию сценического воплощения произведения, даже к истории – но они тоже своеобразные предельные случаи возможных критических статей, своего рода их **огибающие**.

Новый Русский Журнал – это сцена, на которой разыгрывается драма критической философии современной культуры, мы, авторы, пишущие для журнала статьи, нечто особенное – или мы подпольная социалистическая партия, или союз вольных анархистов, или партия социалистов-народников, или христианские демократы, или алхимическое общество, вываривающее в реторте «секции критики» алхимический камень. Боюсь, что мы провалимся так же, как провалились и средневековые алхимики, провалится и наш Журнал – но я, возможно, еще на некоторое время останусь почти тем же в инобытийном виде, – «музыкальным или театральным критиком», критиком религии и философии – но уже не литературы. Конечно, я должен был быть критиком литературным, я даже написал *три тома*, три толстых тома Записок редактора, но русская литература замерла, как замер и русский народ. Значит, я должен ответить на вопросы, выходящие за рамки литературы, даже не имеющие к ней отношения – почему мы все замерли? Это вопросы трансцендентной философии, вот почему я создаю новый жанр литературы, о котором сказал еще Оскар Уайльд – жанр **«Критики как искусства, критики как литературы и критики как философии»**. В рамках этого жанра я уже и пишу свои новые сочинения. Но на их поприще я пока одинок. А мне ведь необходимо где-то прятаться от дождя и холода, от землетрясения и горных обвалов, даже от одиночества, – и такое пространство в нашем мире еще осталось, более того, оно самое горячее, самое благоуханное, самое философски и магически продуктивное – это **пространство симфонической музыки и оперного пения**.

И я прячусь в пространстве концертных и оперных залов, как «Призрак Оперы», **Я – Призрак симфонической музыки**.

8. Полина

Полине я сказал, что она стремится передать философию того произведения, которое она исполняет – хуже этого я не мог ей сказать ничего. Она гениальна в своем творчестве музыканта, пока она всецело во власти *стихии*, хотя она и сама является стихией; пока она подчиняется Евтерпе, богине музыки и лирики, хотя она и сама является богиней. Но кроме богов она не должна слушаться никого,

Я слушаю ее игру на фортепьяно семь лет, жаль, что так поздно преодолел предубеждение к ее детской славе. Хожу на концерты, на музыкальные встречи, прочитал ее книгу и слушаю интервью, смотрю на нее за *роялем*, впитываю в своё сердце движения ее фигуры и рук, когда она исторгает из него божественные звуки – но я и сами движения переживаю как музыку. Это переживание особого рода любви, такое же, какое я переживал к произведениям Достоевского, к музыке Вагнера, к магическому голосу Шаляпина.

Десять дней назад я слушал в филармонии в ее исполнении вариации Рахманинова на темы Корелли и седьмую сонату Прокофьева.

Конечно, я ее несомненно и сразу еще семь лет назад полюбил как выдающегося музыканта, как гениальную исполнительницу, но... наконец я ее полюбил и как попутчицу на Млечном пути!

В чем же состоит ее особенность, ее *гениальность* и ее совершенство?

Гений музыки, то есть Дух музыки ее одухотворяет, пронизывает и наполняет, как солнечный свет пронизывает и согревает атмосферу и почву, и мы, слушатели, пронизаны этим духом и светом тоже, как и она и как каждый музыкант и композитор (помимо, разумеется, ремесла и мастерства, как и вдохновенный писатель пронизывается духом литературы, но одновременно должен хорошо знать язык, историю и жизнь своего народа, что входит, по-видимому в условия мастерства) – но почему слушатель не является творцом, а я его приравниваю к музыканту и композитору (а Оскар Уайльд дерзает даже поставить читателя – или критика – даже выше творца)? Потому что мы единичны, и природа того, что сотворено художником и что нами переживается – одна и та же! Я не способен петь как соловей, но я слышу то же и так же что слышит и он и его подруга, ничуть не менее и не ниже! (Но, как вы помните, самонадеянный Оскар утверждает.... и он отчасти прав.)

В чем же отличие слушателя (читателя) от творца?

Мы все – создания божии, и в известной степени единичны Творцу, как единична Галатея Пигмалиону. Одна и та же материя в нас и один и тот же дух, что в божестве, что в его творении, иначе не стоило и браться за труд. Художник **рождает** свое произведение, так же его рождает и Бог, и в художнике и в божестве воплощено Абсолютное женское начало (ибо только оно способно рождать), во всяком творчестве проявляется и осуществляется **женственность** (вот почему я так морщусь при разговорах о мужской манере игры), **женщина достигает своего совершенства**, вершины, Акме, а поверхностный слушатель воспринимает их как мужественность, происходит подмена, т.е.

Не то чтобы Творец превращался в женщину, но женственное в художнике рождает творение, а мужское рождает в нем восприятие – и вот критик возможно и становится отчасти мужчиной – в той степени, в которой он критик, хотя одновременно он превращается в женщину – в той степени, в которой его критика поднимается до искусства.

Мы не случайно замечаем в художнике **женственность** – в изящности движений, в соразмерности и гармонии речи, в мягкости и деликатности – противоположные примеры объясняются тем, что в **художнике** существует и проявляется **критик** (например, в Толстом – притом критик вульгарный) – но когда и критика становится искусством, то и критик становится женщиной.

Впрочем, каждое утверждение говорит одновременно и то, что говорит, и противоположное, почему так обманчива и непостижима женская логика – но и моя мужская обманывает меня не менее женщины – то, что становится искусством, необходимо становится женственным.

Я часто смотрю на движения девчушек от трех до семи лет, как они стоят, смотрят, идут, как они переливают в движения свое ожидание, например, стоя у колонны в метро в ожидании поезда – они танцуют, и танец их даже совершеннее, чем балетный спектакль – поэтому я не удивляюсь тому, что маленькая Полина играла на фортепьяно даже сложные вещи – мелодию и рисунок и звуковую гармонию она слышала безукоризненно, мало было обертонов, того, что окаймляет мелодию... Но в движениях, в пластике девочек, в напряжениях, струящихся вдоль фигуры, было то совершенство, которое достигается при окончательном развитии типа – женский тип начинается с совершенства, затем его утрачивает, затем, в счастливых случаях, совершенство возвращается – иного свойства – но никогда оно не достигается за счет потери женственности в пользу мужественности или за счет смещения или соединения двух полов в так называемого андрогинна.

Мальчики в три года не танцуют в ожидании поезда, не танцуют они и сидя за роялем, как танцует Полина – но хотя мне даже хочется рассказать о том, как она танцует – и танец ее неотделим от ее исполнительского мастерства – но я вдруг почувствовал, что надо "придержать язык" и быть скромнее – поэтому не буду рассуждать и о том, как она одевается – а и ее внешняя красота, и ее одежда и прическа входят в состав той музыки, которую мы слышим. (Как красота собственного тела входит в состав того живописного искусства, которое создала Зинаида Серебрякова-Лансере – но художественный талант так преобразует материальность плоти, что она становится целомудренной даже в обнажении – но я не смею прикасаться к тайне женщины даже словом).

(Впрочем, мне возразят – разве в античных музах мы видим обнаженных женщин? – но мне надо успеть договорить свой монолог о критике, поэтому о музах мы еще поговорим в другой раз, и если у моих монологов будут слушатели, то можно будет порассуждать и об **эротизме** в искусстве)

Итак, Полина танцует, ее танец дополняет ее игру, но она минималистка в танце. Она еще и улыбается и хмурится – но и в игре лица она минималистка тоже, всё у нее в меру (вот у меня все сверх меры – потому что я интерпретирую не чужое искусство а своё...)

Правда, так как соната не существует без инструмента и пианистки, то можно считать этих трех создателей «сонаты для нас» (в отличие от «сонаты в себе») равноправными ее творцами, и не менее справедливо сказать, что когда мы слышим гениальную исполнительницу, мы слышим её музыку, а не чужую, она представляет нам не чужое творение, а свое – и сколько было загубленных сонат и рапсодий, когда мы сетовали на создателя, а виною пагубы был расстроенный инструмент! – "сколько слез сердца упало на песок!" – как писала мне NN.

Почти всему, что я сказал до сих пор, я мог бы возразить в той или иной мере, поэтому перечислю то, что я считаю принадлежностью Полины, и чему никто возражать не помет.

Полина красавица и одевается изящно и с большим вкусом.

Ее движения естественны и безупречны, они одухотворены и красивы.

Она мягкая и добрая женщина, она милосердна и впечатлительна.

Она образованна. Во-первых, ей свойственна поразительная широта понимания музыкальной культуры и владения ею, но она при этом обладает вкусом в литературе и философии. Она чувствует и знает не только историю музыки, но и европейскую и русскую историю. Она не консерватор, но она и не анархистка.

Она культурна в том смысле, который дополняет и расширяет и возвышает образованность.

Она безукоризненно умна. Что это значит, об этом придется писать отдельно в дополнение к Гельвецию – значит, впереди у меня как минимум статья об уме, о женском уме и мужском, об их различии (или сходстве?) об умниках и о блаженных...

Если добавить, что ей свойственны ВКУС и МЕРА в самом точном значении этих слов, то станет понятно, что нет недостатка в каждом качестве, который ей свойствен, и нет в нем чрезмерности (а вы не заметили, что я иду по канату, натянутому над пропастью? Я чрезмерен почти во всем, особенно я чрезмерен в отношении к тем, кто мне нравится – но в стакан с сахаром я кладу не менее семи ложек – но ведь мне приходится быть осторожным! Я не хочу, чтобы мои восхваления показались патокой, чтобы в них не было мяты и лимона – и мята и лимон смягчают привкусы... Красивой и изысканной музыки не бывает много, поэтому и в восхвалениях я иду до конца, пока не свалюсь в пропасть – но я стремлюсь одновременно к тому, чтобы та, которую я восхваляю, не заметила, что меня уже надо остановить...

Все, что я уже сказал, относится к женщине – но все это содержится в женщине-музыканте, это содержится в стиле, манере, характере игры, в интерпретации произведения, в его объяснении, в его демонстрации (показе), в его "расшифровке" (я лишь недавно узнал, что этого требуют некоторые произведения Баха – а Полина играет Баха, и я слушаю ее исполнение довольно часто, конечно, приходится прибегать к помощи компьютера).

Я перечислил не всё, но боюсь опоздать, поэтому вернусь к Рахманинову и Прокофьеву, не менее сложным композиторам, нежели Шостакович.

Она играла их совсем недавно в Филармонии, и мне стало страшно – так играют, когда прощаются с музыкой...

К счастью оказалось, что так играют и тогда, когда поднимаются по лестнице на верхнюю ступень бытия, с которой открывается вид на вселенную, и можно перешагнуть на Млечный путь.

Вариации на темы Корелли были написаны незадолго до смерти Рахманинова, а умер он в 1943 году. Он композитор трагический, но тот период жизни, который был отражен в его музыке, был сверхтрагедией – рушилось всё, что он любил, рушилось то, что он любил больше всего – рушилась Россия. Рахманинов помогал России всеми силами своего таланта, он был высоко оплачиваемым исполнителем, он концертировал исключительно много, помогал солдатам, беженцам, посылал медикаменты, закупал на свои средства оружие, экипировал и отправил в Россию танковый полк – если бы всего этого не было, он бы остался таким же великим, каким я его знаю – но я не плакал бы так горько, слушая его музыку и изо всех сил пытаюсь скрыть слезы. Мне казалось, что **боль и ярость** струились с клавиш и пальцев, и я боялся и за Рахманинова, и за себя, и за Полину.

... Осталось немного: я должен еще написать о своем пути к критике, о Прокофьеве и его прекрасной жене, французенке, отправленной в 1940 году в сибирский лагерь (и именно в это время Прокофьев и написал свою седьмую сонату), написать еще несколько слов о Полине и о **телеологии**.

И закончить свою статью я должен объяснением, как нам жить дальше.

Разумеется, я хочу, чтобы моей «критике» читатель вдумчиво внимал – но я и боюсь на него повлиять: представим себе, что я смотрю на небесную радугу: *осмелюсь ли я ее поправлять?*

Поэтому не верьте мне, не верьте Уайльдуду, живите так, как будто живете в первый раз. Хорошо, что есть музыка, которая формирует душу, но она не пытается ее своенравно переделать, она понимает и ценит нашу свободу.

Я понял, что нужно после концерта еще «третье действие»: есть еще о чем поговорить – но не отрубая журнальным топором голову уже никому – ибо *мир прекрасен, несмотря на то, что он так ужасен*. Поэтому лишь привожу в завершение стихи античного поэта Авсония «Имена муз»

"Клио прошлых времен дела вещает потомству,
Мельпомена трагический вопль исторгает печали,
Радует Талия шуткой, веселым словцом и беседой,
Сладкую песню поет с тростниковой флейтой
Евтерпа,
Терпсихора кифарой влечет, бурей чувства владея,
С плектром в руке Эрато чарует и словом, и жестом,
Песни времен героических в книге хранит
Каллиопа,
Звезды небес изучает Урания, неба вращенье,
Жестами все выражая, Поли(ги)мния славит
героев."



Или достаточно и сказанного? Новые слова пусть будут для новых песен...

9. Мужская и женская поэзия

Я часто слышу о мужской и женской манере игры, о мужской и женской поэзии – обычно так говорят, когда речь идет музыкантах женщинах (пока как то не принято говорить ни музыкантша ни докторша ни докторица, хотя давно говорят «учительница»... не принято даже говорить «поэтесса», поэты-женщины обижаются... но все это отражение в языке многовекового бесправного положения женщины, когда-то язык должен будет преодолеть собственные недостатки...) – но пока хорошо хоть есть не только пианисты, но и *пианистки*, а я, к тому же, и поэтов-женщин смело называю поэтессами.

Есть женственные мужчины и мужественные женщины, но поэзию поэтов-мужчин не подразделяют на женскую и мужскую, так же как и игру музыкантов. А о стихах поэтесс и игре пианисток с точки зрения пола рассуждают часто: есть женские стихи (они почти у всех поэтесс женские) и есть мужская манера игры (но у немногих, у большинства пианисток манера игры женская).

Что имеется в виду?

Не то же ли, что имеют в виду, когда говорят о женственных народах и о мужественных, например, противопоставляя германские народы славянским?

Женственные народы? Это, я думаю (или надеюсь) точно такая же только метафора, как и *мужская манера игры*...

Ну а женский и мужской ум?

Нельзя ограничиться по этому поводу несколькими фразами. Красота обладает одним несомненным достоинством – она неотделима от высокого интеллектуального и духовного уровня девушки-женщины, все талантливые женщины в то же время и красивы, в то же время и женственны, и что бы они ни делали, они это делают по-женски, и размышляют и играют на фортепьяно... но обстоятельнее поговорим об этом чуть позже, в следующем выпуске нашего альманаха...

.....
.....

10-13. Критика, философия, телеология и Дзен-буддизм

«Что сказала одна стена другой?» – спрашивается в дзен-буддийской притче.

– Встретимся в углу! – отвечает она.

Итак, я еще не прощаюсь, впереди у нас долгий разговор, и встретимся мы несомненно – а «угол» – не самое плохое и далеко не будничное место, есть и площадь Трех углов в Петербурге, и Красный угол в каждой крестьянской избе, за столом с белой скатертью, под божницей, вдвоем ли, втроем, а то и в широкой компании, с Евтерпою, Каллиопой, Уранией...

Может быть мне еще удастся доказать, что если Философская критика не выше Искусства, то на братские узы она все же может претендовать.

.....

"ГУНКА", или «встреча в вагоне»

Кажется, это было в 1998-м году, мы с сыном возвращались из Москвы в Петербург, наши издательские дела были уже в самом худшем положении, все развалилось и разорилось, что только можно, сотрудники разбрелись кто куда, имущество протекало в дыры, из которых состояло издательство, офиса, кажется, в Петербурге уже не было, надежд на будущее – тоже, ни соратников, ни сотрудников, ни идей, ни энергии к жизни... Но что-то, все же, еще оставалось, наша жизнь пока еще не стала хаотическим блужданием молекул, и хотя воли к направленному взаимодействию с миром уже не было, но молекулы чему-то еще подчинялись и не слонялись абы как. Жизнь была еще жизнью и куда-то двигалась и куда-то стремилась. Мне было в это время 56 лет и я чувствовал себя относительно здоровым, хотя время от времени возникали приступы аритмии.

Если и личное бытие представить как сосуществование двух вселенных, организованной, одухотворенной вселенной, имеющей смысл и цель – Космоса, и неорганизованной вселенной, без смысла, цели, направления, ничему не подчиняющейся, никуда не стремящейся, или подчиняющейся только случайности – Хаоса, то что же еще оставалось от Космоса? Мы двое, севшие в скорый поезд Москва – Петербург около полуночи с уверенностью, что в девять часов утра мы выйдем из вагона на Московском вокзале и поедем домой в городскую квартиру (а тогда у меня был уже и старый деревенский дом в Новгородской области, куда я иногда сворачивал по дороге из Москвы), наши домашние, которые нас ждали, возможность еще купить билет и путешествовать с относительным комфортом, существовал офис на Новом Арбате на 21-м этаже, и существовали относительные минимальные средства (не помню уже, откуда мы их добывали), позволяющие путешествовать на поезде, обедать, платить за квартиру и офис, даже иногда ходить в театр и филармонию. Нищета еще не наступила, хотя уже через год я ехал из Москвы в Новгородскую деревню в электричке, возвращаясь из Сибири с двумя стеклянными сервизами, купленными на станции около Казани (зачем? Уму непостижимо, один сервиз я подарил потом Володе Алексееву, а он подарил его девушке-путане...), а еще через год я ехал в электричке из Москвы, продав Библию 1812 года главе какого-то православного братства за 50 рублей, с рюкзаком, полным пустых бутылок, их я по дешевке продал в Окуловке и на вырученные деньги купил билет в автобус до деревни – иначе мне пришлось бы идти пешком 25 километров) – но сколько же во мне было еще жизненной энергии и силы, чтобы все же доехать из Москвы до деревни, а не идти оттуда пешком, побираясь по дороге?!

Что же еще тогда, в 98-м году, принадлежало моему Космосу?

Было главное: **телеология** – то есть *целесообразность бытия* (в частности, моей собственной жизни) и **энтелехия** – *его предназначение и жизненная сила*.

Поскольку моя личность была преимущественно явлением формы, постольку я сам был скорее литературным явлением, образом и воплощением, я был сосредоточен и проявлен и выявлен в Слове. Моя жизнь, как теперь я вижу, не составляется из хаоса событий, а представляет собою СЮЖЕТ – поиск и обретение **понимания**, и встречи с необходимыми личностями, в совокупности оправдывающими и жизнь как таковую и мою собственную жизнь. Это не обязательно самые приметные и самые выдающиеся – это только в совокупности необходимые и достаточные, чтобы оправдать и Народ и меня самого. Даже можно отчасти сказать, что не столько я сам существен, сколько те, с кем пути мои пересекались, с кем я целовался, разговаривал, пил водку. О них нужно написать, они того стоят. Но этот рассказ должен быть интересен, он должен быть судьбой и образом, сюжетом, приключением, загадкой и откровением.

Смогу ли? Музы, духи, силы небесные, мой собственный ангел или дьявол должны мне помочь.

Ну так вот, осенью 98 года мы вдвоем с сыном вошли в купе, в котором сидела милая, изящная, красивая и притягательная девушка, в ее облике, взгляде, движениях были не только изящество, но и сильный ум и обаяние.

Разговор завязался сразу же, и мы непринужденно начали болтать о разных милых пустяках, как это обычно и бывает при начале знакомства.

– Вы, вероятно, приезжая? – спросил я. – Может быть, из Прибалтики?

– Разве я как-то не так говорю?

– Вы говорите на прекрасном русском языке, но слишком хорошо на нем говорите, нет некоторой неряшливости в произношении, которая отличает посконных русских, москвичей и питерцев, но еще больше деревенских. Такое впечатление, что родным языком у вас был другой, а русский – благоприобретенный. Так, родным языком Пушкина был французский, русскому он обучился в четыре-пять лет, и многие даже жалуются, что в большинстве стихов он тяжеловат, слишком литературный, слишком книжный, особенно в сравнении с Жуковским. Приведу пример. Мой друг Казимир не знал польского языка, поэтому я буквально навязывал ему русскость, хотя его родные все говорили по-польски (дома) и хорошо знали литовский язык (конечно, вместе с русским), их родиной была Виленищина. На первом курсе он стал изучать польский язык, выучил наизусть Мицкевича, но для его старших братьев он так и не стал поляком, хотя они Мицкевича наизусть не знали. Вот и про вас я думаю, что, возможно, вы все же урожденная русская, но жили в чужой языковой среде.

– М-да... – произнесла "гордая полячка" (но нет, она оказалась не полячкой) – А я-то гордилась своим произношением, я его *оттачивала*, я была уверена, что никто в мире меня не заподозрит в чуждом происхождении. Но так и быть, приходится *расколоться*. Я родилась в Германии, была немкой, и родным языком у меня был немецкий. Русский язык я изучала в университете и приехала в Россию, чтобы написать о ней диссертацию. Здесь судьба меня столкнула с «отбросами общества», изгоями, я познакомилась с жизнью *бомжей* и заинтересовалась их бытом и судьбой. Чтобы понять их изнутри, я

даже вошла в их "стаю", стала жить вместе с ними, как ни странно, среди них и мой русский язык и моя русскость только возросли.

– О вас писали в газетах, я о вас читал, как замечательно, что мне удалось с вами увидеться! И заверяю вас, что в вас всё безупречно, и язык, и поведение, и внешность, уверен, кроме меня никто не ощутит некоторый чуть слышный привкус, призывок обертонов, который присутствует почти неуловимо в вашем голосе. Так не всякий почувствует разницу во вкусе между лесной смородиной и садовой. Можно даже сказать, что я русский деревенский или городской, а вы русская с «Земляничной поляны». Или даже из реторты алхимика. Жаль, что это не я зародил в вас русский дух, хотя такое в моей жизни бывало... Но скажите мне честно, как же вам удавалось среди них жить? Разве сама обстановка, сами условия не были невыносимыми? Разве они не приставали к вам? Вот я жил и в общежитии, и на съёмной квартире, и в тюрьме, и в сумасшедшем доме, и даже в палатке у костра, но в грязном и холодном подвале больше двух дней я бы не смог выжить!

– Конечно, в необычных условиях одному всегда выжить трудно, но я ведь была не одна!

– Но в тюрьме мне в одиночке было легче, чем в общей камере, меня стесняли окружающие даже больше, чем несвобода.

– Это потому, что вы окружающих не любили. А когда любишь тех, с кем живешь, нет никаких невыносимых условий.

– И что же вы делаете теперь? Откуда, куда, с кем?

– Я только что была в Германии, встречалась с родителями и прошлыми друзьями, прилетела в Москву и возвращаюсь в Питер, который стал мне родным. Научная карьера моя сложилась великолепно, в Германии я защитила диссертацию, обо мне там тоже писали, я стала своего рода героиней, хотя многие меня осуждали, особенно после того, как я подробнее объяснила, почему я стала русской и отказалась от Германии.

– Если вам не тяжело об этом говорить, то расскажите, пожалуйста, о ваших чувствах и вашем решении подробнее, я тоже размышляю о родине, о духовной родине, даже написал статью «Я русский!», которую даже русские читатели не очень-то приняли!

– На родине за последние три года я была три раза, в этот раз по настоятельной просьбе родителей, они мне объявили, что если я не выкину эту русскую блажь из своей головы, то они от меня отрекутся и даже лишат меня наследства. Но как я могу оставаться немкой? Объясню это на примитивных примерах. Представьте, что навстречу друг другу идут два немца, и один другого спрашивает, нет ли у того сигареты. Тот достает сигарету из кармана и протягивает просящему, тогда первый достает два пфеннига, которые владелец сигареты без стеснения как должное кладет в карман. А в России? Тоже представьте, что на заводе после рабочей смены трое решили распить бутылку, сбросились на выпивку и закуску, поставили в углу заводского двора ящик, сели вокруг, откупорили бутылку... и вдруг один из них говорит: Ребята, простите меня, но сегодня я с вами не буду пить. Утром моя жена сказала, что если она услышит запах спиртного, то выгонит

меня из дома, и я чувствую, что так и поступит. Пожалуйста, пейте уж без меня, а я рисковать не буду, я побегу домой.

И ушел, но долю свою не стал забирать, ему даже в голову не пришло, чтобы они вернули ему его, условно говоря, *два пфеннига*.

Я думаю, что одного даже этого примера достаточно, чтобы понять, почему я больше не могу быть немкой. Да ведь и прежде такое бывало неоднократно, вы, может быть, не знаете, но среди русских юродивых бывали бывшие немецкие купцы, и один известный вологодский юродивый – ганзейский купец, и в Петербурге немцы быстро обрусевали, и Дельвиг, и Кюхельбекер, и Владимир Даль, и вот теперь часто приезжает в Россию внучатый племянник Достоевского барон Фальц-Фейн из Лихтенштейна, хотя он здесь и родился, и увезли его после революции пятилетнего, но он никогда не переставал сознавать, что он русский, *я читала его воспоминания в журнале Мера...*»

– ...который я редактировал и издавал! – закончил я.

Красавица *бывшая немка* вскочила и бросилась ко мне, вдруг схватила меня в объятия и прильнула в удивительном поцелуе!

– Ребята! – воскликнула она восторженно, – а не распить ли нам по этому поводу бутылку водки, у меня как раз с собой есть, купила в Москве, предчувствовала, что что-то должно случиться необыкновенное?! *И ведь вам даже не надо входить в долю, я угощаю!* – добавила она смеясь

Конечно, поспать нам толком уже не удалось, разумеется, мы не ограничились одной бутылкой, и хотя я старался пить больше моих "собутыльников" (я был закалённый боец и пил в эти безумные девяностые годы вообще бесшабашно, как только остался в живых?!), но и моей новообретенной ближней сестре досталось немало – а что она более подходит мне в дочери, об этом мы как-то не думали. Правда, сын смотрел на меня временами укоризненно, он был более строгих правил, чем я, все таки я его воспитывал на лучших литературных образцах – поэтому целоваться мы выходили в коридор, то под предлогом, что надо налить чаю, то ходили за водкой. Я ее окончательно утешил, я сказал, что целуется она совсем безукоризненно, как *самая русская из всех русских девочек*, и ничего немецкого в ее поцелуях нет. «И много ты с немками целовался?» «Всего только раз», – и она укорила меня, что я чистый гунн, а вовсе не культурный европеец... – «Но значит, я твоя *гуннка*, и ради этого мы и встретились, пусть только на одну эту чистую и безгрешную ночь, хотя мы оба и русские тоже, но "для этих немцев" мы варвары, гунны, и ты и я! Вот для чего, оказывается, я перешла в русские – чтобы поцеловаться с тобой! Жаль, правда, что мы больше встречаться не будем: нельзя, чтобы твой сын смотрел на тебя укоризненно. Прости меня, но *ребенок женщине дороже возлюбленного!*»

После в моей жизни было еще немало всякого, я и болел немеряно, и чуть не стал нищим, и были еще и другие встречи и очарования – не только врожденное возвращает во мне писателя, но и мои странные встречи из меня его пытаются сотворить...

В. А. Овсянников



ЕДЕТ ЦАРЕВИЧ ЗАДУМЧИВО ПРОЧЬ

ДОМ ГРУДИНИНА

(рассказ)

А. В. Медведев

О влюбленной голове

**В. И. Чернышев
«Яростная переписка»**

Вячеслав Овсянников

Едет царевич задумчиво прочь

Что такое знание? «С тех пор как вечный судия/ Мне дал всеведенье пророка»? Или знание – это то, о чем нам говорит наука и образование? То, что повторяется. То, что истинно. То, чему можно доверять. То, что называют закономерностью. Некто заметит нечто, зафиксирует то, что заметил, покажет другому. Если это относится к месту, другой пойдет и проверит. Убедится – да, все так и есть. Истинно, не соврал. Знает. Если это относится к свойствам вещей, к тому, что можно из них сделать, или к явлениям во времени – проверяем, на зуб, в колбе, в реторте, в микроскоп, телескоп. Если повторится, да не один раз, а много-много-много раз – значит, всё верно. Аз есмь истина. Будем знать, сохранять и передавать это ценное для человечества знание. Так в жизни, в практике, в науке и технике. А в искусстве? В поэзии? Что такое истинность творений художника, художественная достоверность, убедительность? Судьи искусства, эксперт, знаток? Станиславский и его «верю», «не верю»? Всегда найдется какой-нибудь Фома и заявит: Станиславский для меня не авторитет, не верю я его «верю»-«не верю». Да и вообще нет в искусстве авторитетов. Я, скажем, люблю только то, что никогда не повторяется, неповторимое. Единственное, исключительное, одноразовое. Вот сверкнуло, и нет его. Жди хоть до скончания веков – не повторится. Второй раз не явится. Как у Иннокентия Анненского: «Я люблю все, чему в этом мире / Ни созвучья, ни отзвука нет». Какое же это знание? Это мимолетное виденье, мелькнуло, и нет его. Нет навсегда. Миг, ослепительный миг. Как этому верить? Никак. Греза, мечта, фантазия. Метеор в ночном небе нашей обыкновенности и повторимости, вспыхнул в полете и погас. Сгорел. Мгновенное чудо. «Был или не был этот вечер?» спросит сам у себя Блок в своем лирическом шедевре. Летучий миг искусства. «Летучие творенья» поэтов всех времен и народов, всех творцов. Это не знание. Это не только нельзя передать, его нельзя сохранить, нельзя второй раз испытать. Темное это дело. «Есть речи – значенье / Темно иль ничтожно». Этому только можно, не оглядываясь ни на что, броситься навстречу. Один единственный раз. «Не кончив молитвы, / На звук тот отвечу, / И брошусь из битвы / Ему я навстречу». Искусство, поэзия – не знание. Это что-то другое. Знание только в технике искусства, в техническом мастерстве, в том, что повторяется, приемы, навыки работы с формой, с материалом, собственно ремесло, без чего искусство в принципе невозможно. А душа, дух искусства, без чего техника мертва, – кто о них знает? Сам творец не знает – откуда, как, почему и отчего. Неуловимое, всегда ускользающее. Только эхо томит и дразнит. «Тебе ж нет отзыва...таков и ты поэт!» Не повторить, не передать. А отсюда и попытка создать какую-то другую, невообразимую технику, не ту, что для всех, не

ту, что из знания и на знании, а совсем другую – ту технику, которая, отрываясь от известного знания, ловит нечто неизвестное, единственное, ускользающее от того, чтобы стать знанием. Каждый раз этот порыв схватить чудесное мимолетное виденье, Жар-птицу, хоть перышко, каждый раз эта отчаянная попытка художника. «Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук / Хватает на лету и закрепляет вдруг/ И темный бред души, и трав неясный запах». Фет. Или у него же: «Не так ли я, сосуд скудельный/ Дерзаю на запретный путь, / Стихии чуждой, запредельной, / Стремясь хоть каплю зачерпнуть?» И как часто: «В усердных поисках все кажется: вот-вот / Приемлет тайна лик знакомый, – / Но сердца бедного кончается полет / Одной бессильною истомой». И ускользнувший лик так и остается неизвестным.

И что же художник? Обладает ли он этим тайным, неявным знанием неизвестного, всегда неизвестного, не могущего стать знанием? Не миф ли это? Всего лишь красивый, ставший привычным, миф о художнике-маге, чудотворце и тайновидце? А художник сам признается – не поймать ему эту тайну. Думаешь, вот, схватил – ан нет. Опять ускользнула. Мираж, призрак. Это как ловить отражение луны в воде. Как морскую царевну Лермонтова. «Едет царевич задумчиво прочь, / Будет он помнить про царскую дочь». Еще бы не помнить: ловил чудо красоты, а вытащил чудище со змеиным хвостом.

Вот он и бьется в своих жестоких битвах с миражами, художник, заложник вечности, у бездны на краю. Всегда один в поле воин, всегда – «в поле неизвестное», «среди неизвестных равнин».

Знание – удобство, в нем можно хорошо устроиться, с комфортом, и жить припеваючи, в благополучии своей образованности, эрудированно и интеллектуально, хозяином и хранителем культуры. А бедняга художник, «босой алмазник», всегда в неустойчивости, в стрессах, крахах и катастрофах, в погоне за призраками. Ничего он не знает, ничего, ничего. Никаких тайн. По Сократу: «Я знаю, что ничего не знаю». Ну, ремесло-то свое он, однако же, знает. Еще как! Никто так не знает, как он знает! Всю жизнь свою на это положил. «Ремесленник – я знаю ремесло» – утверждает Марина Цветаева. Что тут, опять же, тайного и загадочного? Ясно, как божий день. Только благодаря навыкам высочайшей техники кисть мастера может выпорхнуть из этой самой техники, как из кокона (не оглядываясь на эту технику и забыв о ней) чудесной бабочкой искусства, чтобы совершить в своем молниеносном полете мистический пируэт волшебства, дарованный неизвестным божеством и непредсказуемый никакой техникой, единственный и неповторимый.

ДОМ ГРУДИНИНА

Октябрь. Ветер крутит почернелые листья. Много изменилось. Здесь, под горой стоял дом Грудинина. А теперь тут новенький краснокирпичный особняк в три этажа, с башнями и балконами. Дворец да и только.

Собирались в доме Грудинина его дружки алкаши. Грудинин жил один. У него не было ноги, отрезана выше колена. Пьяный, попал под поезд. Передвигался на костылях проворно и ловко. Могучего телосложения, с большой курчавой головой. Дом Грудинина – трухлявое строение, самый старый в поселке, грозил рухнуть в заросший пруд. Над прудом кренились корявые горбуни-вербы. В хозяйстве ему помогали. Прежде всего Гриша Дорощев. Мастер золотые руки. И плотник, и столяр, и печник, и каменщик, и жестянщик. Все умел, все делал по высшему разряду. Но история у него печальная. С женой не сложилось, ушла от него с ребенком, с дочерью. Запил. Интереса к противоположному полу больше не проявлял. Стал ходить к Грудинину в его дом под горой. Дом этот всему поселку известен. Так и называли: кабак Грудинина. Туда шли все забулдыги, кому негде выпить, не с кем и не на что.

Ходил к Грудинину и Толя Мотыль. Тош, как жердь, угрюм и немногословен. Судимостью за кражу. Отсидел пять лет. Работать не любил и ничего не умел. К любой работе испытывал непреодолимое отвращение. Однако деньги на выпивку добывал. Крал что-нибудь у себя же в доме, из-за чего в семье происходили скандалы. Вообще в доме Мотыловых часто раздражались бури и бывали дикие драки. В драке участвовала вся семья: отец и мать, младший сын Борис, дочь Светлана, и сам Толя Мотыль, старший сын. Дружно, все вместе били отца семейства, Дмитрия Ивановича, попросту Митю. Тот был чрезвычайно буйного нрава человек. Напившись, брал топор и бросался с этим топором на кого-нибудь из членов семьи, кто под руку попадется. Чаще всего попадалась его супруга Нюра. За ней и гонялся по двору, как за курицей, замахиваясь топором. Нюра кричала «Караул! Помогите, люди добрые! Зарубит! Ой, зарубит, падла!» Так они бегали вокруг дома, пока вся семья, сыновья, дочь и сама супруга Нюра не сбивали его на землю, связывали веревкой и тогда уж отводили душу, топча и пиная, кто сколько хочет.

Толю Мотыля тоже пытались учить таким же манером за кражи, но ему всегда удавалось отбиться. С добычей он благополучно достигал дома Грудинина и прятался у него несколько дней. Это было надежное убежище. К Грудинину совать нос боялись. Он мог костылем огреть.

У Толи Мотыля была жена Люба. Где он ее нашел, никто в поселке не знал. Просто в один то ли прекрасный, то ли несчастный день она вдруг появилась в доме Мотыловых и стала в нем жить. Это была святая и

одновременно тихо помешанная. Она тоже нигде не работала, как и Мотыль; получала инвалидную пенсию за поврежденный рассудок. На эту пенсию они оба и кормились. Мотыль отнимал у нее всю пенсию и нес пропивать в дом Грудинина. Но это удавалось ему далеко не всегда. Вся семья Мотыловых в день получения пенсии караулила у калитки почтальоншу Зою, которая приносила деньги. Люба была чрезвычайно тихое и кроткое существо. И мухи не обидит. Ходила в бессменном темном халате, что-то вроде монашеской рясы. Она и похожа была на монахиню. Раза два-три в год на нее находило ее помешательство, тогда вызывали санитарную машину, два дюжих санитаря, взяв под мышки, выводили Любу из дома и вели к кабине с зарешеченным окном. Увозили в психушку где-то под Гатчиной. Возвращалась она оттуда через два месяца. И жизнь в доме Мотыловых шла по-прежнему, в полном составе.

Заглядывал в дом Грудинина и бывший мастер по боксу, Карпов, по прозвищу Карпыч, погрузневший и совсем спившийся человек.

Гриша Дорофеев умер от воспаления легких. Зимой, пьяный, пролежал на снегу всю ночь. Грудинин через полгода тоже сгорел от пьянства. Мотыль кончил свои дни иначе. Люба однажды посреди ночи ударила его молотком по руке, когда он спал. Рука посинела. Но к врачам обращаться Мотыль не захотел. А потом уже было поздно. Заражение крови. Любу опять увезли в психушку. Карпыч боксер пропал осенью, в конце октября. Нашли его тело весной, в марте, когда сошел снег, на горе, в яме, голова пробита. Дом Грудинина остался без хозяина. Наследников не нашлось. И поселковые алкаши-забудьги больше в нем не собирались.

Когда я покидал поселок, переезжая жить в другое место, дом Грудинина еще был цел, еще держался, глядясь окнами в старый, заросший тиной и ряской, пруд.

Александр Медведев

О ВЛЮБЛЁННОЙ ГОЛОВЕ

(по поводу книги В. Чернышева "В погоне за временем")

Нередко в разговорах о поэзии можно услышать фразу: «Поэзия должна быть глуповата», а по сему слова Пушкина считают индульгенцией на пустословие, которое называют поэзией. Древние ещё заметили, что поэт называется поэтом совсем не за стихи, – что такое стихи: неужели так сложно их сочинить? – а за созданные им образы. С созданием образов дело куда как сложнее обстоит, чем стихотворчество. Я склонен думать, что и с прозой во всех её изводах точно так же: писатель не тот, кто наделён усидчивостью и скорострельной клавиатурой, а тот, кто способен создавать образы – человека, природы, – миров видимых и невидимых.

Короче говоря, не всяк поэт, кому хочется таковым быть.

Что же делать, если всё же хочется – *выразить в звуке всю силу страданий своих*, а пушкинского таланта Господь не дал, как, впрочем, не дал такового и большинству из нас, людей всё же относительно грамотных?

Тогда можно полагаться на вкус, на чувство меры и чувство такта. Правда, говорят: "о вкусах не спорят", и что нет горшей обиды для человека, чем услышать упрёк в отсутствии вкуса.

Оставим тогда вопрос вкуса, коснёмся такта, и сразу перейдём к бестактности.

Среди примеров бестактности у древнегреческого философа Теофраста есть такой: *начать рассказывать всё сначала, когда суть дела уже понята собравшимися*. Это всё равно, что рассказать анекдот и тут же пояснить его суть, и подсказать, где смеяться.

Бестактный человек не имеет злого умысла, но действует не вовремя и не вовремя.

Чтобы не уходить слишком далеко и не говорить о бестактности вообще, а только применительно к литературному её явлению, вернёмся к пушкинской фразе о глуповатости поэзии. Появилась она по конкретному поводу – по всё той же литературной бестактности, когда без злого умысла, а всестороннего разъяснения ради автор заставляет опять и опять всесторонне осматривать описанную им картину, *когда суть дела уже понята собравшимися*.

В письме Вяземскому в мае 1824 года Пушкиным написано: «Твои стихи к Мнимой Красавице (ах, извини: Счастливице) слишком умны. – А поэзия, прости Господи, должна быть глуповата».

Дело в том, что стихотворение Вяземского дидактично и многословно, тогда как его зерно в четверостишье:

О женщины, какой мудрец вас разгадает?

В вас две природы, в вас два спорят существа.

В вас часто любит голова

И часто сердце рассуждает...

Суть – **образ!** – в четырёх строках, но Вяземский варьирует сказанное еще в двадцати семи (!) четверостишьях. Умно чрез меру, тогда как достаточно кратко благозвучия.

Пушкин, конечно, пишет о мнимой глуповатости поэзии, недаром «оговаривается», деликатно указывая другу на неуместность в стихах тяжеловесного долгого нравочения.

Почему стихотворение Пушкина «Я помню чудное мгновенье» считается (я не сильно, надеюсь, ошибаюсь?) одним из лучших стихотворений о женщине в русской поэзии? Вероятно, потому, что образ женщины явился поэту «как мимолётное виденье, как гений чистой красоты». Ми-мо-лёт-ное... Можно ли сказать здесь о чём-то ещё большем?

Мимолётный гений чистой красоты! Красоты – без примесей учёности, без умопомрачительной способности к тому, сему, пятому и десятому, – *Красота и ничего более!* Это – идеальный образ женщины. Для контраста – крайне полярный – реальный образ в песне В. Высоцкого: *Придѣшь домой – там ты сидишь*. Подобный – в песне П. Мамонова: *И не ходишь никуда, и не уходишь никогда. / Ты рядом всегда. Рядом всегда*.

Другими словами, реальный образ женщины – это неразрывная и последовательная цепь событий. Даже, если золотая, всё же – цепь... *во мраке заточенья*.

Так что, вне мимолётности нет идеала.

О реальной женщине, с которой связывают пушкинское произведение, согласно его названия – К ***, – Пушкин отзывался, мягко говоря, не поэтически и крайне бестактно, но Пушкин-человек не обязан быть тактичен, таковым он и не был. Мы же говорим о литературе, а здесь наш поэт – образец, тактичности в том числе.

Впрочем, не будем категоричны: понятие такта невыразительно и невыразимо. Говоря о чём-то тактично, при этом чего-то не высказывают. Это не значит, что от этого *чего-то* отворачиваются, его всегда имеют перед глазами – для чего? Чтобы об это *что-то* не споткнуться. Такт помогает держать дистанцию, избегать столкновений и уязвления интимной сферы личности.

Как же быть? Пишущий ведь по большей части стремится к выразительности, ему надо *выразить всю силу страданий*, и как же тогда ему говорить об этом тактично? У меня, не знаю, прав я или нет, на это один ответ. Если понятие такта невыразительно и невыразимо, то пишущему, чтобы не впасть в бестактность, оставаясь выразительным, надо всеми силами создать образ – отражение, представление – о человеке, о явлении.

Не надо быть филологом и литературоведом для того, чтобы знать закон: *красиво не соврать, рассказа не рассказать*, и пользоваться этим законом, если вы пишущий. То есть, создавать представление о явлении, о человеке так, чтобы это было структурно сходное с ним описание, но не совпадающее с ним.

В. Чернышев. **Выбранные места из переписки художников и критиков**

Письмо от В.И. к А.В. Свою статью по поводу чрезмерности и такта и взаимоотношений «критического и поэтического», **образного** и силлогистически-дидактического (или, проще говоря, **рационального**) я послал В. О., он возмутился предположением, что «Критик как художник – это следующая степень искусства», это, говорит, Уайльд пошутил.

Ваше письмо я внимательно прочитал и перечитываю. Много интересного (тем более, что на мне, как на воре, шапка горит). Но я пока понял не все и не до конца. Все же я – математик, как видно, и хотя в основание Логики предложил в качестве основной аксиомы «**Нетождественность тождества**» и одновременное с этим вместо принципа исключенного третьего предложил «сосуществование двух взаимно-противоположных предположений из одного условия» (как, например, загадочное убийство Анфисы в романе Шишкова «Угрюм-река»), и все сие у меня стройно математично, хотя при этом женщина для меня по-прежнему загадка (правда, я для них тоже пока загадочен – хотя бы для некоторых). ... Чтобы не показались мои слова обидными, что я в вашей статье не все понял - добавлю, что и письмо В. О. не понял до конца, а потом по этому же поводу разговаривал по телефону с А. В. О--м, но и его не во всем понял. И при этом не понятно мне еще: 1. почему две стороны в диалоге и в других случаях чаще всего не понимают друг друга, **В ЧЕМ ТУТ ДЕЛО?** 2. Почему человек, ясно и полно видящий существующий мир и человека в нем, не понимает того, кто в этом же мире видит еще нечто сверхъестественное. 3. И почему тот, кто видит и чувствует в этом мире богов, не понимает деиста, ощущающего "Трансцендентное" в мире (как мы все ощущаем искусство, красоту, справедливость...

Письмо от А.В. к В.И. Дорогой В. И.!

Спасибо за отклик на мою статью «О влюблённой голове». Вы написали мне, в частности, что: «... из двух набросков, из письма и статьи, можно написать хорошую Статью, лучше всего, если в ярости поспорить со мною, получится интереснее, подлинно со мной, или с образом меня, это не важно, ибо мы все – только литературные образы, в быту мы – блёклее самих себя».

Ваше предложение поспорить с вами, да ещё «в ярости», увы, свистящей стрелой минуло «моё обнажённое сердце» (Бодлер). Это стоик Белинский мог говорить: какое там «обедать», когда мы ещё спор о Боге не решили! И вы, по-моему, под стать ему, – не только не обедаете, но, подозреваю, и ужин врагу оставляете ради неистового поиска «правды святой», к которой и сей день презренный «мир дороги найти не умеет».

Что до меня, то я придерживаюсь банального правила: война войной, а обед по расписанию. Как художник я существо беспринципное и таковым желаю оставаться, несмотря на все соблазны получения поэтического гражданства. А раз нет принципов, то отношение моё к спорам таково: в спорах рождаются – грибы, а гриб и огурец в брюхе не жилец.

Я вот написал, что *ваш лирический герой* (из «Побега за временем») напомнил мне Макара Девушкина. На что вы мне ответили:

«Я, конечно, не Макар Девушкин, потому что всякая девочка мечтает о чудесах и героях, и я их сердца чем-то привлекал... тем, что я НЕ был Дон-Жуаном (хотя мог им быть, но был Дон-Кихотом... А пишу про себя потому, что для Исповеди (в которой «Погоня...» – только вторая часть) я из самого себя беру материал, хотя совпадаю ли с героем исповеди, бог весть...»

Да говорить вы можете всё, что угодно, и я со всем вашим чем угодно соглашусь, почему нет? но ничего при этом с собой поделаться не могу: тень Макара Девушкина не изгнать мне из межстрочного пространства ваших эпистол (из первых частей книги).

Я имею право воспользоваться трюизмом: Я – так вижу! И не оспарю ваше право видеть не так, как я того хотел бы.

Вообще видение штука странная. В 1950-х гг. некие учёные показывали чёрно-белые снимки людей, пейзажей, натюрмортов туземцам бассейна Амазонки. Оказалось, что никаких людей, пейзажей и предметов для туземцев на снимках попросту не было, они видели лишь какие-то серые, чёрные и белые пятна. Художественное видение поэта и писателя устроено по такому же принципу, да и у всех людей *видение зависит по большей части от воспитания, от внушения, от привычки.*

Представьте теперь, что эти учёные стали бы спорить с туземцами, принялись бы доказывать, что на снимках не пятна, а портреты этих же самых туземцев? Да их бы просто изжарили и съели, учёных этих! А вы, В. И., предлагаете поспорить, да ещё в ярости поспорить. Платон мне, конечно, друг, но истина(?) ценою «обречения себя на жаркое туземцам» меня не привлекает. Поэтому я с вами согласен: на вашем снимке (простите, *в эпистолах*) нет никакого Макара Девушкина, просто есть пятна различных оттенков («Достоевского»).

Но отойдя на приличное расстояние, я, пусть и про себя, но всё же обязан сказать: А всё-таки он вертится там, Макар этот Девушкин...

Что ж в том плохого? Вреда он не приносит, скорее, наоборот. Человек он с тонким и своеобразным характером, в переписке отдающийся прихотям своего сердца, возможно, более обнажённого, чем у Бодлера. И он, «ваш М. Д.», разумеется, никакой не двойник героя Достоевского, а деятельный, энергичный и смелый, и он не терпит на ниве жизни и малой поросли "*цветов зла*", он их неумолимо изничтожает, подобно Толстому, рьяно срывающему толстенный стебель колючего «татарина» в начале повести «Хаджи Мурат». В его образе скрыты (но не для меня, читателя) кипящие чувства, драматизм, сложность и эмоциональное богатство. В нём уже мало чего осталось от психологии сомнительных «бедных людей», разве что навязчивое стремление к обличению начальств – земных и Небесных, проявляющееся внезапно, через запятую после элегического вздыхания, философского раздумья над сложными проблемами жизни поэта в *Послании Красавице*.

Вот он каков – «ваш М. Д.».

А уж с кого вы его списали, В. И., это не принципиально. Меня не подкупает строка в книге или на экране – «В основу нашей истории легли подлинные события»; я допускаю, что автор может одинаково морочить голову читателю и протокольной хроникой, и абсолютно безбашенной фантазией. Примеров тому и другому методу уйма. Да лишь бы не скучно.

Поэтому, спора у нас не получится. Пока, во всяком случае.

В вашем письме есть такие строки ко мне:

«...последнее замечание мое как литературного критика: если соединить письмо и наброски статьи, то в целом пока «до Медведева» не дотягивает, пока не хватает обычного безумия, которое в статьях ваших всегда (как я чувствую) есть».

То есть, вам видится в соединении моего письма и статьи с их доработкой вещь более «безумная», чем они представляют по отдельности. Я это понимаю, в ахмадулинском смысле: «высокой степени безумства» можно достичь при доработке.

Василий Иванович, не знаю, в какой степени посвящения я на сегодня нахожусь, какого градуса моё безумство, но согласен, есть ещё куда стремиться. Давайте так. Дописывать и комбинировать я, думаю, мне не стоит. Достаточно будет пояснения, хотя я не сторонник пояснений (см. мою статью «О влюблённой голове», ту часть, где о чувстве такта, когда одно четверостишие, раскрывающее тему, стоит двадцати семи четверостиший, объясняющих эту же тему, и далее). К тому же, по свидетельству В. О., поэт Виктор Соснора говорил, что не надо ничего объяснять – первая заповедь денди: никогда ничего не объясняй. А так как дендизм у меня доморощенный, неканонический, то лёгкое объяснение, даже, скорее, примечание можно позволить.

Не спроста возникло у меня сравнение вашего героя, переписывающегося с девушками, с Макаром Девушкиным. Имя – мужское, фамилия – женская. Явная отсылка в этом имени к проблеме андрогинности. Это что-то высокое, божественное, и в то же время в понимании толпы – нелепое, шутовское. *Внимать вам долго, понимать / Душой всё ваше совершенство* – так подрачки выставлять себя перед женщиной, пусть и в письме, может лишь существо очень чуткое, что уже подозрительно, к тому же смешное, недалёкое. Несмешное, далёкое мужское существо исповедует другой принцип: *Выслушай женщину и сделай наоборот*.

В картах Таро есть карта The Fool – дурак, шут. Этот персонаж истолковывается многозначно. Он изображён идущим, иногда с котом, иногда с собакой, причём она вливается ему в задницу и рвёт портки. Дурак символизирует в том числе и период вступления в неизведанное – с весёлым удивлением, без конкретных ожиданий. От него не веет благополучием, лстящим Это, но веет благополучием души, не привязанной к условиям, лбявающей в странствии. Дурак воплощает архетип души – неприкаянной, безрасудной, блаженной, голой и нищей, идущей куда глаза глядят.

Он – асоциален, способен на всё, но практически реализует очень мало. У него шутовской наряд, он шут, «приличные люди» смеются над ним, но он этого не боится, сам посмеется над кем угодно, оболваивание его не смущает.

Дурак – это пустота, которая может стать всем чем угодно. За плечами у него узелок, в нём – всё и ничего, жизненный опыт всего человечества, котомка заблуждений и бессмысленных поступков. Число дурака – ноль, за тайну этого числа в древности люди отдавали жизнь. Умножение любого числа на ноль даёт ноль. Потому, что ноль – число совершенства, – двойственность, приходящая в

существование. А двойственность – это андрогин, и в дураке есть мужское и женское разом, и ни того, ни другого нет. Согласно оккультным книгам, Бог там, где одновременно находит мужчину и женщину. Возможно, он находит их внутри самого человека – «сотворил человека, мужчину и женщину сотворил их» – и речь идёт об единстве существе.

В детстве, когда меня уличали в каком-нибудь нехорошем поступке, и спрашивали, почему я его совершил, я частенько отвечал: *А я тогда дурак был*. Это объяснение поначалу устраивало взрослых, им казалось, если человек признал себя дураком, следовательно, теперь-то он поумнел и больше глупостей не сотворит. Стоит ли говорить, что поступки мои нехорошие продолжались с тем же самооправданием, только мне казалось, что слова *тогда* и *был* почти не звучали, слышалось только – *А я дурак*. Я огорчался. Пока в двадцатилетнем возрасте не прочёл Феогнида:

Уж лучше безумцем прослыть и болваном весёлым,
Чем умником хмурым, о Кири!

За такой длинный текст Вы, надеюсь, извините меня, но он лишь для того, чтобы прозвучало объяснение, почему я не способен к спорам по поводу искусства. Если бы я просто отказался... я бы тогда дурак был. А так я всё же есть. *С уважением, Александр Медведев, 12 декабря 2019 г.*

Пост скрипту Критика, возмнившего, что за ним всегда должно оставаться последнее слово.

Джокер (или The Fool – Дурак из карт Таро) оказался тем восклицательным знаком, который почти перевернул нашу общую поэтическую вселенную.

Всё сие (то есть статьи об искусстве и споры о критике и поэзии – пусть и не яростные) между ВИ, АВ и В.О. я печатаю в 16-м номере Альманаха «Русские страницы», о, читатель! Указанную карту Таро (которую вместо Черной метки» прислал мне АВ, я помещаю на последней странице Обложки – и сие многозначительно во многих смыслах (так же как и приписка на последней странице издания, что издатель-редактор не отвечает за тексты авторов!!!! – а это *неспроста!!!*



Впрочем, я надеюсь на то, что наш Альманах никто кроме титульного листа не прочитает и мы можем спать спокойно. Академик Черниговский в годовом отчете кафедры, которой он руководил, вырезал нишу и туда помещал бутылку шампанского и приписку, что того, кто дочитает до этой ниши, он выдаст стодолларовую купюру. За десять лет к нему так никто и не обратился и Отчеты эти стоят на полке нераскрытыми (но не скажу, где они стоят). (Кстати, я об этом академике

уже вспоминал в своих пасквильных сочинениях). Впрочем, надеюсь, что споры наши об искусстве на этом не закончатся а только разгорятся. **ВИ.**

СЕРГЕЙ СОНИН

БАШМАЧНИК



Автобиография. Родился я в 1952 году, в тёплый месяц июнь, точно в его середине. Поэтому холодное время года не люблю, как и все зимние виды спорта, кроме хоккея. Учился в школе хорошо и был примерным учеником; а вот хорошо это или плохо до сих пор не дал себе ответ.

Закончил два института: педагогический – физмат и сельскохозяйственный – механизация сельского хозяйства. На командирских курсах получил звание лейтенанта, старшим лейтенантом освобождён от воинской повинности.

Женат. Дети уже взрослые, есть внуки.

Занимаюсь предпринимательской деятельностью, что даёт возможность заниматься и благотворительностью. В 2008 году стал человеком «Золотое сердце» в номинации «Добрые дела» в Амурской области среди предприятий малого и среднего бизнеса.

В литературе с 1992 года, когда вышла в свет первая книга стихов «Птица радости, птица любви». На сегодняшний день вышло уже 19 сборников стихов. В этом году выходит первая книга прозы «Солнечный круг».

Ползая по запылённому окну сапожной мастерской, пчела тревожно жужжала, не понимая, почему она не может выползти на свет божий, хотя находится рядом с ним. А сапожник Сандро с негодованием думал о пчеле, совершенно некстати залетевшей в его уютную рабочую каморку. Пчела не давала свободно размышлять об обуви, сданной в ремонт. Но ему лень было вставать с отполированной штанами табуретки, которая, казалось, приклеилась к его пятой точке на веки вечные. Он как будто с табуреткой и родился, потому что все помнили его только в этой позе: сидящим на табуретке – в одной руке ботинок, а в другой – молоток.

Однако надоедливое жужжание пчелы пересилило лень Сандро, и он подошёл к окну, решая, убить пчелу или не убивать. Убить – значит очень просто избавиться от неё. Не убивать – значит искать способ выдворения незваной гостьи. «Как сюда залететь, чтобы мне нервы позудить, так ты умудрилась, а как назад вылететь, так у тебя мозгов не хватает, – начал выговаривать ей Сандро. – И что тебе тут у меня делать? Башмаки не носишь, значит, и чинить их не надо, а цветов медовых у меня нету. Так что давай-ка на улицу. Я человек добрый. Живи. А твои друзья-товарищи тебя уже давно ищут: работать-то всем надо.»

Сандро взял картонку и, выкинув пчелу, милосердно махнул ей на прощание рукой и бросил вдогонку: «Лети, кусачее насекомое. Нечего здесь себе лёгкие травить. Мне и одному этой отравы достаточно». Он высунул голову в форточку, но уже не интересуясь пчелой, а желая узнать о происходящем за стенами здания.

Его мастерская стояла почти у края дороги на улице Почтовой. Видимо с лёгкой руки главы администрации посёлка Витязево, открывшего отделение почты России на этой улице, городской Совет Анапы поддержал его предложение и утвердил название улицы. Люди приходили на почту по разным своим делам и некоторые, увидев его мастерскую, следующий поход на эту улицу делали с целью ремонта изношенной обуви. Магазины и продовольственные и промтоварные тоже рядом есть и народ с озабоченным видом в них часто заходит. И опять же: люди, увидев его мастерскую, задумываются о починке обуви. Как ни крути, а выгода полнейшая. И аптека тут же. Много можно купить человеку для своих нужд, если оказаться рядом с сапожной мастерской Сандро. Правда, здоровье не купишь, хоть и наберёшь лекарств даже на все деньги. Тогда уж ничего не остаётся, как идти в Храм Георгия Победоносца и просить бога о лучшей доле. И опять же – Храм тоже находится рядом с сапожной мастерской. Вот клуба рядом нет. Да и зачем он тут нужен – работать надо, а не песни петь. Если днём песни горланить, то можно и в отделение полиции попасть. Оно тоже тут, где аптека, за углом.

– Место хорошее, проходное, – ещё раз вслух произнёс Сандро фразу, постоянно убеждающую его в том, что он не прогадал, взяв в аренду этот участок земли у Витязевской администрации. Она расположилась на улице

Советской, как бы напоминая названием улицы, что у неё всё под контролем.

– Что, мух ловишь? – В мастерскую ввалился Левон. – Где мои сорок пятые растоптанные?

Сандро снял с полки отремонтированные ботинки Левона и поставил рядом с ботинками, недавно сданными одним из отдыхающих. Когда пчела ещё жужжала на окне, он уже обдумывал работу над этими башмаками, более чем не скромными, рядом с которыми ботинки Левона просто отдыхали, можно даже сказать, спали.

– Ни фига себе! Вот это говнодавы! – искренне изумился Левон. – Это ж какую лепёшку должна выкинуть из себя корова, чтобы эти башмаки её придавили?

– Да что корова! В сердцах отозвался Сандро. – Где ты её сейчас найдёшь, корову эту? Раньше их целые стада ходили, лепёшками весь асфальт был покрыт. Вот тогда бы эти говнодавы пригодились. А сейчас что?

– А сейчас ими надо давить тех бурократов и чиновников, которые запретили держать скотину.

– Тебе-то что на бюрократов голос поднимать? Дом есть, машина есть. Живи да радуйся, – хмуро заметил ему Сандро.

– Как всё есть? – рассердился Левон. – А воды так и нету. На днях получил второй раз ответ от Водоканала. Опять отказали. Пять лет не дают разрешение на воду. Целых пять лет! Ты понимаешь, Сандро? Дочка моя зашла на ихний сайт; так за пять лет выдано более двух тысяч разрешений, а мне опять отказ. Скоро и за воздух дэнги брать будут!

– Не каркай, – урезонил его Сандро, – а по воде сходи в прокуратуру, может, государевы слуги чем-нибудь да помогут. А лучше сходи в церковь. Вон она сияет золотыми куполами. Там хоть слушают, не перебивая, да рожи не корчат, как от зубной боли.

Левон вышел, сгибаясь в дверях в три погибели. Дневной свет снова впорхнул в помещение, и сапожник продолжил думать о ремонте ботинок, размеры которых его обескуражили. Но принять какое-либо решение он не успел: зашла женщина преклонных лет и попросила посмотреть туфельку, которую аккуратно вытащила из газеты.

– Можно сделать набойку на каблук? – женщина с надеждой глянула в глаза сапожнику.

– Бабка! У меня всё можно. Но уж очень она махонькая какая-то. Не у Золушки ли ты её спёрла? При царе-Горохе наверно сделали?

– Да, да, сынок, – согласилась бабка. – В те времена. В нынешние разве что путного сделают. А всё, что везут в магазины – дорого стоит. Вот я и думаю отремонтировать да правнучке подарить на день рождения. Сможешь?

– А внучка красивая?

– Да ты поди для неё старый будешь.

– А старый конь борозды не портит, – сапожник назидательно поднял вверх указательный палец и пожевал губами, как конь, завидевший корм.

– Да зачем нужен такой конь, который в борозде спит? – безапелляционно воскликнула хозяйка эксклюзивной туфельки и притворно зевнула. Через маленькую ладонь, прикрывающую рот, пробился золотой блеск зубов. «А бабка-то не простая, – подумал Сандро, и туфля такая же. Тут что-то не так».

Женщина нашла в себе мудрость сжалиться над чувствами сапожника и соприкоснулась: – А ты что, не женат?

– Был женат, да не понравилось жене, что я стал сапожником.

– Поди любви меж вами не было? – сделала вывод владелица золушкиной туфельки.

– Была, – Сандро скорчил рожу, – да сплыла.

– Что ж ты, мой ясный сокол, один кукуешь?

– Кукую, кукую. Но я, бабка, скорее Чингачгук Большой Змей, чем Ясный сокол.

– Неее, – протянула женщина, – ты, скорее всего, коршун. Вон какой у тебя нос. Заклюёшь, кого хошь.

Сандро потрогал орлиный нос и уставился на свою визави: что, мол, ещё скажешь, божий одуванчик?

– Так ты отремонтируешь туфельку? Али как? – вопрос вздохом самой Золушки вылетел из уст женщины.

Туфелька, действительно, была старинной работы и поэтому даже профи-сапожнику показалась диковиной. По всей длине туфли снаружи шли какие-то крупные завитушки, продолжаясь внутри тоже завитушками, но такими мелкими, что первым взглядом Сандро их и не заметил; ему показалась, что это просто была ломаная линия. На носке туфли находилась большая кожаная накладка, на которой тоже был орнамент в виде четырёх полукругов, расположенных симметрично от середины и сверху вниз. С верха накладки свисали две кисточки, какие бывают на турецких фесках. Каблук был средней высоты и весь в разных завитушках, спускающихся к очень маленькой подошве. И по всему верху туфли проходили бязевые рюшечки, к удивлению сапожника, сохранившие почти первоначальное состояние.

– Какая удивительная туфелька», – снова воскликнул Сандро. А про себя подумал: «И где она её откопала, эта старая колдунья».

Аграфена Венедиктовна хоть и была преклонного возраста, но колдуньей не числилась ни в каких каталогах: ни в письменных, ни в устных. Её род начинался, действительно, ещё при царе Горохе и распространился по всей необъятной планете. Она же волею судьбы оказалась в Витязево. После Октябрьской революции пользоваться своей родословной и семейным богатством ей не пришлось, и она, став обыкновенной советской женщиной, трудилась простым бухгалтером на винном заводе, хозяином которого в настоящее время был Русланов: человек богатый, но и порядочный. Слыл он меценатом и спонсором многих мероприятий, к созданию и продвижению которых по большей части не имел ни малейшего отношения. Люди, за доброе его к ним отношение благодарили и, снова шли к нему с просьбами.

Кое-что из одежды и обуви у Аграфены Венедиктовны с тех времён осталось и когда наступили времена всепрощения и вседозволенности, а

старость уже напугать её ничем не могла, она и решила свою юность увидеть во внучке, хотя бы вот так – туфельками тех далёких памятных времён.

Увлёкшись разговором, мастер и клиентка не заметили, как новый посетитель уже минут пять маячил перед прилавком, нетерпеливо пританцовывая, как после нескольких кружек выпитого пива. На лице у него был немой вопрос: когда же Вы, почтенная женщина, покинете это помещение? Сапожник, взглянув на посетителя, тут же предложил собеседнице оставить туфли до завтра.

– Да я, милок, только один туфель принесла. Чего их два-то тащить? А вдруг ты не согласился бы ремонтировать.

Сандро с ещё большим интересом посмотрел на женщину, мысленно, покрутив пальцами возле виска, спросил: «А почему так?»

– А знаешь, Чингачгук – Ясный сокол, мне надо побольше километров за день проходить, вот я и подумала, что если сразу взять две туфли, то пройду только до твоей мастерской и обратно, и не важно, возьмёшься ты их ремонтировать или нет. А так волей-неволей придётся два раза ходить. Вот километры-то и намотаю. У меня и шведские палки стоят здесь за дверью. Надеюсь, что к тебе ходят порядочные люди и их ещё не украли.

Сандро не нашёлся, что ответить и когда посетительница скрылась за дверью, ещё раз мысленно покрутил пальцем возле виска и обратился к мужчине:

– Ну, что там у тебя?

– Мне бы каблук набить. Что-то снашиваются с одной стороны, – мужчиной овладело состояние человека,ждавшего своей очереди клиента, и которому теперь будет уделено полное внимание. Лицо стало сосредоточенным, но радостным.

– А ты случайно не косолапый? – Сандро не поленился встать со своей родной табуретки, чтобы с головы до ног окинуть клиента взглядом и найти тот изъян, приведший его в мастерскую.

– Да у меня ноги, как спички, прямые, – возразил мужчина.

– Во-во, точно, как спички... Только тонкие. Вот они и спотыкаются об дорогу подошвами, а те, конечно, изнашиваются в одну сторону. Ба! Да они у тебя вовнутрь снашиваются, – посмотрев на туфли, удивился Сандро, – редко такой казус встретишь.

Мужчина задрал одну штанину, убедил сапожника, что ноги у него не кривые и стал искать у него поддержку:

– Может, потому, что асфальт весь в колдобинах, туфли и снашиваются не правильно?

– Ну, ты даёшь! У меня почему-то не снашиваются, как у тебя. Вам, криволапым, дорожки выложи хоть тротуарной плиткой, вы всё равно будете хаять дорожников. Дедушку Крылова знаешь? Вот и почитай басню «Маргышка и очки». Ладно, ладно. Не переживай. Сделаю. Завтра зайдёшь в это же время.

– Завтра не могу. У меня мероприятие, – не согласился мужчина.

– Ну, тогда послезавтра.

– И послезавтра не могу.

– Ишь ты, какая важная птица, – возмутился сапожник, – заходи тогда, когда сможешь.

– А нельзя ли сейчас сделать? Ведь у Вас, кроме меня никого нет.

Глаза их встретились. Мужчина понял, что если он заплатит подороже, то сапожник согласится. А Сандро подумал: «Если порядочный человек хочет отблагодарить за добрую работу, зачем ему в этом отказывать?», – и тут же принялся за дело. Через двадцать минут, довольные друг другом, они обменялись рукопожатием. Закинув пакет с обувью на плечо, мужчина пошёл добывать ботинки, в которые был обут, а сапожник снова сел на табурет и уставился на туфли Гулливера из страны лилипутов.

Но сегодняшний день не был предназначен для этих туфель. В новом на вид костюме в мастерскую вальяжно вошёл Андрей Кочерыжкин. Сапожник от неожиданности даже встал, как будто приветствовал, по меньшей мере, генерала. Но Сандро хорошо знал, что скрывается под костюмом и в голове Андриюхи, и потому его приветствие было коротким:

– Бог подаст.

Эти слова нескрываемым унынием отразились на лице Кочерыжкина, но он, – как будто смысл сказанного его не касался, – спокойно подошёл к стойке, отделяющей мастера от клиентов, и облокотился на неё.

– Да дело не в деньгах, – произнёс он медленно, придавая словам пафосное звучание, – твой сын просил меня сделать бусы и достать орлиный коготь. А мне нужно всего-то двести рублей, чтобы уехать в станицу.

Лет семь-восемь назад Андрей Кочерыжкин был известен во многих кругах общества. Не знали его только бомжи, которых он представлял в настоящее время. Андрей имел просторный двухэтажный дом, одна комната которого, самая большая, хранила в шкафах драгоценные камни и поделки из них. Эта коллекция тянула не только на большие деньги, но и на мировую известность. И только из-за того, что Андрей не хотел предавать гласности свою любовь к камням, эта коллекция у него и сохранилась. Она постоянно увеличивалась, но круг посетителей дома был почти неизменным. И перешла бы коллекция когда-нибудь в пользу государства из-за отсутствия жены и наследников, но... Природная доверчивость сгубила и Андрея, и его детище.

Как-то приехал из далёких таёжных мест его одноклассник и привёз с собой большую коллекцию драгоценных и полудрагоценных камней. К несчастью Кочерыжкина, он с ней познакомился. И запылали его глаза, а с ними и душа от сияния цветовой гаммы. Как приобрести такое богатство? Вопрос стоял для него и днём, и ночью.

– Укради, – посоветовал двоюродный брат.

– Что, с ума спятил?! – запротестовал Андрей. – Купить бы. Да денег у меня не хватит; за маленькие он же не продаст.

– Дай много! – упорствовал брат.

– Да где же я их возьму? – сокрушался Кочерыжкин, унимая противную дрожь во всём теле.

– Тогда укради, – снова предложил брат, видя предынфарктное состояние родственника.

– Да пошёл ты..!

И брат ушёл. Но через неделю он снова появился у Андрея и предложил ему деньги.

– И когда я тебе отдам такую сумищу? – спросил Андрей, моментально принявший решение взять деньги и не думая о последствиях, которые могли сложиться после этой сделки. Он был загипнотизирован камнями, и шоры с его мозгов были не снимаемы.

– А не надо отдавать, – спокойно произнёс двоюродный брат, – у тебя второй этаж дома пустует – вот мы с женой там и поселимся. Подпишем договор – и все дела.

Ударили по рукам. Камни заняли отведённое им место в «янтарной комнате», а пожилая чета – второй этаж. Андрей каждое утро заходил к своим драгоценностям и подолгу с ними разговаривал. Иногда он приводил кого-нибудь из гостей и с замиранием сердца рассказывал историю камня или поделки. Гость одобрительно кивал в знак благодарности за увиденное и услышанное и приглашал Андрея в ближайшее кафе на ужин.

– Он от этих камней скоро с ума сойдёт, – ворчал двоюродный брат, – да и гости у него какие-то ненормальные. Оглянуться не успеем, как Андрюху подведут под монастырь.

– Надо бы ему помочь скорее подвестись под монастырь, – однажды сказала жена, – и ему будет хорошо, и нам. Не правда ли, муженёк?

Оба помолчали. Каждый хорошо знал, о чём шла речь.

– Надо его спойти, – нарушила молчание жена.

К весне Андрей на себя уже не походил. Оброс, ссутулился, забывал дни недели. Коллекция была пропита, и первый этаж напоминал общагу, взятую в пользование не поступившими в вузы абитуриентами. Летом брат построил сараюшку на задворках усадьбы и спровадил туда Андрея на постоянное место жительства. Когда подошла осень и во времянке похолодало, Андрей немного отрезвел и, осознав безрадостную картину своего существования, подался куда глаза глядят. Он побрился, помылся, надел самую лучшую одежду и в таком виде оказался в мастерской Сандро.

– Займи мне денег или купи у меня нефритовый нож, – попросил Андрей сапожника.

До этого Сандро никогда не встречался с Кочерыжкиным и проблемы Андрея его не касались. Нефритовым ножом он заинтересовался. Много у него было разных ножей, – сапожник как ни как, – но про нефрит он слышал впервые. Проверив работоспособность ножа, и не торгуясь, он выложил продавцу запрошенную им сумму. Потом Андрей, хоть и не часто, но заглядывал к Сандро по поводу новых сделок. Всякий раз он приносил какие-то поделки, довольно своеобразные. Руки у мастера Кочерыжкина продолжали оставаться золотыми.

– Твои бы руки да к умной голове пришить, – сокрушался Сандро, отсчитывая купюры за очередную вещичку, – давай я это сделаю. У меня есть очень прочная дратва.

Андрей только улыбался и, взяв деньги, снова исчезал на полгода...

– Ты что-то путаешь, – удивился Сандро сказанным Андреем словам, – мой сын ещё только в школу в этом году пойдёт, и тебя он знать не знает, тем более заказывать тебе бусы да какой-то коготь.

– Но ведь сын-то у тебя есть, – настаивал Кочерыжкин, – и у него будет невеста. Так? А ей что-то нужно будет дарить? А если ты сейчас у меня не купишь эти бусы, что он ей подарит? А потом ещё тебе припомнит это. Ты что – плохой отец? – повысил он голос.

– Сын, невеста, плохой отец... Что ты мелешь? – Сандро возмутился, но мысли закрутились в нужном для Андрея направлении, и сапожник, выгребая всю мелочь из кармана вместе с мелкими купюрами, к радости Кочерыжкина, согласился на сделку.

Выпроводив Андрея, Сандро устало сел на табурет. «Кого ещё чёрт принесёт сегодня? – подумал он. – То эти непонятного размера говнодавы, то бабка с одной туфлём, то падший ангел с когтем. А вот вчера было спокойно. Пришёл клиент – сдал обувь – ушёл – снова пришёл – получил свои растоптанные – ушёл. Порядок. Спокойно. Но, однако, скучно. Даже пчелы не было. Так тоже не интересно. Ну, а что я буду делать с этими башмаками дяди Стёпы?»

Из сотового телефона в глубине мастерской раздался звонок. Мастеру редко кто звонил в рабочее время, хотя номер его телефона белой краской на чёрной двери говорил и клиентам, и каждому прохожему о современном способе связи. Оторвав взгляд от гигантских башмаков, заставивших его с утра напрячь мозги и изрядно понервничать, он услышал в трубке:

– Есть хорошая иконка, сам сделал, не пожалеешь.

– Денег нет, – сухо ответил Сандро и выключил телефон.

Но не прошло и пятнадцати минут, как Влад Владыч, или Художник (как его чаще величали, потому что в этом звучании хорошо слышалось слово «худ») – появился в мастерской.

– Я проездом, вернее, мимо шёл. Но всё равно хочь тебе показать...

Сандро выставил вперёд руку ладонью в сторону говорившего: «Не надо. Денег нет».

– Да ты не думай, что я на выпивку. Как жена умерла полтора года назад, так я и пить почти прекратил.

– Так это она тебя подталкивала к пьянке? – удивился Сандро.

– Да нет же, – смутился Художник, – сейчас другие сожительницы меня больше подталкивают. А я держусь. Перед Новым годом ко мне пришла сначала та, с которой полгода, как расстался, потом пришла другая, с которой три месяца, как уже не живу. Они принесли много спиртного, сами же и нажрались, а потом и передрались из-за меня. А я, как огурчик.

– Не малосольный ли случайно?

– Да ну, ты что! У меня договор с администрацией на оформление площади вокруг фонтана. Мне нельзя. А сегодня возвращается моя новая подруга с курсов медсестёр. Надо бы тортик купить.

«Неужели ещё есть женщины, которые могут на него позариться? – подумал Сандро. – Ходит, как вопросительный знак. И на мужика-то не похож. Вечно заискивающая улыбка, противная, как липучка. Ни работы, ни денег. Случайно тыщёнку подкальмит, и уже весь посёлок знает о его «гтяжких» трудах. Брехло. Пустомеля.»

– До тебя тут был Андрюха. Знаешь его? – Сандро мрачно глянул в глаза Влад Владыча. – Всю наличность ему отдал. Остальные деньги только на пластиковой карточке. Если у тебя есть такая штучка – то переведу. – Для Художника в голосе Сандро прозвучали обнадеживающие нотки. Но Сандро, чётко выразивший свою мысль, хорошо знал, что Влад Владыч отродясь не держал в руках такую штуковину. Нет, Художнику сегодня разжиться деньгами не получалось. Но Влад Владыч не был бы Художником, если бы такие обстоятельства вынуждали его сойти с намеченного пути. Он быстро переключался на другой объект, суливший хоть и призрачную, но перспективу. Вот и сейчас, не добыв денег, он быстро скрылся за дверью мастерской, и Сандро показалось, что его здесь и не было вовсе. «Наверно, мимо конторы Русланова не пройдёт», – подумал он.

Перекрестив суеверно вход в мастерскую и посмотрев на часы, Сандро стал собираться домой. Потом хлопнул себя по лбу: «С этими бродягами и прошлый век забыл: бабка ж должна прийти. А, может, и не ждать её? Завтра встретимся. Не. Так не пойдёт. Старость надо уважать. Нынешние сопляки даже не знают, что такое уважение. Они не из нашего теста сделаны». Он вышел на улицу и посмотрел по сторонам. Увидев на перекрёстке свою подопечную, он дважды свистнул. Женщина разговаривала, видимо, с такой же, как она, общительной старушкой. Просвисти сейчас хоть Соловей-Разбойник, они бы и на него не обратили никакого внимания. «Ах, старая перечница! – сокрушался сапожник. – Я тебя так и до ночи не дождусь. Ладно, завожу машину и по ходу заберу у неё туфли. Сегодня уже всё равно работать не буду».

Он прогрел своего «Жигулёнка», закрыл мастерскую от людей и пчёл и подъехал к женщинам. На него они внимания не обратили: мало ли машин тут останавливается.

– Бабулечка-крохотулечка, – как можно вкрадчивее сказал Сандро, вплотную подойдя к ним, – а не будете ли Вы любезны отдать мне свои волшебные башмачки?

– А, это ты, Ясный сокол, – обрадовалась крохотулечка. – Никак меня дожидаться не можешь? Мы тут кости кое-кому перемываем, и я даже забыла, куда направлялась.

– Очень замечательно, – возмутился Ясный сокол. – Не к царю ли Гороху? – уточнил он.

– Да нет, что ты! У него уже давно всё перемыто, – без всякой обиды ответила женщина, – самому главе администрации посёлка.

– И чем же он перед вами провинился?

– А начальники, они же всегда во всём виноваты, – безапелляционно ответила собеседница Аграфены Венедиктовны.

– А не бойтесь, что вас за это в кутузку посадят?

– Нонче времена не тридцать седьмого года. Да и что с нас, старух, возьмёшь?

– И то верно, – согласился Сандро. – Ладно, бабушки, хватит трепаться. Давайте правнучкины башмаки, да я поеду домой.

– Соколик! А ты бы подвёз и меня домой. Что-то уже не хочется тренировать ноги шведской ходьбой.

Сандро согласился. Женщина, удобно усевшись на переднем сидении, спросила его:

– Ты мне давеча сказал, что ты холостой. А вот домой торопишься. Непонятно.

– Бабуля. Ты сильно возгордилась своей правнучкой. Вот меня и закусило. А что закусило, и сам не знаю.

– Жена у тебя, видно, не красавица, вот и закусило.

– Жена у меня, как жена. Не уродина. Нормальная женщина. А вот что-то в твоих словах было барское, высокомерное.

– Эх, сынок, – вздохнула женщина, но рассказывать о дворянском происхождении не стала. Отделалась обычными в таких случаях фразами. – Долго я живу на белом свете. Много повидала. Много знаю. Люди все разные, и я смотрю на них, как бы оценивая. А им кажется, что свысока. Прости, коли что не так.

– Да ладно уж. На твою долю, конечно, больше мытарств досталось, чем на нашу. А ты вот смотришься молодцом, вернее, не совсем старухой. Приходи завтра после обеда. Обувочка будет сделана, как для Золушки.

Попрощавшись, Сандро без приключений доехал до дома. Сын и дочь наперегонки выбежали навстречу. В доме жена готовила ужин. Поприветствовав мужа лёгким объятием и привычным жестом поправив по-украински завязанный платок, стала накрывать на стол. Принимая душ, Сандро думал: «Сколько вопросов приходится в жизни решать! Но когда есть семья: жена, дети, крыша над головой – тогда всё будет решаться так, как хочется человеку. А то, что у кого-то нет воды или, как у нас, газа – это ничего. Дождёмся. Год, два, десять лет. Ничего страшного. Потерпим. И если есть ещё такие тувельки, как у Золушки, значит радость в жизни ещё осталась. Главное – не потерять голову. А если кто-то её уже потерял – надо постараться найти и научиться думать... И ничего страшного, если это будет и заново».

Сергей Китов

СТИХИ



Когда-нибудь я тоже откажу и телом не воспользуюсь ненужным.
и только статика. так смотришь в телескоп
и ждёшь динамики изменчивости, скорость
измеряешь. эклиптика, вращение планет.
все это мертвое и смерти результат.
второй закон, но мертвому зачем ему стекло.
что было в жизни – много сокращений,
гонял ферменты, насыщал белки.
и вот отказ бесстрашный и беззлобный,
бесцельный даже, просто выходной.

и я хочу узнать тебя такой.
ты станешь абсолютным прошлым, а я отсюда буду наблюдать
и линзы Барлоу менять и светофильтры.
так время исчерпав – часы нашли недвижимое пространство
и стали циркулем неточным и ненужным.

Подобно тени
(Homo fugit velut umbra)

Какое заблуждение
предполагать, что времени течение
бесконечно. Наступит час
и смерть придет за каждым.

Жизнь – сновидение,
такое сладкое, но тление смерти
рядом.
Мы все умрем.
Таблетки, капельницы, яды,
и крионические ванны
не создадут нам жизненный объем.
Мы все умрем.

Ругаться, плакать и в лицо
смеяться смерти бесполезно,
отставь бессмысленный кураж,
ведь смерть придет за каждым.

Какую веру не возьми,
в ней негу слов, чтобы могли
утешить нас,
и смерть придет за каждым.

И этих пуг не развязать,
не улететь, не убежать.
Однажды днем
жизнь кончится, и мы умрем.
Мы все равны перед судьбой,
хитрец ты или идиот,
дни жизни сдует словно ветром,
мы все умрем.

Мы умираем за игрой,
мы умираем за едой
и за столом и под столом –
жизнь кончится, и мы умрем.
Танцуем, пляшем, говорим,
влюбляемся, но посмотри –
на каждом фото смерть с косой,
жизнь кончится, и мы умрем.

Безжалостная Смерть, чужая
каждому, но всем своя –
мучительно или внезапно,
но смерть придет за каждым.
Пускай безумие и бред
внушают будто смерти нет.
Здоровый ты или больной –
жизнь кончится, и мы умрем.

И юноши и дети,
а также все на свете
во прахе дни свои кончают,
и смерть придет за каждым.
Ты можешь быть брюнет, блондин,
король или простолюдин
конец наш одинаков,
ведь смерть придет за каждым.
И даже в тот момент когда
ты думаешь, что смерть близка,
все движется к концу концов.
Жизнь кончится, и мы умрем.
Ты сомневаешься, и зря
ты гонишь мысли от себя
о смерти. Это значит, что
ты раньше умер. Все умрем.

Тilл AM

Я уже в таком возрасте, когда строчки неминуемо удлиняются,
 когда они стремятся к горизонтали,
 смотришь, в яркую пульсирующую точку,
 чтобы кто-то чертил линию, а потом устал.

Когда рифма, как бы помягче выразиться, – не обязательна,
 если в жизни уже ничего не рифмуется,
 ведь для этого нужна как минимум пара,
 а лучше того – терция, или любимая септима.
 Ну, то есть, ты уже не пытаешься выказать
 свои умения, не стремишься понравиться,
 когда ты уже действительно благодарен,
 что не читают, не рукоплещут, не обступают
 кольцом.

Слава богу, я не додумался петь, тянуть, как ты говоришь, меха,
 я ушел глубоко в песок, закопался в его отрицательно заряженные
 частицы.

Короткая и, к счастью, не яркая жизнь,
 я не люблю когда слепит, когда нужно зажмуриться,
 отвернуться.

В яйце заяц, а в зайце утка.

Календы мая

*Как степной цветок, проходящим плугом
 Тронутый насмерть.*

Да и хотя бы я сгинул в желтом песке залива,
 где железные вещи помнят закон Архимеда
 и вслух проговаривают – в чрево меня погружая
 как кость, как планктон бесполезной работы.
 Плохой экономике нет оправдания, Лесбия, слышишь –
 так, денег своих не бывает – придется отдать –
 с радостью новым обменом займешься.
 Свои лишь бирюльки – им варвары рады
 и копят, мешая понятия ценность/цена.
 Все, что хоть как-то я нажил мне, Лесбия, странно
 бумажки копить, электронные деньги пасти,
 пусть этим варвар займется, приземистый брокер,
 Лесбия, деньги вне нас, и ссуды процентам нужны.
 Нету меня – я как тот муравьишка,
 что в свой муравейник спешил на отшибленных ножках,
 поучаствовал в валовом непомерно за тяжесть продукте
 и нету меня, слышишь, Лесбия,
 выменял все.

Ярлык в орду

какая-то двумерная страна
раскосый взгляд и черная прическа
он спит в грязи, его московский князь
пускает сокола и долго тихо смотрит.
Горит костер, уставшее лицо
стирают сумерки, безлюдное пространство
и птица в небе и какой-то год
глухая осень очень часто снятся
цветные сны, раскосые глаза
и снится смерть красивая как море.

Ночью на спине в 36 лет

ubi sunt qui ante nos fuerunt?

во времена не сломанных костей,
когда еще все зубы, но ты скажешь –

мир – это то, чему случилось быть,
разбросанные за собой детали, –

я был целее, цельней может быть,
и жизнь (глагол) в отместку незаконченной, когда ты
видишь точку, но она –
прямая.
Законченная жизнь совсем не смерть,
а уравнение вида:
 $F(x)=g(x)$.

Зачем вообще я это вспоминаю -
тогда – портрет, сегодня – натюрморт.
И пропадает целостность, и знаешь,
кажется, как будто вдалеке -
ты говоришь "давно", но слышится "говно".

=====

РЕКЛАМНЫЙ ЛИСТОК

«СУПЕР»

Издательство «СУПЕР» подготавливает с нуля (от рукописи и черновика) и печатает книги современных и не слишком русских писателей. Неимущим, писателям и Лицам без определенного места жительства предоставляется оговоренная скидка.

Начиная с декабря 2019 года выходят в свет:

Сочинения В. И. Чернышева в 18 томах

Сборник философских эссе А. В. Осипова

Альманах Русские страницы
Новый Русский Журнал (с топором)



Повесть «Солнечный круг»
С. С. Сони́на

РУССКИЕ СТРАНИЦЫ

Литературный Альманах

ПЕЧАТАЕТСЯ НА ПРАВАХ РУКОПИСИ

Историко-лингвистический выпуск
Матерьялы по истории современной литературы

Издатель и редактор не отвечают за тексты авторов

№16

декабрь 2019 года

Подписано в печать 19 декабря 2019 г.

Печать по требованию
21 п.л. = 336стр

СПб. 2019

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

